XX век
Инициалы Б.Б.
Брижит Бардо

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Автобиография живой легенды французского кино Брижит Бардо вышла в Париже в сентябре 1996 года и сразу же стала бестеллером. В своих страстных, причудливых, ошеломляющих откровенностью мемуарах Брижит Бардо рассказывает о детстве и первых шагах в кино, о зените своей славы, о взлетах и падениях. Карьера и любовь для нее неразделимы. Судьба бросает ее от съемки к съемке, от мужчины к мужчине. Читатель узнает о тоске и одиночестве молодой женщины, осаждаемой поклонниками и фоторепортерами; поймет отчаяние влюбленной, часто желаемой мужчинами лишь для удовлетворения собственного тщеславия. В своей книге Б.Б. Сумела блистательно показать и фасад, и изнанку чарующего мира кино, мира легенд и грез. Брижит Бардо родилась в 1934 году. Училась балету, была фотомоделью. Первый раз снялась в кино в 1952 году. Широкую известность ей принес фильм режиссера и мужа Роже Вадима "И Бог создал женщину" (1956 год). С тех пор актриса работала у таких знаменитых режиссеров, как Луи Маль, Жан-Люк Годар, Кристиан-Жак. Наибольший успех ей принесли фильмы: "Бабетта идет на войну", "Истина", "Презрение", "Вива, Мария!", "Ромовый бульвар". За свободомыслие, талант, красоту, дерзость и неуемную энергию французы выбрали ее образом Франции: с нее лепили бюст "Марианны" - символа французской республики. Ушла из кино в 1973 году и все свое время посвятила борьбе за права животных. Б.Б. четыре раза была замужем. Имеет 36-летнего сына Николя.

-
- I
- II
- III
- IV
- V
- VI
- VII
- VIII
- IX
- X
- XI
- XII
- XIII
- XIV

- XV
- XVI
- XVII
- XVIII
- XIX
- XX
- XXI
- XXII
- XXIII
- XXIV
- XXV
- XXVI
- XXVII
- XXVIII
- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6

Пилу и Тоти, моим родителям, и Николя, моему сыну

Спасибо тем, кто любил меня глубоко и искренне, их немного, и они узнают друг друга. Спасибо тем, кто пинками в зад научил меня жить, кто предал меня и, пользуясь моей наивностью, увлек в бездну отчаяния, откуда я выбралась чудом. Именно такие испытания приводят если не к смерти, то к успеху. Спасибо и тем, у кого достанет охоты и терпения прочесть эту книгу, она — память обо мне в будущем.

Брижит Бардо

Посвящаю эти воспоминания Жики Дюссару, скончавшемуся 31 мая 1996 года

Жики, друг всем нам, покинул нас внезапно, — застенчиво и скромно, как делал все важное в своей жизни. Не хотел никогда никому надоедать.

Он оставался до конца смелым, цельным и бескомпромиссным. Человеком в благороднейшем смысле слова. Верным другом и любящим отцом и мужем, властным, но привязанным к семье, им созданной, и глубоко страдавшим от холодности ближних.

Жики служил нам примером, маяком, светом, символом радостно-безоблачных дней. Он был художественной натурой. Живописец и фотограф прекрасного, он не выносил неодаренности и некрасивости.

Еще до того, как превратить своих детей в людей, он старался учить меня уму-разуму, так сказать, жизненной стойкости. Его науку я помнила, помню и буду помнить.

У меня не было брата, и он заменил мне его.

Он уходит, унося важнейшую часть нашей жизни. Тем самым мы провожаем его в неведомый, но уже открывшийся ему мир.

Привет тебе, Жики!

Господь пребудет с тобой.

Прощальная речь Брижит Бардо, сказанная ею на похоронах Жики Дюссара в Сен-Тропезе 7 июня 1996 года

Сколь книжек ни читай — но книгу жизни, даже
Соскучившись читать, другому не отдашь.
Однако ни один не перечтешь пассаж:
Кто, неизвестно — сам листает все пассажи!
Мы перечесть хотим какой-нибудь послаже,
А раскрывается пассаж последний наш!

Альфонс де Ламартин

(1790—1869)

БРИЖИТ

Чудная, всякая, тихоня, непоседа,
Смешение она бесчисленных кровей:
Гуляка-стрекоза сегодня до обеда,
А ближе к вечеру — трудяга-муравей.
И к ближнему она внимательна на диво.
И глазки у нее опущены стыдливо.
Но миг — и влюблена, и сразу — кипяток...
Дружок в наличии и про запас пяток.
Но папе рядом с ней, ей-богу, благодать.
Он разболеется — она ему сиделка.
И душу, и гроши готова всем раздать.
И плавает она то глубоко, то мелко.
А станет где-нибудь тоскливо — не шутя
Помчится к мамочке, как малое дитя.

Пилу (мой папа). Вилла «Мадраг», 16 мая 1959 года

Светило солнце, было 3 августа 1933 года, и в Париже в ту пору масса народу проводила отпуск, слоняясь по городу.

В церкви Сен-Жермен-де-Пре состоялась в тот день красивейшая церемония бракосочетания.

Невеста была хороша собой, необычайные чистота и свежесть исходили от нее и ее белого платья. Жених, высокий, стройный, в ладно сидящем черном костюме, казался самым счастливым человеком на свете: после долгих поисков он нашел спутницу жизни.

Анн-Мари Мюсель, по прозвищу «Тоти», сочеталась браком с Луи Бардо, по прозвищу «Пилу». Ей — 21, ему — 37.

Год, месяц и 25 дней спустя родилась девочка. 28 сентября 1934 года месье и мадам Бардо с радостью сообщили о рождении дочери Брижит.

I

Было 13 часов 20 минут, и я оказалась Весами с Асцендентом в Стрельце.

Мама очень мучилась, производя меня на свет, как мучилась потом, на свете меня удерживая!

А ждали, само собой разумеется, мальчика!

Зная, что разочаровала, я выросла с сильным характером, но и легкоранимая, как незваный гость. Мама выглядела очень усталой и очень счастливой. Красный сморщенный комочек у нее на руках орал не смолкая. Зваться бы ему Шарль, а тут какая-то Брижит!

Мама рожала дома: дом 5, площадь Вьоле, 15-й округ Парижа. Первые дни своей жизни я в основном сосала мамину грудь среди цветов, друзей и дедушки с бабушкой, маминых родителей, восхищенных крошечной диковиной. Но люди без сложностей не могут, и меня понадобилось крестить. В церкви на холоде, над купелью, как грязных грешников, очищают от греха и порока бедных невинных младенцев с солью во рту и елеем на лбу! Я лежала в горячих объятьях крестной, Мидимадо, и вопила, глядя на крестного, доктора Орли. А все-таки была крещена — 12 октября 1934 года и наречена Брижит Анн-Мари, благослови, Господи!

Мама играла со мной, как с куклой.

Я была маленьким требовательным зверенышем, и бедная мамочка, кормившая меня грудью, оказалась призванной на службу потрудней военной — материнскую! Материнские тепло и запах остались в моем подсознании. Внушала я маме настоящую страсть, по малолетству о том не ведая.

Папе надоело, что жена его в рабстве у младенца, и в один прекрасный день он решил нанять няню. Мама не хотела никому отдавать меня — боялась ужасно! Бабуля Мюсель, мамина мама, в ту пору привезла из Италии молодую особу, выросшую в сиротском приюте. При бабушке она находилась в качестве служанки и была прелестна и предана, как никто.

Так и познакомилась я со своей Дада!

И стала переходить с рук на руки, к Дада (звали ее Мария) от мамы, и не кричала. Мама смогла отвлечься и поспать, а папа — почитать, посмеяться, пожить спокойно: в доме была Дада!

Папа с мамой переехали, мы с Дада, разумеется, тоже.

Площадь Вьоле сменили мы на авеню де ля Бурдонне, 76, возле Марсова поля.

Дада стала мне второй матерью, я души в ней не чаяла.

Перед сном она рассказывала мне сказки на своем итальянском, и я это воркованье обожала — слушала ее, сосала палец и вопила, стоило ей отойти.

И опять пошла у папы с мамой нормальная жизнь: в доме была Дада!

Ходить я научилась, падая на руки к маме, к папе или к Дада. С мамой и папой я говорила по-французски, с Дада по-итальянски. По-итальянски я говорила лучше, чем по-французски, а по-французски — всегда с итальянским акцентом. Мама ужасно смеялась, слыша, как я раскатываю «р», и заставляла меня то и дело повторять гостям: «Я прриеду на ттрамвае В трри утрра или в четырре На кррасивом кррасном крресле С госпожою Буррдерро».

В те годы родители по вечерам часто уходили куда-нибудь.

Однажды вечером в бистро, где они с друзьями обедали, заявилась гадалка. Она бегло посмотрела всем в ладони, а над папиной задержалась. «Месье, ваше имя облетит мир, прославится и в Америке, и везде-везде!»

Папа обрадовался. Он решил, что заводы Бардо — дела как раз шли в гору — в результате упорных семейных трудов принесут плоды! Друзья потребовали шампанское и выпили за предсказанье прекрасной Пифии. Они и представить себе не могли, что не завод прославит на весь мир фамилию Бардо, а я, безвестная девочка, и что уготована мне судьба удивительная, и что подтвержу я чудноe пророчество, ни разу в жизни этой фамилии не сменив, несмотря на все свои многочисленные замужества.

* * *

Мне было три с половиной года, когда начались неприятности.

Мама стала какой-то не такой, не то больной, не то рассеянной, папа казался озабоченным и раздраженным. А Дада была сама доброта, к Дада я всегда отовсюду бежала, и она меня согревала и нежила. А потом у меня заболел живот, заболел очень сильно, и ко мне позвали противного дядьку, вонявшего лекарством. Он принес с собой странные инструменты. И, слышу, стали говорить: аппендицит, операция, и прочие страшные слова, о которых я старалась забыть на руках у Дада.

А потом мне сказали, что у меня скоро будет маленький братик или сестричка, что мама очень устала и что я должна быть умницей, хорошо себя вести и не шуметь.

Как же я беспокоилась!

Дада плакала и складывала чемоданы. Она уложила даже сумку с моими вещичками. Я-то считала, что еду с Дада в Милан к Буму и Бабуле, маминым родителям, которые там жили. А на деле очутилась в больнице с папой. Папа — он дал мне прозвище Крон — уверял, что я счастливица, говорил, что буду надувать мяч. А Дада насовсем вернулась к бабушке с дедушкой, потому что будущему младенцу и мне брали настоящую няню. Я плакала часами в своей мрачной больничной палате. Мяч или не мяч, а подайте мне Дада!

Мяч-то я получила! Страшно вспомнить!

Меня усыпили эфиром, а на маску наложили огромный мяч — контролер дыханья. Припоминаю жуткий, нечеловечески белый мир. Помню свой дикий страх, чувство полной беспомощности. А дальше... дальше тишина.

Задыхаюсь! Умираю!

Я была еще совсем мала, но вспоминаю все очень ясно. Кстати, животные, как дети, беззащитны, а чувствуют все то же, и потому, я уверена, позорно, бесчеловечно пользоваться их слабостью и умерщвлять их всевозможными способами, к примеру, в медлаборатории в ходе научных опытов. Я не против опытов, я против убийства.

Когда я пришла в сознанье, Дада, моя Дада улыбалась мне.

Меня тошнило, было очень больно, но Дада со мной сидела!

Папа спал на раскладушке, а на полочке над раковиной в банке с формалином плавал мой аппендикс! Ни дать ни взять, сигара с надрезанным концом — фу, гадость! Мне хотелось пить, и Дада макала палец в стакан с водой и смачивала мне губы, при этом воркуя на свой манер — что меня успокаивало.

А потом, позже, пришла Бабуля Мюсель, милая, мягкая, теплая, толстая. Она плакала и называла меня своей «ластонькой». А рядом стоял дедушка, добрый и — умный: я говорила — «бумный». У деда «Бума» была черная борода. Он целовал меня, коля усами, доставал из кармана часы, и они тикали: так-так, так-так. И я уже не хотела расстаться ни с ним, ни с часами.

Тапомпон пришла тоже. Она работала в больнице и прозвище получила «Тампон». Бабуле она приходилась сестрой и из «тети Тампон» вышло «Тапомпон». Бывало, зажмет Тапомпон мне нос и заставит проглотить таблетку. Потом поцелуй в щечку и укол в попку. Скажет: «Раз, два, три» — готово дело!

В день, когда папа меня — с мишкой Мердоком и склянкой с аппендиксом в руках — все вместе в охапке привез из больницы домой, я с ума сходила от радости. Скорей бы увидеть маму,

показать ей гадость, которую вынули у меня из живота, и шрам, покрытый ртутной мазью, и сказать ей, как я ее люблю! Увидеть, увидеть! Но увидела я жуткую тетку, урода с накладным пучком и волосатой бородавкой на подбородке.

Звали ее Пьеретта, и пахло от нее ужасно.

Это и была новая няня!

Она взяла меня за руку. Я завопила! Она попыталась поцеловать меня — я вопила. Она заговорила быстро и громко — я вопила и вопила. Тогда папа снова подхватил меня и понес к маме в спальню. Мама — красивая, горячая. Я вцепилась, зарылась в нее, дышала ею, обливала ее слезами, обожала и не хотела отпустить — боялась жуткую тетку, мамочка, мамочка... Я так и заснула у нее в постели.

На другой день, проснувшись, я помчалась в спальню к Бабуле. А Бабули и нет. Ну, знаете!

Кровать была такой же безупречной, как накануне, и так же пахло ланвеновским «Арпежем». Я ринулась к Буму, уж он-то, ясно, в постели, тепленький. Но трубкой и лавандой пахнет, а Бума нет.

Я — на кухню, к Дада. Дада на месте.

Дада объяснила, мешая французский с итальянским, что у меня родилась сестричка:

«Понимаес, Бриззи, твой мамма родило ребенко, уно сестрицко ке си кьяма Мария-Занна. Твой бабулио сидело с мамма всю ночь, а Бум узе усол на работто».

А моя не понимай ничеготто!

Что это такое — сестричка?

Жизнь и без того была сложной: уже имелась тетка-страшила с пучком, а если еще и сестричка, к папе с мамой я назад не желаю. Тем временем я поглощала булочки с горячим молоком. Хорошо было мне, крошке, у Дада и Бума с Бабулей! Когда Бабуля, без сил, наконец, вернулась, я ткнулась ей в колени, стала карабкаться по ногам и чуть не свалила ее. Эх, Бабуля, бедняжка, и любила же ты меня, если не послала куда подальше!

Но все рано или поздно кончается, кончились и мамины роды.

И с мишкой Мердоком в левой руке и бабулиной рукой в правой я вернулась на авеню Бурдонне. Уродина с пучком была там, но я на нее и не глянула, а ворвалась к маме в спальню. И остановилась как вкопанная! У нее на руках, где прежде ласкалась я, теперь лежало что-то вроде мишки Мердока, розовое, кругленькое.

А мама говорит: это Мижану, крошка-сестричка, и скоро я буду играть в нее, как в куклу. И должна всю жизнь оберегать.

И вот у меня на руках тяжесть и тепло крошечного пискуна. Один поцелуй — и контакт установлен. В три с половиной года я узнала чувство ответственности, приняв Мижану. Меня так и подмывало шепнуть папе на ухо: «Папочка, а на Новый год у меня будет братик?»

Когда дедушка с бабушкой Бардо, жившие в Линьи-ан-Баруа, узнали, что у них опять внучка, уваженья к супругам Пилу-Тоти в них заметно поубавилось. И папа послал им телеграмму: «Вы не поняли. Вместо одной Тоти у нас целых три. Три жемчужины в короне!»

* * *

Мы приехали в Линьи-ан-Баруа к папиным родителям.

Мама была еще слаба и не выходила из своей комнаты, а я знакомилась с другими дедушкой и бабушкой, совершенно не такими, как Бум с Бабулей, а еще с кучей дядей и теть и двоюродных сестер и братьев.

И ужасно робела!

Дом был огромный, всюду окна. Перед домом, посредине, — квадратный участок. За домом — парк, сплошь деревья, цветы, особенно розы — розы дедушка Бардо обожал. Он часами готов был нюхать и разглядывать их. А потом долго не мог разогнуться, так и стоял, скрючившись и опершись на палку.

А к Бабусе Бардо я вышла на разведку.

Встретила сдержанную любезность. И поняла, что не следует переходить определенных границ. Однако была я совершенно сражена широченной черной юбкой, в которую она прятала ключи, платок и деньги. А еще у нее была круглая железная коробка с леденцами. Вечером она награждала ими всякого, кто днем хорошо себя вел. Коробка — в мешочке для рукоделья, мешочек — при Бабусе. И две палки. Ходила она, опираясь на обе палки, маленькими шажками. В прятки с вами не поиграет. Где ты, Бабуля Мюсель, благоуханная, нежная и так меня любившая!

Подобно чуткому зверьку, я учуяла что-то неладное. У взрослых был озабоченный вид. Папа приходил с работы с газетами, и мама читала их с беспокойством, между бровей у нее появлялась морщинка.

Бум и папа то и дело что-то обсуждали, каждый высказывал свое мнение, а мама с Бабулей тем временем перешептывались. Тапомпон волновалась за Жана... Папины и мамины друзья, приходя к нам, не смеялись, как раньше. Люди приникали к радиоприемнику и напряженно слушали сводки новостей.

Был 1939 год, накануне войны между Германией и Францией.

II

Несколько дней спустя шкафы, благодаря маме, оказались забиты съестным. Были даже плитки шоколада, целая стопка, но трогать их запрещалось. Видит око, да зуб неймет, а почему, непонятно! Дом стал похожим на магазин, в котором нельзя покупать.

Все — припасы. Благодать!

С Мижану стало интересней. Она что-то лепетала сама с собой, сама же себе смеялась и силилась встать в своем манежике, цепляясь за решетку. Точно зверек в клетке.

«Война, война!» Только о войне и говорили. Меня слово «война» пугало, и я спрашивала у мамы, что это значит. «Это как если бы твоя подружка Шанталь стала отнимать у тебя Мердока, а ты бы не отдавала и подралась бы с ней, защищая его. Так вот, война — это то же самое, только больше!»

В одно прекрасное утро мы покинули свой дом. Я поехала с папой в «драндулете» — в набитом чемоданами стареньком «рено», а следом за нами в «ситроене», сидя за рулем, катила мама вместе с Бабулей, Мижану и Пьереттой.

Остальные: Бум, офицер запаса, отбыл в Шартр, Тапомпон продолжала работать медсестрой, Дада сторожила дом, а Жан определился как военврач.

Мы проехали многие километры по дорогам Франции — люди заполонили их, пешком, на лошадях, на машинах. Под бомбы мы, к счастью, не угодили и после долгих переездов остановились наконец в Андэ, провели там некоторое время и уехали в Динар, где было надежней.

Папа оставил нас и отправился добровольцем в 155-й Альпийский артиллерийский полк. Теперь одна мама у нас командовала, решала, утешала.

Папа «ушел на немца». И я представляла, что папа стоит на каком-то чудовище, попирая его, как в книжках с картинками. А что дальше — было загадкой, и только из разговоров взрослых я уразумела, что папа в опасности. И еще потому, что больше не получала булочек с шоколадной начинкой, а ведь вела себя хорошо!

В Динаре очутились мы в двух меблированных комнатенках у хозяйки мадемуазель Ленэ. Пьеретта ушла от нас еще в дороге, и я была очень этим довольна.

А потом папу отослали в тыл.

Франции нужен был завод, заводу — папа. Мы вернулись в Париж. В доме на улице Бурдонне стало мрачно. Жили мы в двух

комнатах, обогреваясь — папа, мама, Мижану и я — одной-единственной электрической печкой. Бум находился в шартрском гарнизоне, и Дада уехала к нему помочь по хозяйству.

Я спала не раздеваясь, с мишкой Мердоком, лежа между папой и мамой, тоже одетыми. Иногда среди ночи мы впопыхах спускались в подвал, светя себе свечкой, а стены дома сотрясались, сирены выли, и самолеты бомбили Париж, и Булонь, и всю страну. Мне было страшно. Этот страх травмировал меня. До сих пор не могу без того детского ужаса слышать вой сирены.

Мама была святой! В самый разгар войны она и учила нас, и лечила, ибо переболели мы всеми детскими болезнями. Начало положила я, в 6 лет подцепив среди зимы скарлатину в школе Буте де Монвель.

Кроме уроков в школе Буте, игр с подружкой Шанталь и воздушной тревоги развлечений у меня не имелось. Прогулки были опасны.

Я с трепетом обнаружила папин патефон. Что за чудо! От сети и без — крутилось! С восторгом ставила я пластинки. Тогда-то я начала танцевать! Это было сильнее меня. Когда меня заставали, я краснела до ушей. Но мама была в восхищении и, поставив мне на голову банку с водой, заставляла ходить по дому.

«Малышка держится так прямо!»

Еще бы не прямо! Согнись попробуй — обольешься и получишь затрещину. И было решено водить меня раз в неделю в танцкласс, в свободный от школы день!

Мсье Рико стал моим первым учителем танцев.

Из своей старой шелковой, бледно-розовой ночной рубашки мама сшила мне платьице, и купили мы туфельки на пуантах. В балетных школах всегда особый запах. Пахнет потом, духотой, целлофаном, косметикой и дешевыми духами. Я была заинтригована. «Пахнет, — объяснила я Бабуле, — сладеньким». Объяснение так и осталось в семье. О запахе театральных кулис, танцзалов и спортклубов мои родные говорят «сладеньким пахнет».

Плие, дегаже, антраша и глиссады давались мне куда легче счета и письма! Даже при том, что силы были неравны: день в танцклассе и неделя в школе. В 7 лет я получила первый танцевальный приз у нас в классе и похвальную грамоту в школе.

Маме хотелось сменить квартиру.

Улица Бурдонне напоминала ей о грустном и неприятном!

И мы с папой на большом и маленьком велосипедах колесили по городу в поисках объявлений «сдается квартира». Сняли мы квартиру в доме № 1 на улице де ля Помп, где и жили, когда не

сидели в бомбоубежище, не ходили в танцкласс, в школу, не стояли в очереди за продуктами. В этой чудесной квартире и провела я остаток детства и отрочество. Вот это была роскошь! С угольной топкой в кухне! С балконом во всех комнатах, выходящих на площадь Мюэт. И с длинным коридором, где я каталась на самокате, а Мижану, которой было 4 года, с криком бежала сзади.

* * *

Переехав на новую квартиру, я перешла и в другую школу, из Буте да Монвель в Атмер Принье на рю де ля Фезандри. У новой было в моих глазах огромное преимущество: занятия три дня в неделю, остальное время — уроки дома.

Три дня школа — три дня танцы!

Все время занято!

Бабуля отводила меня в танцкласс и после класса приводила к ним с дедом домой. Бум, вернувшийся из Шартра, где был демобилизован по старости, выходил из кабинета и помогал мне готовить уроки. Иногда я оставалась ужинать, и Дада подавала рагу из брюквы и топинамбура, приправленное маргарином, и пирог из отрубей с эрзацем какао.

Ничего, есть можно!

Но часами надо было стоять в очередях в магазинах, чтобы приготовить такой ужин. В 3 ночи Дада занимала очередь, а в 5 утра ее сменяла Бабуля, и тогда была надежда, что, стоя 20-й или 25-й, ухватишь те крохи, которые окажутся на прилавке.

А я и не знала о таких трудностях.

Потом близился комендантский час, и надо было успеть добежать до дома. Или же я оставалась на Ренуар и спала на большой деревянной кровати с вишнево-красной атласной, надутой, как мяч, периной. А если, увы, среди ночи нас будила воздушная тревога, Бум относил меня в постель к Бабуле, и, пока они читали «Отче наш», я продолжала спать, засунув голову под подушку.

Кроме Шанталь, с которой я виделась очень часто, друзей у меня не было. Мама косо смотрела на девчонок из танцкласса, они же — «кухаркины дети»! Стоило мне завести подружку, папа с мамой тут же спрашивали: «А кто у нее родители?» Я не знала. Я не успевала с новой девочкой и двух слов сказать, как меня уводила домой служанка или забирала Бабуля.

Единственным моим товарищем по играм была Мижану.

* * *

В кино мы ходили редко, два-три раза в год. Телевизора еще не существовало, а театр был привилегией важных шишек.

Поэтому вечером устраивался, как правило, именно вечер, хотя порой и долгий. А если родители не шли в гости и не ждали гостей сами, то просто сидели вместе с нами. Закончив уроки, мы могли немного побездельничать перед сном. Папа читал нам сказки про кота на насесте Марселя Эме и рассказы Киплинга. Читал он забавно. На разные голоса, и сам смеялся. На его смех смеялись и мы. Или еще он рассказывал нам сказки о сороке-воровке, которые сам же и сочинял, так что им не было конца. Эти воспоминания мне дороже золота, потому что их у меня очень немного.

Не могу припомнить в своем детстве счастливого времени. Почему? Ведь моя родная семья вполне могла дать все то счастье, какое требуется ребенку.

Конечно, время было военное, скудное. Но мне по малолетству сравнивать было не с чем, и я прекрасно приспосабливалась. Получала самый минимум питания, не знала ни конфет, ни сладостей, вместо них имела витаминные галеты и литиевые порошки «от доктора Гюстена» — лимонный эрзац с сахарином: пакетик на стакан воды — восхитительная шипучка!

Разумеется, бомбардировки травмировали. От подспудного страха по ночам я просыпалась в ледяном поту; я дрожала на уроках арифметики или танца. Не зная, что будет дальше, мы тем больше ценили редкие минуты затишья, от сирены до сирены. Этот душ Шарко, может, не опасен взрослым, детям он — противопоказан.

Но самый большой след оставили во мне семейные отношения. Со временем я почувствовала, что отдаляюсь от родителей, что Мижану у них любимей. Последствия родительского предпочтения младшей сестры сказываются до сих пор.

До чего же это было несправедливо!

То и дело мне ставили ее в пример. В школе Любек Мижану — отличница, а я в Атмере — в «двоечной троице» (в классе, кроме меня, были еще две двоечницы). А еще Мижану — хорошенькая куколка, хоть и ябеда, и бежит жаловаться на меня по каждому пустяку. А мне — порка. И вечно исполосован зад. Я не раз слышала, как мама говорит подругам: «Слава Богу, есть Мижану. Только от нее и радость. Брижитка — и злая, и некрасивая».

А я смотрелась в зеркало и плакала.

И правда, некрасивая!

Своей внешности я стыдилась. Все отдала бы, чтобы стать, как Мижану, с рыжими, до пояса, волосами и фиалковыми глазами, и быть любимицей папы и мамы. Господи, ну почему у меня волосы тусклые и как палки, и косоглазие, и очки, и зубы выпирают (в детстве сосала палец), и приходится носить проволочку! Проволочка, к счастью, ничего не дала! Зубы у меня так и выпирали, и казалось, что я надула губы — моя знаменитая на весь мир гримаска!

Беспокойство поселилось во мне и постоянно меня точило.

Может, я им неродной ребенок?

Ни на кого не похожа, урод, а в семье все красивые.

Я стала сторониться Мижану, как чумы, совсем замкнулась в себе. Забыться могла только на уроках танцев. Особенно я любила упражненья у станка, всегда одни и те же — прекрасный разогрев и подготовка к работе «на середине». Прощайте, очки, комплексы, уныние! На скачущие аккорды пианистки я распахивалась, как сезам. Танец делал красивыми и душу, и тело. Мышцы растягивались и расковывались, я становилась гибкой, и стройной, и пластичной, чувствовала ритм и такт и слушалась музыки. От танцев у меня и эта посадка головы, и походка, которые называют «типично моими». Танец же научил меня дисциплине и придал выносливости. Уж их-то, по крайней мере, сестрице моей было у меня не отнять!

Занятия с Бумом и уроки в школе Атмер не давали мне того образования, которого хотели мои родители. Меня перевели в школу де Ля Тур — там училась и, судя по всему, получала прекрасные знания Шанталь. Итак, конец танцам! Теперь мой досуг — молитвы и молитвы.

Вот это не повезло!

Сплошные монашки! Да, сестрица, нет, сестрица... Не по мне все это. А потом я была новенькой. За моей спиной перешептывались — хуже этого в монастырской школе нет. Я сидела в Ля Тур на задней парте и получала колы, зато научилась врать и притворяться. Полагалось ходить с опущенными глазами, то и дело преклонять колени, носить в кармане четки, исповедоваться по утрам, ябедничать на подруг, доносить про все, что видишь и знаешь.

Словом, ужас.

К счастью, я свалилась с воспалением легких и тем сократила себе учебно-монастырский курс. Правда, пришлось остаться на второй год в 7-м классе, зато я вернулась в родную школу Атмер и в любимый танцкласс.

После воспаления легких я очень ослабела, к тому же и

настоящих каникул у меня не было давным-давно. Родители решили отправить меня к Шанталь. У ее матери была крошечная ферма в окружении яблонь в Нормандии, в Мениль-Жильбер, близ Безю-Сент-Элуа. На тот момент дела в стране обстояли так, что отдыхать приходилось в самых невероятных местах. Мать у Шанталь была женщиной суровой и злой. Вечно в трауре, помешана на принципах, редко улыбается и без конца молится. Она обожала свою дочь, всех остальных детей считая выродками. В то время, как, в общем, и теперь, я безумно нуждалась в ласке. От костлявого лица Сюзанны меня слегка воротило. Вся Сюзаннина нежность доставалась дочери, а я, как сейчас помню, часто засыпала, плача под одеялом и мечтая о материнском поцелуе. Однако в свободное от слез время я веселилась!

При помощи бутылочных пробок и проволоки мы с Шанталь изготовляли дамские туфли, по тогдашней моде — на сплошной подошве. Сделаем — и взгромоздимся на пробочные платформы, и прохаживаемся горделиво, как индюки. Наконец Шанталь — этого следовало ожидать — вывихнула ногу.

Пробки отправились в шкаф, Шанталь — в постель!

Когда она выздоровела, появился велосипед и прогулки на колесах по деревенскому простору, который я открыла с восхищением. Еще у нас имелись качели, вещь редкая, в Лувесьенне их не было. Качели да еще бассейн — вот, казалось тогда, верх счастья, несбыточная мечта! Но бґольшую часть времени отнимали у нас домашние задания на лето. Хуже того, ежедневно добрую четверть часа нам втирали «Мари-Роз», ароматизированное средство от вшей. Как у всех школьников, вши у нас водились, и Сюзанна упорно на них охотилась.

С тех пор я против любой охоты!

Вскоре я стала так скучать по родителям, что потеряла аппетит. Видя это, Сюзанна позвонила папе, чтобы он приехал и забрал меня. Приедет — 6 июня! Осталось потерпеть всего-то три дня!.. Минуты шли, аппетит возвращался.

Папа должен был прибыть на вокзал в Этрепаньи, откуда пригородным автобусом добраться за город до местной дороги. И вот мы втроем сидим, жаримся на солнце у обочины, на откосе... Время автобуса прошло, мы ждем и ждем... Час, другой... Нет автобуса. Я реву, Сюзанна удивляется. Автобус ходит без опозданий, а тут три часа его нет...

Убитые неудачей и жарой, мы все еще ждем, и вдруг... черная точка в конце дороги. Что-то движется к нам, пешком... В жарынь, такую, что плавится асфальт, по самому солнцепеку мог идти только папа! Я со всех ног кинулась навстречу!

Он был совсем без сил, пройдя 20 км пешком, потому что не

оказалось ни автобуса, ни машин, ни даже телефона! Не оказалось ничего!.. Только что высадились Союзники! Папа, капитан 155-го артполка, вспомнил привычку подолгу шагать с рюкзаком... Он уселся рядом и рассказал нам о высадке, то есть о том, что успел узнать в Париже.

Мы смотрели на него во все глаза.

Мы-то знать ни о чем не знали и весь день с утра только и слышали, что пенье птиц да шорох листьев. А в это время где-то рядом происходили такие события! У Сюзанны папа помылся, поел наскоро и тут же собрался со мной обратно. Безумие, конечно, но он обещал маме вернуться в тот же вечер и не хотел, чтобы она беспокоилась. Телефонная связь была прервана, предупредить ее он не мог. Оставалось пройти в обратном направлении 20 км, днем уже пройденные папой. Вечером из Этрепаньи отходил поезд, на него следовало успеть! Лет мне было 9 с половиной, и так долго топать пешком я бы не отважилась. Папа посадил меня к себе на спину. Оттуда я любовалась пейзажем. Папа шагал быстро и ровно. Покачивание убаюкивало. Я заснула, положив голову папе на макушку и обвив его шею обеими руками.

Как волнующе воспоминание об этом путешествии на спине у папы!

Когда отец состарился, ослаб, утратил твердость походки, я снова и снова с волнением думала, что этот человек пронес меня, уже вполне большую, на спине 20 километров по жаре! Будь ты проклята, старость, если отнимаешь столько силы и крепости! Прибыли мы в тот день, верней, в ту ночь, в Париж, если не ошибаюсь, за полночь, около двух. И опять я проехала у папы на спине остаток пути от вокзала Сен-Лазар до дома по тихому, пустому Парижу, и папины шаги гулко звучали по мостовой.

Самый длинный день связан у меня именно с ходьбой обессиленного, измученного человека, который несет домой свое дитя, а поблизости решается судьба Франции, гремят снаряды, умирают люди, горит земля. И у меня одна любовь на свете — к тому, кто наперекор стихиям уносит меня к теплу домашнего очага.

В августе 1944 года Париж был наконец освобожден!

Флаги вынули из нафталина и вывесили на окнах. Мы разгуливали по улицам с бумажными трехцветными флажками, а американские солдаты дарили нам жвачку, шоколад, поцелуи. Жвачка шла на подметки куклам, шоколад мне самой, поцелуи — к черту.

Было время всеобщей эйфории.

Конец бомбардировкам и комендантскому часу, можно

наконец пойти в Булонский лес, нагуливать красные щечки, как говаривала няня. Наконец я узнала, что такое белый хлеб, и молоко досыта, и сливки, и хорошее настроение у взрослых, и смех, и игры на воздухе.

1 октября с карманами, набитыми жевательной резинкой, я снова пошла в школу Атмер. Ненавидя и уроки и жвачку, я заключила сделку с соседкой по парте: она переписывает мне задания в тетрадь за жвачку. Счастье длилось три дня! На четвертый учительница заметила, что у нас с соседкой в тетрадях один почерк, и устроила нагоняй.

И осталась я при жвачке и при позоре. И вернулась в «двоечную троицу».

* * *

Примерно в это время родители наняли гувернантку. Ей поручалось завершить наше образование. Я со страхом ждала появления сей дамы. Не успели вздохнуть свободно, как теперь, в 10 лет, новая тюрьма!

И появилась мадам Легран, высокая, внушительная, во вдовьем трауре. Говорила она с нами на французском вперемежку с английским. Боялась я ее очень, но она оказалась так добра и благородна, что в конце концов меня приручила!

За высокий рост и английский язык я прозвала мадам Легран, с ее собственного разрешения, «Биг». Биг, которую со временем я переделала в Бигу, потом в Бигуди, была женщиной удивительной, уравновешенной и справедливой, она умела мирить детей с родителями, и самих родителей, и самих детей. Шли годы, а я все сильней к ней привязывалась. Меня она считала дочкой, называла «своей душечкой».

Я ее любила и не оставляла до самой смерти.

III

Наше жилье на улице де ля Помп не было мирным гнездышком. Огромная квартира с длинным коридором, коридор ведет в четыре больших комнаты, ванную, кухню, кладовку. Из прихожей вход в гостиные — большую и поменьше, в столовую и «шляпную».

Папа с мамой по натуре нервны, нетерпеливы, стремительны. Атмосфера в доме всегда наэлектризована. Мама злится на гувернантку, гувернантка на служанку, служанка на нас с Мижану, а мы с Мижану льем слезы. Родительские семейные ссоры приводили меня в детские годы в ужас. Ей-богу, лучше не ссориться на глазах у детей.

Папу с мамой нельзя назвать образцовой семейной парой. В их отношениях были привязанность, нежность, понимание, но судя по раздельным спальням, вряд ли — великая любовь!

Как часто мы бывали напуганы, глядя, как папа ходил со злым лицом и хлопал дверьми! И как часто держались за руки под столом, за обедом в полной тишине — лишь жеванье да стук вилок о тарелки.

Это было затишье перед бурей.

Папа опрокидывал стул и швырял на пол салфетку, мама всхлипывала над стаканом, оба вскакивали и, хлопнув дверью, запирались в папиной комнате. И вот оттуда, слышим, выкрики, вопли, рыданья, мольбы. Мы за столом, друг против друга. Мы оцепенели, мы перепуганы насмерть, как брошенные щенки, мы слушаем во все уши, что там, в соседней комнате.

Подобные сцены повторялись то и дело. Иногда среди ночи нас внезапно будили крики, топот и — опять хлопанье дверей.

Мижану так пугалась, что забиралась в мою постель, прижималась ко мне и просила поклясться, что, если папа с мамой нас бросят, я, ее сестра, останусь с ней навечно. Я клялась, и сестренка, успокоенная, засыпала у меня на плече, а я лежала с открытыми глазами, дрожа и прислушиваясь, перед тем, как заснуть.

К счастью, Биг была рядом, склеивая разбитые сердца, миря, утешая, успокаивая.

В антрактах между сценами родители относились друг к другу бесконечно нежно. Они были, когда не ссорились, прекрасной парой. Любили веселье, серьезные разговоры, игры, друзей. Долгие годы не имея возможности приглашать к себе в гости, теперь они стали наверстывать упущенное. Обожали устраивать званый ужин на отдельных столиках. На этот день

была задействована вся семейная прислуга. Дада, двое наших слуг — муж с женой, повар, нанятый на вечер, иногда кухарка родителевых друзей — все в деле. Консьержка на входе как гардеробщица. Я обожала приготовительную часть. Вынимали столовое серебро и парадный сервиз.

Нам с Мижану поручалось перетереть посуду, вытереть пыль, освободить место от лишних вещей и достать из бельевого шкафа салфетки. Приятная суматоха, как за кулисами. Обыкновенно мама накроет десяток карточных столиков, по четыре прибора на столик. Загадки-шарады указывают, кому куда сесть. Мужья с женами оказывались порознь, и родители мои, я слышала, смеялись, усадив рядом — несочетаемых месье N и мадам NN.

В эти дни нас с Мижану укладывали спать рано. И я тосковала, чувствуя себя обманутой! Ведь старалась, помогала! Хоть одним глазком взглянуть, как красивые тети и дяди пробуют то, что так старательно и долго готовилось, как смакуют пирог. Мама обещала: если что останется, назавтра съедим мы. Но после гостей и прислуги не оставалось ни крошки.

А мама в эти дни была так занята, что забывала зайти поцеловать нас на ночь. Помню — смех, звон бокалов, шаги, и я не сплю, а пытаюсь по этим звукам представить, что сейчас происходит в гостиной. Порой расхрабрюсь и высуну нос в приоткрытую дверь. Вижу: ярко освещенный коридор, и только. Тогда я на цыпочках в прихожую: шубы, шали, норковые пелерины! Зароюсь во все это мягкое, благоуханное и мечтаю, что я тоже взрослая и ужинаю вместе со всеми!

* * *

Бабуся Бардо покинула наконец свой дом под Каннами, в котором пересидела почти всю войну, и приехала с Полин, своей усатой кухаркой, в Париж. Поселилась она на рю де ля Помп, в доме № 1 на 5-м этаже, то есть прямо под нами: папа случайно обнаружил, что нижняя квартира сдается. Дедушка Бардо умер от старости несколько лет назад. Бабушка была уже давно парализована, переезжать ей было сложно. Вдобавок, она не желала расставаться с вещами — мебелью, безделушками, буфетами, обеденным, огромным, как бильярдный, столом, собственной кроватью — махиной из темного дерева, книгами, часами, коробочками и т. д. и т. п.

Квартира была большой, и бабушка предложила дяде Рене, младшему папиному брату, жить у нее, когда он с дочерьми, моими двоюродными сестрами, приедет в Париж.

И получила я почти одновременно и ласку бабушки, которой почти не знала, и дружбу кузин, которых не знала вообще. Мадлен, Мартин, Франс и Даниэль скоро стали необходимыми участницами наших с Мижану игр. Было очень удобно: все в одном доме! Как только сможем — за дверь и к ним, играть до потери сознанья в прятки при бабушке, снисходительной и занятой пасьянсом.

«Нижние девочки» были нашим светом в окошке все время, пока жили в Париже. Мамы у «нижних девочек» не было. Жена дяди Рене умерла от туберкулеза. Мы с Мижану жалели их, не представляя, как можно жить без мамы.

В тот год Жан Маршаль женился. Тапомпон была очень горда: женой его стала необыкновенная черноволосая красавица Жанна Трио, по прозванию Тату, большая кокетка, не принесшая, увы, Жану счастья.

Поженились они в Ла-Рошели.

Их свадьба — прекраснейшее воспоминание. Мы с Мижану — подружки невесты. Новобрачные хороши, и Ла-Рошель тоже, и день, и... Бернар. Ах, Бернар... брат невесты! 17-летний атлет, блондин, французский скаут, в которого я влюбилась!

Впервые в жизни у меня забилось сердце. Пылают щеки, и в душе смущенье, смятенье, не знаю что. Я уже не носила ни очков, ни зубной проволочки. Слегка завитая и, ей-ей, почти хорошенькая... Вдобавок, уже обозначилась грудь, чем я очень гордилась.

Всю ночь, Бернар, видела тебя во сне. Весь день — наяву... Ничего больше не слышала... Думала только о тебе. Курам на смех. А ты не заметил, ты был так мил, только жаль, не поцеловал меня! Но взял меня за руку, и я чуть не хлопнулась в обморок от счастья! Ты был моей первой любовью в год моего первого причастия. И любовь эта длилась долго-долго после того, как я вернулась в Париж, черт возьми!

* * *

У меня, в общем, не было каникул нигде, кроме как в Лувесьенне. Красивое имение площадью в гектар, с высокими, вековыми каштанами принадлежало наполовину бабушке, а наполовину тете Мими. На тетиной половине оказался дом и службы — конюшни, сараи, флигели, на бабушкиной — ничего. И бабушка выписала из Норвегии сборный домик, что по тем временам считалось причудой!

Домик, прелестный, целиком деревянный, в меру с

завитушками и финтифлюшками, был всем хорош для моей матери. Только два минуса: отсутствие удобств и присутствие свекрови.

Бабушка, под конец жизни парализованная и глухая, как пень, помыкала всем и вся из своего кресла. Ничего не слышала, зато все видела. Пересчитывала полотенца, ложки-вилки, даже куски сахара в сахарнице. После обеда сама раздавала фрукты, начиная с тех, что «с бочкґами». Потому ели мы вечно гнилье и каждый — свою долю! Четвертушка абрикоса, персика, сливы и груши и составляли «долю». И никаких добавок! Раздаст — и до свиданья, в буфет остальное, а ключ в бездонный карман широкой юбки...

Хотя мама терпеть не могла Лувесьенн, все же, пока бабушка была жива, мы ездили туда довольно часто. Лучшие мои детские воспоминания — именно там. Семейная мебель, мрачная, пышная, но удобная, сад на старинный манер, с цветниками, бордюрчиками, дорожками, родником, где рос кресс-салат, низкие ветви дуплистых деревьев, соседство кузенов и кузин. Как я любила этот дом и как рада, что Мижану в нем живет до сих пор, хоть и продала она всю мебель, и выбросила с чердака всю памятную рухлядь, и дом теперь похож на финскую баню, а сад зарос сорняками.

Она на свой лад продолжает семейную традицию...

Именно в Лувесьенне, когда мне было 12 лет, у меня появился первый настоящий кавалер! Друзья родителей жили в одном с нами доме. У них был сын Ги, на три года старше меня. Ги с сестрой Дениз ненадолго приехали погостить к нам в Лувесьенн, пока их родители вместе с нашими куда-то укатили. Нас, весь наш выводок, поручили матери Шанталь.

Ги был некрасив — долговязый, худой, костлявый, чернявый, волосы ежиком, рот, как щель в копилке, в общем: уродина!

Но был он какой-никакой, а юноша, и это поднимало его в наших с Шанталь глазах, ведь, принадлежа к противоположному полу, он мог на сей счет просветить нас... Сюзанн не следила за нами так уж неотступно, и, играя в «полицейского и вора», мы легко укрывались в саду за деревьями. Там-то я и наскочила на Ги и Шанталь. Они целовались в губы, и я впервые в жизни устроила сцену ревности. Они стояли красные от стыда, а я кричала, что все расскажу ее матери, если она не уступит мне место, чтобы я тоже попробовала.

Сказано — сделано. Умирая от страха, в ужасе от того, что вот-вот случится, я крепко закрыла глаза и рот, и жду... Он поцеловал мои сжатые губы, и я загадала, как всегда, когда делала что-то впервые: чтобы однажды меня поцеловал не такой

урод.

Остаток каникул мы с Шанталь по очереди целовались с нашим горе-донжуаном, непременно зажмурив глаза и сжав губы.

А потом обе шли исповедаться и, прощенные, мечтали о новых поцелуях.

В том же году мне повезло: я прошла по конкурсу и поступила в балетную школу. Поступавших было 150 человек. Отобрали 10, меня в том числе.

Но нелегко мне в тот год пришлось!

Два часа танцев ежедневно плюс 4-й класс в школе Атмер. С мадемуазель Шварц, моим педагогом по танцу, были шутки плохи! Пропустив более двух раз занятия без справки от врача, ты — исключена!

Я не привыкла к такой дисциплине. Пришлось привыкать. Моя гувернантка Биг сидела на каждом уроке. Она вязала или дремала, пока я билась над антраша или стирала в кровь ноги, снова и снова повторяя что-то трудное. Когда мы уходили с занятий, она так проникалась моей усталостью, что шла со мной в первое же бистро и брала мне лимонад, заодно помогая и выпить его.

Биг ходила со мной и в школу Атмер, три раза в неделю, явить учителям мои успехи в домашних занятиях. Мадам Берже, учительница математики, нагоняла на меня страх. Считать я всегда могла только на пальцах. А пространственная геометрия и алгебра были для меня китайской грамотой. Когда я публично страдала у доски на смех всему классу, Биг тайком страдала за меня.

Хорошо ли, плохо ли, танцуя и зубря, я дожила до июня и, значит, до экзаменов в балетной школе! Экзамены проходили на сцене «Опера Комик», состав экзаменационной комиссии — впечатляющ! Председатель — Леандр Вайя, балетный критик. Я помирала со страху, но, благодаря усиленным упражнениям в течение всего года, ноги не дрожали. Надеялась я, что заслужила награды, пусть малой. Помню, танцевала на экзамене хорошо. Мама, сидевшая тут же и судившая строго, могла гордиться! Она — мой первый и самый строгий критик. И вот, в ожидании результатов, я, с ней рядом, сгораю от нетерпения.

Торжественно объявили вторые места — то, на что я надеялась... Моей фамилии нет. Я в отчаянии. Это несправедливо! И я зарыдала на плече у мамы, когда стали объявлять первые.

Боже, о чудо! Я слышу свою фамилию и прыгаю, прыгаю от радости, на сцене, как мячик, еще плача и уже смеясь и гордясь безумно! Вместе со мной «первой» была Кристьян Минацоли, впоследствии знаменитая театральная актриса.

* * *

Бабуся умерла весной.

Полина сообщила нам, что с бабушкой очень плохо, и мы всей семьей поехали в местечко близ Канн департамента Альп-Маритим, где у бабушки был дом. Дом называли «Вишенкой», так как окна и входная дверь были украшены керамическими вишнями, а в саду росли вишневые деревья.

Я расстроилась, потому что очень любила бабушку Бардо, научившую меня стольким вещам! Старушка, несмотря на свои 86 лет и паралич, еще могла перемещаться с помощью двух палок и кресла на колесах. Когда мы приехали, она лежала на своей большой дубовой кровати, утопая в подушках. Ее благородное лицо, прежде розовое, теперь стало мертвенно-белым.

Всю ночь была суматоха, я слышала: топот на лестнице, звяканье тазиков, бульканье выливаемой воды, беготня на кухню. Выйти я не решалась, потому что никто не звал. Но все равно не спала, смутно чувствуя, что происходит что-то непоправимое.

Назавтра в доме стало странно тихо. У папы было перекошено от горя лицо, у Полины с усов свисали слезы, мама казалась подавленной: бабушка умерла! Впервые я видела смерть. Меня ужаснула неподвижность того, что было бабушкой.

С бабушкой умерла частица меня самой.

После бабушкиной смерти папа унаследовал дом в Лувесьенне, и мама решила обустроить его.

Семейные портреты были сосланы на чердак, мрачную мебель продали, ну а мраморные умывальные столики с расписными кувшинами и мисками пошли монахиням, потому что никто не захотел ни купить их, ни взять даром. Туда же отправились и лампы с шитыми жемчугом абажурами, бронзовые статуэтки и прочие безделушки, которые сегодня стоят бешеные деньги. Повезло же святым сестрам, если, конечно, хватило у них ума сохранить их на чердаке... Все это заменили на раковины, души, светлую живопись на стенах, легкие кресла и мягкий штоф.

Стали устраивать выезды за город, и дом повеселел. На природу отправлялись каждые выходные. Набивались все — Бум, Бабуля, Дада, папа, мама и мы с Мижану, — в старый «ситроен». У всех на коленях корзины со снедью, приготовленной Дада. Целая экспедиция.

А приедем — пойдет потеха! Каждый делал, что хотел. Бум, патриарх, выносил свое плетеное кресло, усаживался поудобней на свежем воздухе, закуривал трубку и слушал птиц. Не успеет запеть — он говорил мне, что за птица. Любить природу научил меня в Лувесьенне дед Бум.

Бабуля раскладывала свои вещички! Она всегда опрятна и часами разбирает у себя в шкафах, благоухающих лавандой. Крикнет из окна раз-другой: «Леон, домой! Сам простудишься и малышку простудишь!» — закроет ставни и оставит Бума предаваться грезам…

А Дада одна хозяйничала, жарила-парила, подавала, мыла посуду, получала нагоняй, чистила, убирала, стирала и почти не спала!

Именно она поселилась в моем детском сердце, и, может быть, ее-то я больше всего и любила. Красоточку, итальяночку, изящную, как фарфоровая статуэтка. Дада оставалась при бабушке почти всю свою жизнь. И только когда она совсем состарилась, я взяла ее к себе, чтобы она могла провести остаток дней на покое.

IV

Чуть позже друг моих родителей Кристьян Фуа, ведущий танцовщик балета «Шанз-Элизе», просил маму отпустить меня с их труппой на гастроли в Фужер и Ренн. Мама отпустила. Выступить на сцене мне, быть может, пойдет на пользу!

Я в ту пору оставила балетную школу и училась у Бориса Князева. Итак, отправилась я на месяц в Ренн, сданная Кристьяну Фуа. Женщинами Кристьян не интересовался, поэтому я показалась ему прекрасной спутницей!

Почти вся труппа жила на квартире. Хозяйка по специальности — врач-онколог. Мне места не хватило, и Кристьян нашел для меня гостиницу, небольшую и недорогую, ибо зарабатывала я чепуху. Одна в своем углу, не слишком я радовалась началу независимой жизни.

Столовались мы у хозяйки, но я потеряла аппетит, заглянув в хозяйскую лабораторию, где умирала дюжина хорошеньких кроликов и множество больных раком мышей. Утром и днем, а иногда и вечером мы репетировали. Я была страшно рада танцевать в балетной труппе, может, не лучшей, но по крайней мере профессиональной. Нам предстояло выступать в реннской опере, а я так гордилась, словно в нью-йоркской. Примерка костюмов стала наслаждением. За исключением экзаменов в балетной школе, когда я красовалась в классической белой пачке, я всегда танцевала в купальнике и рабочем трико.

Прима-балерина, Сильвия Бордонн, была великáна — и в длину, и в ширину. Однажды на репетиции она споткнулась и рукой, гибкой, но сильной, случайно ударила Кристьяна так, что он на четверть часа потерял сознание. Помня это, я всегда старалась танцевать на некоторой дистанции от нее.

В первом балете я была негритенком, прыгавшим и вертевшимся. Зрелище уморительное. Во втором — «Детских сценах» Шумана — выступала одна, в кринолине и локонах. Последним шел балет Прокофьева, где мы — конькобежки в длинных юбках, круглых шапочках и S-образных муфтах, голубых, розовых, желтых, бледно-зеленых.

Было очень красиво.

Подумали обо всем, кроме одного.

На первом спектакле в Фужере получила я горький опыт. Негритенок в первом балете — прелесть, я была черней ночи в ваксе, черном парике и обычном черном купальнике. Но между негритенком и «Детскими сценами» оказалось всего десять минут аплодисментов. Мама приехала на спектакль и теперь стаскивала

с меня трико и парик, а я, сунув голову в раковину, терла лицо туалетным мылом, торопясь смыть чертову ваксу!

Получилась я красная, как помидор, с черными несмытыми полосами. Парик успел сплюснуть мне локоны, а пот еще и склеил — прически не стало. Некогда было даже огорчиться. Немного пудры на пунцовые щеки и нос, мама расческой разлепляет букли и прикрепляет хвостик...

На сцену, быстро!

Кошмар!

Юбка не застегнута, трусы съезжают, книжечка, которую я якобы читаю в начале сцены, потерялась. Я затянула на себе поясом трусы и юбку: держатся, но дышать стало нельзя! Вдобавок, я расшиблась на лестнице, потому что идиотский театр был устроен так, что попасть со двора в сад можно было только под сценой.

Вышли у меня не детские сцены, а стриптиз. Сперва я потеряла заколку, и волосы рассыпались по лицу. Я ослепла, но, по крайней мере, не были видны черные полосы на щеках! Потом потихоньку стала съезжать юбка. Тогда я бросила книжечку и подхватила юбку обеими руками, но свои скромные штанишки не удержала, они спустились и сковали ноги.

Это надо было видеть!

Умирая от смеха и стыда, я опять грохнулась на все той же проклятой лестнице по дороге обратно в крохотную уборную. Мама и Кристьян хохотали до слез, будто на экзамене в цирковом училище.

А для танцев на катке сцена оказалась так мала, а ступни Сильвии Бордонн так велики, что, когда Кристьян вращал ее, держа за руку, она в арабеске, вытянув назад под прямым углом ногу, попала стопой в занавес, потихоньку завернулась в него, как в ветчинный рулет, и на глазах у публики чудесным образом исчезла.

У тамошних зрителей, наверное, челюсти отвалились от изумления, а мы, артисты, чуть не умерли от смеха! Кристьяна и всегда было хлебом не корми, дай посмеяться, а тут он хохотал просто до истерики.

Незабываемый вечер!

* * *

Вернувшись в Париж, танцы я сочла не слишком надежным делом. А тут мне предложили сняться для «Жарден де мод жюньор». Была зима 1949 года. Мамина подруга, мадам де ля

Виллюше, заверила маму, что это не «за деньги», что журналу я нужна как «девушка из общества», а не как манекенщица.

Я снялась. Мама ходила со мной.

Дескать, эти фотографы — известное дело...

Я была горда: хорошенькая, без очков и зубной проволочки. Фотографии удались и пошли в журнал. Я до сих пор, как талисман, берегу этот номер! Тогда же Элен Лазарефф увидела в нем мои фото и, опять через мамину подругу, предложила мне сняться на обложку майского номера «ELLE».

Дома — крик. Никаких «девушек на обложку» в нашей семье! Ах, ну если не за деньги — надо подумать. Наконец — ладно, иди! Дрожа, стесняясь, комплексуя, прячась за мамину спину, я вхожу в фотостудию. Толпа. У меня душа в пятки.

Мама всех знала. А я вот-вот упаду в обморок. Меня разглядывали, обсуждали мои зубы, волосы, ногти.

Нет, косметикой не пользуюсь, мне всего 14 лет!

Нет, лифчика не ношу, мне всего 14 лет!

Нет, позировать не умею, мне всего 14 лет!

Короче, я невзрачна, зажата и только в профиль еще туда-сюда: нос — ничего, остальное не видно.

Однако ровно через год, день в день, я снова снялась для «ELLE». Спецвыпуск от 8 мая 1950 года был посвящен моде «Дочки-матери». Я фигурировала во всех ракурсах и платьях, и утренних, и вечерних. И вот я непременный атрибут журнала, и судьба моя действует помимо моей воли: Марк Аллегре увидел фотографии и попросил о встрече.

И снова семейный совет в столовой: Бум — председательствует, вокруг остальные. Должна малышка или нет встретиться с Аллегре? Опять крик, Опять «все актрисы проститутки», «нам в семье таких не надо» и т. д. и т. п.

Вдруг Бум стукнул кулаком по столу и заявляет: «Если малышке суждено стать шлюхой, она ею станет, в кино или без. А не суждено — так и кино тут ничего не сделает! Дадим ей шанс, мы не вправе решать за нее».

Спасибо, дед, что поверил в меня.

Спасибо, что дал мне шанс.

И машина заработала.

Я отправилась к Аллегре. Принял меня Роже Вадим, его помощник. Мама была со мной. Смотрела она спокойно и с любопытством. А я опять дрожала и стеснялась: хочется и колется. Аллегре говорил маме, что собирается сделать со мной. Вадим ничего не говорил, но смотрел на меня хищно, и пугал, и притягивал, и я чувствовала, что сама не своя.

Вечером дома за ужином мама тараторила без умолку,

рассыпалась в похвалах Аллегре. Он-де и воспитан, и обаятелен, и не похож на этих беспардонных киношников, в общем, человек нашего круга, и так далее... А я, уткнувшись в тарелку, сидела как истукан и вспоминала глаза Вадима...

Клод, мой 20-летний брат — двоюродный, но в качестве родного, провожал меня на пробы. Маме было некогда, и она, убедившись, что Аллегре прекрасно воспитан, спокойно перепоручила меня кузену. Мы прибыли с ним в студию, оба впервые.

На пробах, оказалось, я не одна!

Два десятка девушек, моих сверстниц, одна лучше другой, гримеры, костюмеры, ассистенты, толпа каких-то страшных незнакомцев, я погибла! В самой гуще ослепительный свет, возня, особый запах пыли, грима, горячей резины. Огромные пространства, осветители на мостках у прожекторов. Юные красотки-блондинки строят глазки всем, даже Клоду, которого они приняли за важного киношника. Клод бросил меня и занялся кандидатками на роль, совсем потерял голову. А на мне уже макияж в два пальца толщиной, волосы затянуты в пучок, платье — старые лохмотья. Меня вытолкнули на площадку.

Я чопорна, скована и чуть не плачу.

Сотни пар глаз устремились на меня.

Сгораю со стыда.

Понятно, почему родители хотели уберечь меня от этой муки. И в миг, когда, чувствовала я, мне конец, и забыла все слова, какие должна была сказать, появился Вадим, спокойный, улыбающийся и прекрасный — прекрасный, как никто никогда!

— Вы дрожите?

— Нет, плачу. Мне страшно, по-моему, я провалюсь.

— Да нет, все будет хорошо. Реплики буду подавать я, успокойтесь.

Он говорил медленно, и в глазах у него была какая-то жуткая глубина. Он взял мою руку, и я вцепилась в него... зачарованная.

О Вадим, спасибо, что понял мое смятенье, страх, неуклюжесть!

Спасибо, что велел снять с меня слой штукатурки, тряпье и заколки. Мне стало легче. На пробе перед камерой я впервые услышала: «Внимание! Мотор! Проба Бардо, первая». Рядом со мной был ты, ты заставил меня говорить, улыбаться, смеяться. Успокоенная твоим присутствием, я стала вертеть головой и забыла, что я — лошадь на торге, которой смотрят в зубы прежде, чем купить ее. Когда погасли прожекторы и утихли мои тревоги, оказалось, что пропал Клод. Кузен, выдав себя за сына продюсера, отправился провожать двух красоток, нашедших наконец, кого

очаровывать.

Вадим вызвался проводить меня. Родители сидели за столом, когда появились мы. Это еще что такое? Но вежливость прежде всего. Пришлось родителям пригласить его к ужину.

Я помню, какой был контраст: роскошный обед, добропорядочное семейство, слуга, свечи, столовое серебро — и Вадим, с длинными волосами и в старом свитере. Он был похож на цыгана, и это сводило меня с ума. Но на маму его обаяние подействовало только наполовину, потому что за кофе она тихонько велела слуге сосчитать серебряные ложки, безумно боясь, что Вадим две-три ложки унесет в кармане. Но унес он не ложечки, а мою душу, и дверь ему была у нас отныне приоткрыта.

Выбор пал на меня. Лошадь оказалась отличной. Правда, фильм снимать не стали. Но не все ли равно? Сердце билось радостно: из 20-ти девушек лучшей была я. И об этом говорили. И другие режиссеры меня приглашали.

Журнал «ELLE», принесший мне счастье, напечатал фото «своей девушки», которую будут снимать в кино.

Сначала Вадим виделся со мной изредка, потом часто, потом каждый день. Всегда у нас дома, потому что в 15 лет одну меня никуда не отпустили бы.

Мы репетировали с ним «Школу жен».

Однажды с разрешения родителей я была на репетиции у Даниэль Делорм и Даниэля Желена, на улице Ваграм. На другой день утром отправилась я не в школу, а к Вадиму домой. Было 9 утра. Я, как обычно, села на автобус, но, с бьющимся сердцем и с учебниками под мышкой, сразу сошла и поехала в другом направлении. Он будет ждать меня! Сто раз повторил мне! Я боялась еще больше, чем накануне у Желена. У меня никогда не было романа. Целовалась несколько раз, случайно, но понятия не имела, что такое любовь... Я шла на свое первое свидание, представляя на свой лад, как все произойдет. Может, будет шампанское? А что, в 9 утра — непривычно и мило! Он вроде живет в мастерской художника. Наверно, везде свечи и обстановка богемная, как в фильмах.

Я посмотрелась в зеркало витрины...

Боже, что за дурацкий вид у меня в этих носочках и кофтенке с плиссированной юбочкой... Волосы вислые, тускло-русые, хвостик на затылке. И больше моих 15-ти мне не дашь, а хочется — 18! Мать запрещает носить чулки и лифчики, говорит — еще успеешь быть женщиной... Ну вот, пришла, взбегаю по лестнице через три ступеньки, сердце стучит, как молоток. Звоню.

Тишина.

Странно! Толкаю дверь — открывается... Оказываюсь в

кромешной тьме, осторожно иду вперед. Слышу чье-то дыхание. Глаза привыкают к темноте, вижу, что очутилась в комнатушке. Никакой мебели. Только две огромных кровати и две взлохмаченные головы на каждой. Ничего не понимаю. Наверно, я ошиблась этажом. Но нет, вот его свитер на полу... А чья — вторая голова? И которая Вадима? На цыпочках подхожу к одной кровати — он, спит мертвым сном. Смотрю на другую — какой-то парень, и тоже спит мертвым сном.

Вот тебе и первое свидание!

Хочу зарыдать и убежать, что и делаю. Только ошиблась дверью и попала в ванную. Рассыпала учебники, разбудила обоих.

— Что там еще за черт?

— Это я...

— Кто — я?

— Брижит!

— Что ты здесь делаешь в такую рань? И вообще, который час? Полдесятого? Ты с ума сошла!

— Я думала, что... что...

— Ты хоть булочки на завтрак принесла? Нет? Тогда тебе нет прощенья. Дай нам доспать и заходи попозже, в 12.

Я вне себя от бешенства: прогуляла уроки, не дай Бог, узнают родители, пришла сюда с бьющимся сердцем, схожу с ума от любви, а мне говорят — заходи попозже! Ну, знаешь, извини!

В школу идти уже поздно, домой — рано! Не знаю, что мне с собой делать. Сажусь к нему на кровать и тихонько плачу. И вот я в постели с неприятным ощущением собственных туфель на нагретой простыне. Но уже не помню, где я, что я, и, только наплакавшись, сознаю, что нахожусь в одной постели с мужчиной, а в двух метрах спит еще и другой...

Для первой любовной встречи, пожалуй, чересчур. Однако я молчу. И потом, если я одета и ничем не рискую, значит...

Так и осталась я в тот раз одетой... и целомудренной...

Зато я открыла, что спящий мужчина не совсем тот же, что не спящий. Оказалось, тело его во сне нежное и мягкое, а проснется — твердое, жесткое...

Удивительное дело! От удивления я не могла опомниться...

Я пришла к нему на другой день.

Вторая кровать была пуста, и я принесла булочки. На этот раз я оказалась под одеялом без всего, уже приятно ощущая кожей его кожу и точно зная, что он не спит, а только притворяется, говоря со мной сонным голосом.

От этой обузы-девственности я избавлялась постепенно. С каждым днем ее оставалось во мне все меньше, и я с беспокойством спрашивала его, одеваясь: на этот раз я —

окончательно женщина?

Это было для меня время поразительных открытий. Вместе с его телом я открывала свое собственное. А дома, вечером перед сном, я долго разглядывала живот и спокойно засыпала, удостоверившись, что он такой же плоский, как и раньше! Осанка у меня изменилась, я чувствовала себя умней и сильней, мелкие повседневные заботы казались мне вздором. Любовь — единственный смысл жизни. Я удивлялась, как можно думать о чем-то другом... Занятия я прогуливала, уроков не делала.

Однажды вечером, когда я вернулась, отец спросил меня, как дела в школе и что сегодня было на уроках... Я ответила, покраснев, что-то неопределенное. Кажется, запахло жареным. Со странным спокойствием отец объявил мне, что знает о моих прогулах, что решил отправить меня доучиваться в Англию, что уезжаю я поездом завтра утром, он меня проводит, и что пробуду я в Англии до своего совершеннолетия.

Он уже все устроил.

Я посмотрела на мать — лицо у нее было непреклонно. Сестра — с нее взятки гладки...

Это было мое первое настоящее горе, ощущение детского бессилия, когда ты одинок, никем не понят и совершенно не можешь противостоять врагу, беспощадно-ледяному, как бывают порой родители! И с Вадимом не увидеться!

Я не могу этого вынести!

Где он теперь? Ему даже некуда позвонить...

Мама, помоги, нет, что я, это безумие! Нет...

В голове ледяной вихрь, бред, ненависть. Я онемела, оцепенела!

В тот вечер был спектакль, не помню, где. Родители с сестрой уходили в театр. Я осталась дома, сказав, кажется, что голова болит или уроки не сделаны...

Помню — открыла на кухне газ и закрыла окна и двери. И вот, в свои 16 лет, сую голову в духовку — вдыхаю запах смерти. Больше ничего не помню... В тот вечер меня нашли на полу у плиты с короткой предсмертной запиской. Знаю только, что спектакль в тот день отменили, родители вернулись домой раньше времени и обнаружили меня лежащей без сознания.

Когда я очнулась, рядом сидел врач — «знакомый», чтобы не вышло огласки!

На другой день было решено, что Вадима я не увижу до своего совершеннолетия и что немедленно еду в Англию изучать английский язык. Как жалкая бездомная дворняжка, я скулила, умоляла маму не трогать меня. Бесполезно! Я-де так жестоко с ней поступила! Столько горя причинила! Она бы никогда не

утешилась, случись со мной что... И потом ведь она желает мне добра! Хочет, чтобы я вышла замуж за человека молодого, богатого, красивого... Ведь она любит меня... Да, любит, а сама отправляет на пять лет на чужбину!

Я молила и вымолила, отец смягчился... Мне разрешили не ехать в английский ад, но запретили выходить замуж за Вадима до моего 18-летия! И точка.

* * *

Родителям и в голову не приходило, что я его любовница. Считали меня все еще ребенком и непоколебимо верили, вплоть до моей свадьбы, что я чиста и невинна.

А мы с Вадимом были мастера отводить глаза! Родители частично контролировали меня, и, чтобы встречаться, нам приходилось пускаться на всякие военные хитрости. Любовные свидания превратились в шпионские акции с алиби и «крышей»... А если родители уходили в театр, мы решались заняться любовью на полу в гостиной: отсюда был слышен лифт, и врасплох нас вряд ли застали бы, не то что в моей комнате — мышеловке в конце коридора.

Родители решили, что за Вадима я не выйду, пока не сдам экзамены на бакалавра. Судя по моим занятиям, это было равносильно вечной девственности! А тем временем меня знакомили с сыновьями инженеров, папиных друзей, и сыновьями врачей, друзей маминых. И приглашали меня, и водили в театр все эти сыночки, адвокатские, писательские, такие-сякие... Зануды со своими стрижечками и костюмчиками.

Тайком я продолжала встречаться с Вадимом. Я признавалась ему, как страдаю дома, как люблю его, как жажду свободы. Думала я только об одном: бежать из дома, прочь от враждебности и холодной войны.

* * *

В это же время родители, чтобы отдалить от меня Вадима, уцепились за приглашение Андре Тарба. Тарб собирался устроить спектакль во время морской прогулки на «Де Грасс». Решено было, что я выступаю на пару с девушкой по имени Капюсин, фамилии не помню: на мне — танец, на ней — показ моделей высокой моды, организация, песни, фокусы-покусы...

Мне было 16 лет.

Этот круиз казался мне морским раем — волей после домашней тюрьмы. Конечно, придется две недели жить без Вадима, но я, дальше деревни не ездившая, буду путешествовать! Я грезила наяву и прыгала от радости!

А пока надо было вкалывать и вкалывать, танцевать через вечер, каждый раз другую «вариацию». Гонорар — 50 тысяч старых франков, то есть 500 франков новых. На них мне самой шить костюмы, так как родители не дают ни гроша, а заказывать у портнихи еще дороже.

От швейной машинки — в репетиционный зал — и обратно. Я работала, буквально не покладая рук! То, что не получилось сшить, взяла напрокат в театре у костюмера... И часами корпела, обметывая, сборя, делая складочки и пришивая крючки. И получилось! Костюмы смотрелись очень неплохо. Я предусмотрела даже корабельную качку. Не ровен час, поскользнешься в балетных туфельках на коже — подшила их резиной.

В поезде по дороге в Гавр я слегка волновалась.

Я впервые предоставлена самой себе и еду в чужие края с чужими людьми!

На «Де Грасс» я занимала крошечную каюту вместе с Капюсин. В каюте негде повернуться — все завалено платьями «от кутюр» и моими пачками, туфлями, трико, кринолинами и прочими причиндалами.

Когда меня не тошнило от качки, трясло от страха. В круизе я научилась обходиться без посторонней помощи. Днем репетировала с оркестром. Ни кулис, ни занавеса, ни декораций. Предстоит танцевать на ресторанной площадке, на скользком паркете. Волна — и пол из-под ног, я чуть не падаю... Оркестр к классике не привык и играл мою музыку на манер нежных слоу, как в американском баре.

Но, хорошо ли, плохо ли, а выступила!

На пути в Лиссабон я снова танцевала шумановские «Детские сцены». В Португалии — фламенко, но не слишком успешно! Классическая выучка мешала мне яро стучать каблуками... По дороге на Канары я прихлопывала ладошами и сапожками в «Венгерской рапсодии». «Маленький барабан» (не помню чей) я исполняла в красно-бело-синей пачке с барабаном на боку и в берете с помпоном. Ближе к Азорам я в длинной романтической юбке выступила в прекраснейшей классической вариации Прокофьева и наконец в прощальный вечер на подходе к Гавру — был маскарад!

В круизе я познавала мир. Все, что я видела, было мне внове. Не сводила глаз с элегантной Капюсин — изучала. И красилась,

как она, и мечтала одеваться так же, и быть такой же в точности! Вдобавок, наблюдала шашни и шуры-муры в нашем узком пассажирском кругу. Возраст, простодушие и чистота меня, слава Богу, от них уберегли!

Я открыла другие страны, обычаи, традиции.

В Гавр я прибыла в слезах и мечтах.

А папа с мамой все еще пытались разлучить меня с Вадимом. Брак с ним, богемным и бездомным, родителям казался мезальянсом. И, хотя он был сыном русского консула по фамилии Племянников, никакого положения не имел и был не «нашим».

* * *

Вернувшись в Париж, я снова снялась для журнала «ELLE», увиделась с Вадимом, и жизнь снова вошла в свое русло. Мало-помалу обо мне заговорили в газетах.

Но как мне назваться?

Отец не желал, чтобы трепали имя Бардо. У мамы девичья фамилия красивая! Мюсель — почти как Мюссе. И я подписалась Брижит Мюсель, но снимки вышли с подписью — Брижит Бардо.

Странно! Но назад ходу нет!

Зато какое наслаждение ехать в автобусе и видеть, как вокруг читают обо мне. Я на обложке иллюстрированного журнала, я на страницах толстого еженедельника... Не могу опомниться!

Мир принадлежал мне, потому что я еще не принадлежала ему...

Я брала все и не давала взамен ничего. Райское блаженство! Быть ничем. Стать без славы прославленной.

И пошло-поехало: режиссеры, просто любопытные, все хотели со мной познакомиться. Предложили сниматься в кино... На телефонные звонки отвечал отец... Началась путаница. Нужен был импресарио. Но какой? События нас опередили.

Экзамен на бакалавра? Или диплом в балетной школе? Или кино?

Я уже не знала, куда податься.

Колетт подыскивала девушку на роль Жижи в театре.

Вадим был немного в курсе и встретился с ней в Пале-Рояле у нее дома, чтобы поговорить об инсценировке книги. Я пошла с ним и так, в 16 лет, познакомилась с этой выдающейся женщиной!

Она сидела, раскинувшись в шезлонге у окна, выходившего в дивный пале-рояльский сад. Тут же находился ее муж, Морис Гудке, Вадим, я и множество кошек. Она посмотрела на меня

долгим острым взглядом. Глаза ее были проницательны и умны. От этого взгляда я ужасно робела. Он словно пронизывал, раздевал, судил, оценивал, а я не понимала, зачем, ведь я пришла просто так, с Вадимом. Наконец она мне сказала:

«Здравствуй, Жижи».

Я опешила.

Она пояснила, что я в точности — ее героиня, и спросила, не актриса ли я и не хочу ли сыграть эту роль.

Я онемела. Вадим ответил за меня, объяснив, что я смущена, растеряна и вообще новичок. Никогда не забуду эту темную гостиную, заставленную мебелью и всякими безделушками, светлое пятно окна с силуэтом пышных волос Колетт. Жижи мне играть не пришлось, играла ее Даниэль Делорм, но мимолетная встреча с писательницей, назвавшей меня именем своей героини — вечно жива в моей памяти.

Все так же сопровождая Вадима, я познакомилась с Кокто в Милли-ла-Форе. Очень смутно помню прекрасный особняк, в котором, куда ни ступи — одни раритеты и ценности. Но самым ценным были внимание и галантность Кокто по отношению ко мне.

Он принял меня как важную даму. Любезен, вовлекает в беседу, угощает соком, водой и без конца говорит комплименты. С Вадимом он говорил о разных высоких материях, а я во все глаза смотрела на этот новый чудный мир, на книги, на картины, на их хозяина, и хрупкого, и великого.

Никогда не забуду его!

Вадим занимал на пару с Кристьяном Марканом комнаты для прислуги в роскошной квартире на Кэ д'Орлеан на острове Сен-Луи. Эвлин Видаль, хозяйка, оказавшись на мели, сдавала комнаты для слуг своим бывшим любовникам, а собственную спальню — будущим.

И вот однажды, придя к Вадиму, я обнаружила, что квартиру лихорадит. Вадим хлопотал на кухне, стараясь приготовить завтрак по-американски — яйца всмятку, апельсиновый сок и пр. Хозяйская спальня была сдана Марлону Брандо. Теперь, в два часа дня, он еще спал. Мне безумно захотелось увидеть его живьем, и я вызвалась отнести ему поднос с завтраком. Стучу и вхожу в логово спящего зверя.

Воняет окурками, затхлостью, мужским потом. Тьма, как в колодце. Зажигаю свет и говорю, что принесла завтрак. Из-под одеяла высовывается опухшее, небритое лицо. И голос сонно, лениво: «Go away, son of a bitch!»[1] Кое-как поставила на постель поднос, и он опрокинулся, как только тот повернулся, чтобы спать дальше. Но я, уходя, замешкалась, и он схватил яйца,

шмякнул их об стену и снова заснул в месиве апельсинового сока, молока, кофе, раздавленных желтков и собственной славы.

Больше я никогда его не видела, и в моей памяти он ничуть не похож на свой знаменитый образ. Как сказал не помню кто: «Нет кумиров для их лакеев».

Старый папин друг, Морис Вернан, стал в конце концов моим импресарио и предложил мне сниматься в фильме с Бурвилем «Нормандская дыра». Восторга у меня это не вызвало. Сладенькая история, действие происходит, как ясно из названия, в нормандской деревне, играть надо крестьяночку, довольно противную, Жавотту. Роль крошечная, разве что в титрах мелькнет имя. Не то что теперь — в титрах мы с Бурвилем на равных. Но предложили мне 200 000 старых франков (2 000 новых), и это решило дело.

Буду богатой-богатой!

К черту экзамены, дипломы! Я стану кинозвездой!

Вадим пожал плечами и сказал, что напрасно я согласилась на этот фильм. Сказал из зависти: свой собственный снять не мог. Слушать я его не стала, а отправилась покорять мир или хотя бы Нормандию... Он обещал часто приезжать ко мне и с грустью смотрел, как я радуюсь.

Близились съемки, и радость улетучивалась. Меня снова стали одолевать страхи. Я одна-одинешенька среди профессионалов, а сама ничего не умею.

Если существует на земле ад, мой первый фильм тому пример.

Подъем ни свет ни заря в 6 утра, уродский грим — рыжеватая пудра и пурпурная помада, — моя беспомощность, тычки, брань грубых ассистентов, негодяи-продюсеры, отвратительные гримеры. И сама я немногим лучше — даровитые актеры смотрят с иронией: забываю слова, двигаюсь неуклюже, смешно. Совсем сбита с толку, пропадаю и схожу с ума от стыда и отчаяния.

Не успевала я проснуться — меня сдавали гримерше, толстой, вульгарной, безобразной тетке, которая творила, что хотела, с моим лицом. Мучить меня доставляло ей особое наслаждение. Она покрывала меня жидкой, цвета темной охры пудрой, вонявшей тухлятиной, и казалось, что я в маске. А поверх охряной пудры сыпала рисовую, и лицо становилось как в гипсе. Подкрашу ресницы — глаза сразу маленькие, круглые черные бусинки, как у плюшевого медведя. А рот, Господи, рот! Этой толстухе, абсолютно безгубой, мой рот не давал покоя. Ликвидировать его! Не рот, а черт знает что! Она совала мне в лицо зеркало, я смотрела и плакала! Ну зачем вся эта штукатурка, ведь я похожа на мумию, мерзкая мумия!

Ох, гримерша, как же я тебя ненавидела!

На этом мои пытки не кончались. Являлась парикмахерша, мегера, волосы редкие, траченные молью. Она с завистью оглядывала мои длинные тяжелые локоны, затягивала их, замазывала, заклеивала. Голова получалась, как кокосовый орех. А скажи я ей или посоветуй — огрызалась, говорила, что, мол, сначала стань звездой — тогда капризничай, а пока сиди и помалкивай... Царство гримеров и парикмахеров — сущий ад для начинающих.

Но надо было терпеть еще три месяца. Три месяца унижаться, выслушивать насмешки и оскорбления, не отвечать, стараться изо всех сил, глотать слезы, сжимать кулаки — отрабатывать свои двести тысяч...

Беда не ходит одна. Месяц спустя я с ужасом увидела, что беременна...

В этой нормандской, действительно, дыре, несовершеннолетняя, связанная по рукам и ногам! Мое отчаяние не знало границ! От любого запаха тошнит, кружится голова, вот-вот упаду в обморок.

С Вадимом в эти месяцы я виделась редко. Он был на мели и искал в Париже работу. Но несколько раз приезжал. В этом я нуждалась очень и очень. Я устала, не знала, что делать, беспокоилась, мне было не до первой пылкой влюбленности. Ночи любви коротки, если вставать чуть свет, а вечером, валясь от усталости, учить роль на завтра.

Смиренно и стойко я вытерпела до конца, как терпят, глотая горькое лекарство. По окончании съемок я поклялась, что с кино завязываю, и вернулась в Париж, без сил, с досадой и с безостановочной рвотой.

Я совсем разболелась и не могла есть. Вадим по-прежнему сидел без денег, а у меня был только мой гонорар! Родители, вдобавок, не спускали с меня глаз, нечего и думать об аборте... Мама в сильнейшей тревоге вызвала ко мне очень хорошего врача. Он осмотрел меня и объявил: вирусная желтуха! И прописал тишину и покой!

С тех пор врачам я не слишком верю...

Я умоляла родителей отпустить меня в Межев немного отдохнуть. Согласились. Я уехала, встретилась с Вадимом, помчалась в Швейцарию, поспешно сделала аборт, вернулась в Межев сразу же и позвонила родителям сказать, что мне лучше...

А ведь могла и умереть, не получив должного ухода...

От этого печального опыта осталась во мне паническая боязнь забеременеть. О беременности я и думать не желала, считала ее Божьей карой.

* * *

Мне предложили новую роль в кино, я согласилась. И на два месяца уехала на юг на съемки своего второго фильма «Манина, девушка без покрывала».

Я готовилась к аду, получила чистилище! Съемки были в Ницце, Вадим находился рядом, светило солнце. Снова заработала 200 000 старых франков, вернулась в Париж, снялась как фотомодель и наконец отложила немного денег...

Тем временем Вадим ушел из кино в журналистику, стал писать в «Пари-Матче». Теперь он зарабатывал на жизнь регулярно и мог просить моей руки.

* * *

Даниэль Делорм и Даниэль Желен, Вадимовы близкие друзья, не раз обеспечивали нам алиби. У них же мы с Вадимом зачастую встречались. И, когда Желен закончил свой первый фильм «Длинные зубы», он просил нас быть свидетелями на их с Даниэль свадьбе.

А когда после отказов, отговорок, угроз и нашего трехлетнего ожидания родители наконец согласились на мой с Вадимом брак, Делорм с Желеном стали нашими свидетелями на бракосочетании в мэрии. Родители потребовали венчания в церкви. Священник, однако, отказался обвенчать меня с православным! Думали-думали, наконец придумали, что Вадим два раза в неделю будет ходить на курсы катехизиса, чтобы добрым католиком пойти под венец.

Вадим, который и так уж был сыт по горло, чуть было не бросил меня, узнав о родительском решении. Сильно, судя по всему, он любил меня, если вместо кино отправлялся со мной выслушивать почтенного аббата Бодри. Подумать только! Мы благоговейно сидели на церковных скамьях, а в глазах целого света стали воплощением порока, эротики и прочего в том же духе! Какая вопиющая несправедливость!..

Венчались мы в соборе Пасси 21 декабря 1952 года.

На мне было белое платье. Мой любимый дедушка Бум вел меня к алтарю. Прошло все красиво и трогательно. О свадьбе много говорили и писали. Я была любимым детищем газет, Вадим — кино! Мы сияли красотой и радовались жизни.

Сегодня я получила право спать с мужчиной, подписала документ при свидетелях и могла любить на законных основаниях. Правда, в ту ночь между нами не было близости —

на законность ушли у нас все силы. Счастливые, мы заснули обнявшись.

На этом детство закончилось, и я перевернула страницу.

V

И вот мне 18 лет, и я хозяйка себе, заоблачной карьеры и реальной квартиры на улице Шардон-Лагаш, которую родители купили и предоставили в наше распоряжение, очень надеясь, что вскоре мы подыщем себе другую, а эту из экономии можно будет сдать. Не в силах работать весь день по хозяйству, чтобы выгадать гроши, я взяла служанку.

Наняла я пожилую даму лет 70-ти, звали ее Аида, была она русской княгиней. Я ужасно робела, не знала, как приказывать почтенной особе, которая годилась мне в бабушки. Вадим, зная, как я люблю животных и как в детстве хотела иметь собаку, подарил мне Клоуна, прелестного двухмесячного черного коккера! Рассчитывал он, что дает мне товарища на случай своих ночных сидений в «Пари-Матче», порой до 6 утра. Аида уходила в 20.00, и я весь вечер и всю ночь тосковала и тревожилась. Клоун стал мне поддержкой и утешением в отсутствие Вадима.

Но Вадим, видя, что я нуждаюсь в нем уже не так остро, стал пропадать вечерами, засел, кажется, в покер... Редкую ночь теперь проводил он дома. Я спала с Клоуном, клубочком свернувшимся рядом, и часто утром вставала, когда Вадим только-только засыпал, поздно вернувшись.

И все-таки я по-прежнему слепо верила в Вадима.

Он многому научил меня, он рассказывал мне об Андре Жиде, с которым играл в шахматы, он говорил о книгах Симоны де Бовуар и Сартра. Я слушала, зачарованная его эрудицией, умом, юмором, воображением.

Как-то в одном из разговоров он сказал, что, когда ему было 13 лет, он нашел крысиное яйцо в городке Морзин, где провел детство. Я возразила, что крысы не несут яиц.

«Ты что, Софи (он часто звал меня Софи, вспоминая «Несчастья Софи»), шутишь? Ты правда не знаешь, что крысы несутся?»

А я, если честно, не была уверена на все сто... И Вадим рассказал мне как во время войны крестьяне-горцы жарили яичницу из крысиных яиц... Я свято всему поверила и на другой день слово в слово пересказала гостям. Я имела успех: моя наивность стала притчей во языцех. Смехом не убивают. Только потому я осталась тогда жива.

* * *

От своей наивности избавилась я не скоро. Теряла ее очень медленно. Сначала разуверилась в Вадимовых сказках. Потом стала узнавать о частностях супружеской жизни, о лекарстве от любви.

Для меня любовь всегда была чудом, чем-то прекрасным, из ряда вон. Она отрывает от быта и уносит в путешествие вдвоем, она не терпит пошлости. Так писал о ней Альбер Коэн в своих «Небесных далях». Увы! Длиннополые сорочки (их носили еще в 53-м), носки в гармошку (носят и сейчас), тапочки («Тапочки, где мои тапочки?»), разные звуки, спуск воды в унитазе, сморканье, отхаркиванье, наконец, ежедневные недоразумения — вот поистине лекарство от любви.

Я всегда об этом помнила и не выносила, чтобы человек опускался под предлогом, что он у себя дома.

Время было трудное.

Я искала свою дорогу в жизни. Критики отзывались о двух моих первых картинах так плохо, что двери в кино для меня с треском захлопнулись. Со мной все кончено!

Не люблю поражений, не выношу, когда меня гонят. Предпочитаю уйти сама! Я решила взять реванш, начать с нуля. Для начала — найти хорошего менеджера.

Мне рассказали про Ольгу Орстиг.

Я написала ей с робостью, прося заняться мной. Назначили встречу. Оказалось — деловая, впечатляющая, властная и с шармом чисто славянским. Она бегло оценила меня и решила, что «берет». Отныне ее квартира стала моим вторым домом, а она мне — второй матерью. Мы не расставались никогда. Я зову ее «мама Ольга». Как-никак, она занималась моими делами, а главное, по-матерински меня любила и прощала. В тот момент она как раз подыскивала молоденькую актрису для фильма с Жаном Ришаром «Портрет ее отца» режиссера Бертомьена.

* * *

Анатолий Литвак, американский режиссер русского происхождения, человек замечательный, одаренная натура и добрая душа, никогда не слушал чужих мнений. Через Ольгу он пригласил меня на роль французской субретки в своей новой картине «Акт любви».

Главные роли играли Дани Робен и Керк Дуглас. Надо было говорить по-английски. Я могла объясниться через пень колоду, и меня взяли!

Действие фильма происходило во время второй мировой

войны.

Дани Робен вызывала во мне восхищение: стройная, хорошенькая, раньше тоже танцевала. Приятно было думать, что мы похожи... Приятно, а потом очень неприятно, когда я узнала, что она — заядлая охотница.

Американец Керк Дуглас — кинозвезда, полубог, не подступишься. Но я подступалась, даже налетала на него в темных промерзлых коридорах. Он говорил мне «сорри!», и я краснела! Не красавец, ниже меня ростом, но море обаяния!

Ассистент натаскивал меня. По роли я говорила 2-3 фразы, но знать их надо было назубок. После долгого ожидания в своей комнате я оказалась наконец перед камерами. Литвак был великолепен: шапка седых волос, большие светлые глаза. Волнуюсь, трясусь — он смеется! Я должна была просунуть голову в окошко для подносов и сказать: «Кушать подано». Мой большой выход!

Играй я по-английски Федру, гордилась бы и тряслась от страха ничуть не меньше!

Мама, когда смотрела этот фильм в кино на Елисейских полях, была простужена и чихнула как раз в тот момент, когда на экране в окошке для подносов высунулась моя голова. Пришлось маме остаться на второй сеанс, чтобы все-таки посмотреть на меня 30 секунд!

В апреле 1953 года я сопровождала Вадима на Каннский фестиваль, куда он поехал взять интервью у Лесли Карон для «Пари-Матча». С Лесли я была знакома. Мы работали с ней у Князева, и когда она снялась в фильме «Американец в Париже», я гордилась, что знаю ее.

Чуднго! — думала я. Мы были с ней как сестры-двойняшки, как два пальца на руке. Столько общего, работа в том числе. Но она достигла высот, а я не могу одолеть первой ступеньки бесконечной лестницы. Ее ждут лучшие фотографы и журналисты, а меня снимают на гостиничном пляже приятели, туристы или местные газетчики.

Я оценивала свое положение и видела, как далеко мне до Лесли.

В Каннах встал на рейд американский авианосец. Капитан пригласил кинозвезд на вечеринку. И я опять сопровождала Вадима. Он делал на пару с Мишу Симоном, фотографом, репортаж об этом неожиданном приеме. Кинозвезд Лесли Карон, Лану Тернер, Эчику Шуро, Гари Купера, Керка Дугласа и многих других экипаж корабля встречал криками «ура!». Прячась за Вадима, я с любопытством и трепетом наблюдала за всем происходящим. Вдруг капитан подошел ко мне, поздоровался,

вывел меня на середину палубы и представил экипажу:

«Это Брижит!»

Что делать? Я подняла руки и крикнула: «Хелло, ребята!» Что тут началось! Моряки стали бросать в воздух береты. Потом подхватили меня и понесли, ликуя и скандируя: «Брид-жет! Брид-жет! Брид-жет!»

Они понятия не имели, кто я. Потому что я и была — никто. И я не могла уразуметь, в чем дело, но, видимо, между нами возникло притяжение, раз они чествовали единственную каннскую «незнаменитость».

Эта реакция, неожиданная, но приятная, возможно, объясняет другую, несколько лет спустя. Именно благодаря американцам я прославилась после выхода фильма «И Бог создал женщину».

* * *

Ольга посоветовала мне брать уроки драматического искусства у Рене Симона.

Прихожу. Человек 50, юношей и девушек, смеются, говорят, обсуждают, репетируют. Хочется раствориться, исчезнуть. Я вся сжалась и сидела забившись в угол, пока Симон на возвышении с безумным видом что-то вещал. Заявил, что секрет успеха — молодость. Что у молодости нет возраста. Что ты молод, пока видишь, как писаешь (так и сказал!). То есть не следует толстеть. Когда живот толстый, человек не видит, как писает! А мы, женщины, не люди: толстые или нет, все равно не увидим.

Это был мой первый и последний урок драматического искусства у Симона! Я покинула курсы, приобретя эти весьма ценные познания и в душе сочтя, что лучшее учение — сама работа, а мастерство — время и жизнь! Но в списке учеников Симона оказалась моя фамилия, и впоследствии он на этом сделал себе рекламу! «Бардо окончила курсы Симона»... Так написано в моих справках.

Андре Барсак предложил мне в театре «Ателье» роль, уже сыгранную Дани Робен в «Приглашении в замок» Жана Ануя. Выбирать не приходилось. Надо было жить. Платить должны 2 000 старых фр., то есть 20 новых за вечер — лучше, чем ничего!

В театре я никогда не играла. Новичок. Репетиции, неудачи, отчаяние. Полная беспомощность. Ануй приглядывался ко мне, считая, что из меня выйдет прекрасная Изабель.

В вечер премьеры пришли маститые критики, в их числе Жан-Жак Готье. «Старики» тряслись от страха, я — тем более.

Подняли занавес... Вперед — и в бой, и все забыто! Я думала

только об Изабель, становилась ею с помощью дивного ануевского текста! Перед спектаклем Ануй прислал мне цветы с запиской: «Не волнуйтесь, я приношу удачу».

Записку я сохранила и убедилась, что он был прав!

На другой день Готье расхвалил меня, и почти все остальные отзывы оказались хвалебными — о пьесе и обо мне.

* * *

Ольга предложила мне сняться в понедельник, мой выходной, в эпизоде фильма «Если бы мне рассказали о Версале».

Саша Гитри искал «недорогую» актрису на роль мадемуазель де Розиль, случайной любовницы Людовика XV. Людовика играл Жан Маре. 5 000 франков за день съемок в Версале. Я согласилась с радостью.

В тот самый понедельник я явилась к 9 утра во дворец, в гримуборные. К 12-ти надо быть готовой. Ужасно хотелось спать. Накануне я играла в театре «Ателье» в двух спектаклях, днем и вечером, и легла очень поздно.

Опять гримерный ад, где «чем больше, тем лучше». Сперва я походила на сырой эскалоп по-венски. Потом физиономию посґыпали рисовой пудрой — впору выступать в пантомиме на пару с Марсо. Наконец нахлобучили мне напудренный парик, и я стала похожа на тряпичную куклу без губ и без глаз. В довершение ко всему парик съехал, и казалось, что у меня кривая шея. Я рискнула сказать об этом. В ответ мне отрезали, что моя роль так мала, что не только шею — меня саму не заметят!.. Спасибо! Прекрасное напутствие.

К 12-ти я наконец была готова!

Меня нарядили в розовое, цвета нижнего белья платье «эпохи». При полном параде я и присесть не смела. Стояла и повторяла реплику, ожидая милости от тех, кто решал мою судьбу.

В 3 часа дня, не держась на ногах, я наконец села на ступеньки лестницы, задрав, увы, юбку выше головы!

В 5 часов подвело живот от голода. Я робко спросила, нельзя ли пойти съесть бутерброд. Отвечали: платят, чтобы ждала, значит, жди. К тому же через 15 минут тебя позовут!..

В 7 часов я все еще ждала. В животе урчало, глаза слипались. Я задремала в версальском кресле! Проснулась совершенно разбитая, в 10 вечера. Одна. Вокруг ни души. Кромешная тьма.

Вышла узнать, как идет дело, и была обругана гримершей! Что с лицом? Пудра слезла, тушь потекла! Парик съехал на лоб, и

теперь я была похожа на Поля Пребуа.

Я сказала ей, что жду с 9 утра, больше не в силах, хочу спать. Бесполезно. Она снова меня напудрила, оттянула со лба мой не то парик, не то берет и велела ждать стоя. И я, как лошадь, чуть было не заснула стоя, когда в полночь за мной пришли.

Вывели меня на свет в большую позолоченную гостиную, где разыгрывалась моя сцена с Жаном Маре. Подвели к Гитри. Он командовал, сидя в кресле на колесах. Сзади его катил ассистент. Гитри был бородат, в шляпе и с тростью. Он долго смотрел на меня и вдруг спросил с сомнением: «Сколько вам лет, крошка?»

Я ответила: «Девятнадцать, мэтр».

Он лукаво улыбнулся и сказал тихонько: «В ваши годы, крошка, можно и подождать!»

Мама, часто простужавшаяся, на премьере фильма в моей сцене с Маре опять чихнула. И, выходит, опять меня пропустила! Но обещала мне, что обязательно залечит свой хронический насморк перед моим следующим фильмом!

«Пари-Матч» послал Вадима к виконтессе де Люин сделать репортаж о псовой охоте, которую устраивала она в своем замке на Луаре.

Я не захотела оставаться одна дома даже в обществе Клоуна. До смерти боялась, что Вадим встретит там красотку и устроит мне на голове то же украшение, что и у оленя, предмета охоты. С одной стороны — ревную, с другой — не могу видеть, даже издали, как охотятся — проливают кровь. Приехав в замок, я тут же ощутила жуткую атмосферу, которая предшествует большой бойне. Я заперлась у себя в комнате, дождалась отъезда убийц и вышла на прогулку в лес. Издалека доносились звуки рога, лай собак и прочие шумы, нарушавшие тишину леса, где люди убивали.

Помню, мечтала, чтобы добрая фея остановила их!

И молила небо спасти оленя от кровожадной своры.

Я представляла себя на месте оленя, тосковала его тоской, мучилась его мукой, его — тихого и безобидного лесного жителя, повинного только в том, что имеет рога, которые люди жаждут повесить, как трофей, у себя над камином.

С того дня ненавижу охотников. Я осознала, как никчемна, жестока, бесчеловечна охота.

Было уже темно, когда я вернулась. В замке — смех, визжат дамы в поисках кавалеров, басят мужчины, гордые, что убили. Посреди пустого двора лежал олень в луже крови. В моей памяти эта кровь несмываема. В тот миг я поклялась, что буду делать все возможное, чтобы люди осознали свое заблуждение. И начала немедленно.

Сдерживая тошноту, я вошла в гостиную, где находился Вадим. Он недоумевал, куда я запропастилась. Я не поздоровалась ни с кем, даже с хозяйкой. Смотрю — гости пьют за успех охоты. Смеются, когда надо плакать! Сама не своя от тоски, раздражения и бессилия, я вышла из замка и отправилась пешком в Париж. Вадим догнал меня на машине и с чемоданами.

Таков был, есть и будет мой характер.

Несмотря на болезненную застенчивость, я всегда делала то, что считала правильным.

В то время я снималась у Марка Аллегре в фильме с заманчивым названием «Будущие звезды» и целые дни проводила бок о бок с Жаном Маре. Танцевать я умела, освоила азы драматического искусства, а вот в пении была полный ноль.

И вот учусь певчески округлять губы, правильно дышать и держаться, как примадонна. Пою — под фонограмму — известные арии из «Тоски» и «Мадам Баттерфляй»...

И опять я посмешище!

Допев арии, по роли играю любовь с Маре. Прилагаю для правдоподобия огромные усилия: ленивый и холодный партнер не слишком вдохновляет.

Решительно, он — моему сердцу не угроза и Вадиму не соперник.

* * *

Противозачаточных таблеток еще не придумали, прочие средства были не надежны. Всякая задержка вела к тревоге, тревога — к панике!

То и дело я считала дни, вперед, назад, по ночам не знала, как быть — не скажу с «супружеским долгом», ибо не было это ни долгом, ни супружеским. Ну какой из Вадима супруг! В общем, не любя арифметики, но любя любовь, я снова забеременела!

Вроде бы я замужняя дама, не страшно. Страшно! Еще как! Меня никогда не тянуло стать матерью... К тому же первая беременность оставила ужасное воспоминание. Хоть убей, не хотела ребенка! А потом, надо было работать, только-только стали появляться роли. Откажусь — ставьте на мне крест.

С согласия Вадима я решилась на аборт.

Но в те годы аборт был уголовно наказуем... И я замахала кулаками после драки: поклялась больше никогда и ни за что не заниматься любовью! Столько мук за миг удовольствия... Может, я какая-то не такая? Как же другие женщины — живут, любят и — не беременеют? А я не успею взглянуть на голого мужчину — и

уже в положении!

Мой врач пожалел меня и обещал сделать выскабливание, если я найду кого-нибудь, кто устроит кровотеченье. Я нашла — в сомнительном квартале, в каком-то грязном углу. Произошло все в ужасных антисанитарных условиях. Итак, срочно больница и операция! И тут я очутилась в глубоком обмороке. То ли анестезия слишком сильная, то ли аллергия на пентотал, то ли еще что... Сердце остановилось на операционном столе. Мне сделали сердечный массаж. Хвала Господу, сердце заработало!

Под общим наркозом я не осознавала ничего, рассказали мне обо всем позже и посоветовали никогда не пить пентотал в качестве снотворного. Вышла я из больницы еле живая и с трудом оправилась. Но долго еще была слаба.

Ужасно то, что актрисе нельзя заболеть. В этом я вскоре еще раз с горечью удостоверилась. Больна или нет — а фильм надо снять. Работай или сдохни — вот изнанка нашего ремесла.

VI

Франция меня не оценила, я решила завоевать Италию. В Риме предлагали работу.

Я собрала чемодан и из парижской гостиницы уехала в римскую. Одно было плохо — Клоуна из-за карантина пришлось оставить с Вадимом. В Риме все оказалось чудесным — сам город, и жизнь в нем, и жители!

У меня появилась подруга. Звали ее Урсула Андресс, и она, как и я, пыталась сниматься в кино. Жили мы (но не спали) вместе, из экономии. Подойдем режиссерам, нет ли — неизвестно. То говорят — ростом не вышла, то чересчур длинна, то юна, то то, то се. Вспомни они об этом впоследствии — локти кусали бы!

Наконец я нашла себе роль в американском фильме «Елена Троянская» с Россаной Подестой. Я должна была играть ее рабыню. По-английски я говорила слабо, а трусила сильно. На пробы пришло 80 человек. Слова я выучила назубок, правда, не понимала смысла, зато говорила так уверенно, что была принята. Забавы ради сунула палец в шестеренки американской киномашины.

А с ней шутки плохи!

И дисциплина, и английский давались мне с трудом. Ни то, ни другое я на дух не выносила. Ходила на съемки, точно несла солдатскую службу!

Вадим был мне как-никак супругом и курсировал между Парижем и Римом. В общем, я любила его, но страсть со временем прошла, и у меня появились любовники, юные римляне... Недолго я блюла обет целомудрия! Но мне всегда нужна была опора. Вадим — опора. Он необходим мне. Я ни за что на свете не брошу его!

Пребывание в Риме затянулось. Больше так не могу!

Американцы милы, но с какой стати вставать в 5 утра, если съемки в 9? Мое отношение к работе их смешило. Им нравилась малышка «френч-герл» — у себя дома они признали это! А я, раз уж торчала в Риме, после «Уорнер Бразерс» на мелкой местной киностудийке снялась с Пьером Крессуа в посредственной мелодраме «Ненависть, любовь и предательство». Но заработала я на ней совсем неплохо — будет на что вернуться во Францию.

Но прежде вернулась я в больницу.

Сказались последствия операции и усталость после двух фильмов — целые дни я проводила на ногах. Я слегла с сильным кровотечением.

Пришлось пойти на новую операцию в римской клинике с американскими нянечками. Недоснятая мелодрама превращалась в драму по моей вине. На третий день после операции режиссер умолял меня выйти на съемки. Только закончи, а там отдыхай, хоть всю жизнь. Я согласилась.

В результате — еще месяц съемок. Час снималась, потом, ослабев, ложилась... Режиссер уговаривал пересилить себя, встать. Я вставала. Потом, едва живая, измученная кровотечением, возвращалась в отель, надеясь, что завтра мне станет лучше! Но завтра было, как вчера.

В таком плачевном состоянии я отправилась доканчивать фильм в Доломитовые Альпы, итальянский Тироль. Ко всем моим несчастьям, говорили там только по-немецки. Был волчий холод, медсестры днем с огнем не найти, слава Богу, ассистентка режиссера, милейшая женщина, взяла меня под свое крыло и десять раз в день делала мне укол, чтобы помочь продержаться.

К счастью, всему приходит конец. Фильму он пришел раньше, чем мне.

Вернувшись во Францию, я сразу же заявилась на житье к Бабуле! У нее я слегка оклемалась. Она лелеяла меня, нянчила, выхаживала.

Бум чуть с ума не сошел от радости, что заполучил меня, Дада готовила специально для меня все самое полезное, самое питательное, Бабуля выказывала мне столько внимания и нежности, что казалось мне — я в раю!

Вадим подолгу сидел у меня, переживал за мое нездоровье. Мама меня ласкала и говорила, что лучше бы мне родить, чем так мучиться. Папа, не зная, в чем, собственно, беда, заявил, что кино мне вредно для здоровья, и посоветовал сменить профессию, чтобы не болеть.

В общем, я блаженствовала. Век бы так жить! Но пришла Ольга, справиться, как дела, и предложить роль.

Работа актера не из легких.

Ни в коем случае нельзя упускать шанс. А где именно — шанс, не угадаешь. Приходится соглашаться на все! Вечный поиск, вечный бой. И никаких поблажек. Передышка — остановка, остановка — отступленье.

У меня железная воля и каменная лень. Я как бы между двух огней. Но в конце концов воля все-таки берет верх.

Благодаря Ольге мне удалось сняться вместе с Мишель Морган и Жераром Филипом в фильме Рене Клера «Большие маневры».

Роль была невелика, но лучше маленькая роль в хорошем фильме, чем большая в плохом! «Маневры» стали для меня

школой! Рене Клер был на редкость добр и умен. Направлял он меня мягко, но решительно.

На Морган я смотрела во все глаза, но заговаривать с ней не смела, в ее присутствии ужасно смущалась... А Жерар Филип — живая легенда! Когда он обращался ко мне с вопросом, я краснела до корней волос. Я и вообще всегда краснела — от волнения, переживания, застенчивости! Даже со временем, отвечая журналистам и находя какие-нибудь особенно меткие и дерзкие слова, я принимала самоуверенный вид, а все равно становилась красной, как рак. И однажды зашла я вечером в аптеку возле дома и попросила таблетки, чтобы не краснеть. И покраснела до слез. Аптекарь, засмеявшись, сказал, что таких таблеток не существует, что, наоборот, краснеющая женщина — прелесть, но, по нашим временам, — редкость, и лучше мне остаться, как есть. Я послушалась его, скрепя сердце, и осталась как «есть»!

* * *

Вадим потрудился для меня на славу и написал сценарий забавного фильма, где мне предстояло сыграть главную роль. Фильм назывался «Отрывая лепестки маргаритки».

Я была довольна. Он дал мне прелестную героиню. Она в меру сексапильна, в меру простодушна и поднимает вокруг себя суету и неразбериху. Снимать фильм собирался Марк Аллегре, и это было прекрасно, потому что он стал большим нашим другом, к тому же дорожил своей репутацией «первооткрывателя кинозвезд». Действительно, именно он открыл Симону Симон и Даниэль Делорм, первым снял в кино Даниэль Дарье и многих других, правда, без таких вот двойных инициалов. А эти совпадения с инициалами его ужасно забавляли. Он прославил именно С.С., Д.Д. Почему бы теперь не Б.Б.?

«Будущие звезды» не имели большого успеха, и фильмом «Отрывая лепестки...» Аллегре хотел взять реванш. И, кстати, для этого старался вовсю.

Партнерами моими были Даниэль Желен и Дарри Коуль. Моя фамилия шла в титрах первой, отдельным кадром, а соперницей у меня была одна Надин Талье, знаменитая стриптизерша. Она, когда вышла замуж за барона Эдмона Ротшильда, стала еще знаменитей. И барон прекрасную плоть одел драгоценностями еще прекрасней. Правда, плоти было многовато, и «одежда» обошлась недешево.

Я отрывала лепестки маргаритки два с половиной месяца, так

что ради славы натрудила пальцы до мозолей.

Итальянцы не хотели отставать и предложили синьоре Бардо другой шедевр.

Английская поговорка гласит: «Можешь взять, бери!» Я «взяла» и снова уехала в Рим.

Клоуна со мной не было, Вадим приезжал редко, и я утешалась любовью по-итальянски с неким красавцем — исполнителем сентиментальных песенок. Каждый вечер я заходила в кабаре, где он выступал. Голос его был нежен, обволакивающ, в кафе мне было уютно, и я всю ночь танцевала, смеялась и забывала, что завтра в 6 утра у меня встреча. Встречалась я в столь ранний час с Нероном, то есть с Альберто Сорди в роли Нерона. Я играла Помпею, Глория Свенсон — Агриппину, Витторио Де Сика — уже не помню, кого...

Именно тогда я впервые в жизни почувствовала свою «звездную» власть.

Помпея должна была принять знаменитую молочную ванну, и я предвкушала пользу для кожи... Каково же было мое разочарование, когда я узнала, что гигантская ванна, почти бассейн, наполнена крахмалом! Я не желала входить в нее: не хватало накрахмалиться, как воротничок сорочки!..

Я в слезы. В общем, устроила сцену.

Поднялась суматоха... А не крахмал — что же тогда? Говорю: «Молоко». Все с ужасом ждут, что я потребую не простое молоко, а ослиное, но нет, я не капризная, ослиного не надо! И все-таки столько молока — бешеные деньги! Что делать? Разбавить водой. Половину на половину! Сказано — сделано. Получила я ванну из молока полуторапроцентной жирности!

Но Бог меня наказал.

Сцена снималась два дня. В первый я гордо и блаженно окунулась в свежее тепловатое молочко... Юпитеры, жара, грим, долгие часы съемки... Под конец я плескалась в мерзкой створоженной простокваше. Завтра в нее не окунешься. Вышла я из ванной в жалком виде и на другой день согласилась на крахмал. Так закончились мои римские каникулы и звездные капризы.

С опытом и без денег я вернулась во Францию.

И опять очутилась в своей квартирке-душегубке на улице Шардон-Лагаш в Париже, который показался тесным и тусклым мне, восходящей звезде. В Риме я привыкла к величине и величию, а тут царила ограниченность, мне невыносимая!

Чтобы не сидеть без дела в ожидании очередного дрянного фильма, я приняла приглашение пообедать перед телекамерами у Мориса Шевалье в Марн-ля-Кокет и попозировать художнику Ван

Донгену. Я была известна, они — прославлены! Ван Донген, перед которым я преклонялась, написал с меня превосходный портрет. Телевидение снимало Ван Донгена за работой, а заодно и меня...

Купить портрет я не могла — не было ни гроша. С досады я кусала локти. И тщетно улыбалась ему — он требовал не улыбки, а банкноты. Очень жаль. Теперь этот портрет в энциклопедии Ларусс назван вандонгеновским шедевром.

Позже я пыталась отыскать картину и узнала, что она продана в Америку. В 1970 году ее привезли во Францию и предложили мне. Стоила она тогда 270 000 франков, а мне показалась жалкой мазней...

Из экономии я не брала прислуги. Но гостей любила. Приходилось готовить самой, улучив минуту между фотосъемками для журнала, встречами с режиссерами и походом за продуктами.

Однажды я позвала друзей на обед. Впервые в жизни сделала жаркое. Пока оно готовилось, предложила гостям выпить...

О ужас!

Из кухни, из-под двери, вдруг пополз дым!.. Я к плите! Загорелась духовка, огонь перешел на стол! Я завопила и распахнула в кухне окно, выпустить чад! Прибежали гости в испуге и с кашлем. А духовка уже пылает! Вспоминаю: при пожаре нельзя допустить сквозняка. Выскакиваю из кухни, захлопываю дверь и держу изо всех сил. А гости-то в кухне, в огне! Стучат, кричат, но я вцепилась в дверь, одно помню: при пожаре не допускать сквозняка!

Короче, Вадим спокойно, только с диким хохотом, придя домой, вызволил их.

В тот день мы обедали в ресторане, и я согласилась, что каждому — свое. И дала слово больше не готовить. Но слово не сдержала.

* * *

Вадим по-прежнему занимался чем придется, и сочинял роман под названием «Элле».

Я стала сниматься в фильме «Свет в лицо». Продюсером был Жак Готье. Его помощница, спутница, стала навеки моей подругой. Мне исполнилось 20, она вдвое старше меня.

И была она, есть и будет — моей Кристиной!

В нашем легкомысленном круге люди глубокие редки. Кристина была как раз из этой редкой породы. Красивая, высокая, благородная. Взяла меня под свою опеку, стала заботиться. А в

покровительстве я всегда, сознательно, нет ли, нуждалась. Знаю точно: нежность подруги изменила мою жизнь.

Фильм снимался на Лазурном берегу. Народ подобрался хороший. Я не была большой знаменитостью, но и не совсем безвестна. О съемках вспоминаю с удовольствием. Роль была выигрышной, никто меня не уродовал, напротив. Выглядела я прекрасно. Удачно гримируют и красят, проявляют вниманье. Партнеры, Раймон Пеллегрен и Роже Пиго, очень милы. Снимались мы в городке Боллен на Роне.

В съемках плохо то, что три месяца живешь с людьми одной семьей, а конец работе — семья распалась, и редко потом встретишься с ними, да и они уже не те... В общем, конец съемок — отчасти смерть, перевернутая страница, шаг в неизвестность. А то же и с теми же не повторится.

Одна Кристина была и будет со мной.

Она смеялась, глядя, как живу я, точно школьница на каникулах. Шутила над моей тоской. Всякого уже навидалась и, ей-богу, в качестве моей подруги навидается позже! Дружба двух женщин — вещь потрясающая, если искренна и глубока. Именно такая дружба была у меня с Кристиной. Кристина видела во мне отчасти и саму себя, свой характер, а я мечтала стать, как она. Она была почти моим идеалом, хоть внешне мы разные. Понимали мы друг друга без слов — хватало жеста, взгляда, улыбки.

Когда Жак Готье внезапно умер вследствие неудачной операции аппендицита, Кристина осталась одна, без средств, в отчаянье. Но решила продолжить работу Жака. И стала продюсером благодаря собственной отваге, деловой жилке и моей подписи в ее контракте... Этот контракт, без даты, впоследствии оказался Кристине на руку, потом объясню почему.

В Париж я вернулась грустная. Какая тоска — сидеть одной дома на Шардон-Лагаш. Вадим с утра до вечера пропадал в «Пари-Матче» или писал сценарии на заказ. Клоун мне безумно радовался, но я видела, что и ему хочется на простор.

У меня не было ни друзей, ни подруг.

Шанталь, подруга детства, вышла замуж за крупного делягу, и наши пути разошлись. Поэтому виделась я с Кристиной, обедала-ужинала с Кристиной, жила с Кристиной, цеплялась за Кристину. Ольга, успев узнать меня, поняла, что эмоциональная сторона отношений мне важней деловой. И поэтому я виделась с Ольгой, ела с Ольгой, жила с Ольгой, цеплялась за Ольгу!

И Ольга, и Кристина заменяли мне мать в течение всей моей жизни в кино.

Они умели поддержать меня и в тяжкой роли звезды, и как

ребенка, которого опередила его собственная судьба...

* * *

Увидев меня в «Больших маневрах», Мишель Буарон, ассистент Рене Клера, решил испытать мою судьбу, а заодно и свою. В качестве режиссера он снял фильм «Эта проклятая девчонка». Фильм сослужил мне хорошую службу!

Мишель — сама веселость, остроумие, изящество. Таким же сделал он фильм. И, использовав мои танцы, такой же сделал и меня — веселой, раскованной, в точности как я настоящая. Впервые в кино я была сама собой.

Отныне я считалась звездой и получила наконец личную гримершу.

Ее звали Одетта Берруайе. Молода, хороша собой, весела, надушена. Ей все было внове, в кино она пришла совсем недавно. Кем же с тех пор стала для меня Одетта? Своим человеком, ежеминутно, ежечасно, ежедневно. Супруги не бывают столь спаяны, как были спаяны мы. И самый длительный мой роман — миг в сравнении с нашей дружбой, вечной и неизменной!

Одетта стала Дедеттой, потом «Деде». Мы взаимно были друг другу опорой во времени и пространстве, в горе и радости, в болезни, отчаянье. Мы не расставались никогда и двадцать лет жили, как сиамские близнецы. Она была счастлива моим счастьем, гордилась моими успехами и переживала, как свои, мои пораженья.

Тем временем Вадим писал сценарий под названьем «И Бог создал женщину» и водил дружбу с продюсером Раулем Леви.

Никто не хотел дать нам денег: ведь ясно же — дело гиблое.

Леви, однако, форсил вовсю! Обеды и ужины у «Максима», в Тур д'Аржан и т. п. Мне этот цирк в новинку! Пойти было не в чем: только брюки да майка. В платье я выглядела ужасно. Со своим пучком я становилась похожа на школьную училку. А на каблуках ковыляла, как после перелома обеих ног.

Господи! Я-то ругала себя за уродство, возмущалась дурацкими понятиями о приличии. А Вадим преспокойно уходил обедать с Леви и Иксом, Игреком или Зетом, которые могли дать деньги на фильм. И я, десять раз переменив наряд, три раза — прическу, наругавшись и наоравшись, выпивала, чтобы успокоиться, бутылку красного и укладывалась в постель, пьяная от вина, злости и зависти к мужикам, избавленным от проблем с тряпьем!

Вадим привык. В ответ только смеялся. Говорил, что

проблему я выдумала, потому что считал меня красавицей. Уговаривал: наплюй, тебе и так все к лицу... Я не очень-то верила. Он был настолько от этого далек, что иногда надевал разные носки и искал битый час костюм, который уже надел!..

Я взвыла: «Кристина, спаси!»

Кристина отвела меня в «Мари Мартин», где я купила-таки пару платьев! Но нечего было надеть на ноги... Купила туфли, чулки. Потом кашемировые кофты. Кристина объяснила, что с чем надевать.

Теперь не было шубы! А восходящей звезде без шубы нельзя. Причем или норковая, или никакая. Тогда — никакая: я уже в те годы не выносила звериного меха. Тут возникла мама, повела меня к подруге, у которой была — и норковая, и дешевая! Шуба оказалась на десять размеров больше меня, я в ней утонула. Но мама сказала: «Лучше утонуть в шубе, чем в слезах с тоски по ней!» И осталась я, дура дурой, в шубе и без денег.

Хорошо мне было только с распущенными волосами, босыми ногами и одетой так, как будто я только из постели... Я решила: одно из двух — или однажды мир примет меня такой, или я не приму мир никаким.

Воспитание, приличия — придуманы. Ну так я придумаю наоборот. Я отвергла «как принято» и стала жить «как не принято». Именно так я явилась в один прекрасный день к «Максиму», с волосами по плечам, в платье в облипку и открытых плоских туфельках, которые легко скинуть под столом, а вместо украшений — огромное пятно — от поцелуя любовника.

* * *

Все это было мило, но не серьезно. Однако финансирование фильма — вещь очень и очень серьезная.

Был апрель 1956 года, время Каннского кинофестиваля. Ехать в Канны надо было обязательно! Ехать не хотелось, но приходилось дергать за все веревочки, чтобы наскрести деньги на фильм, хотя бы черно-белый.

Для меня фестиваль был мукой!

Но: назвался груздем, полезай в кузов!

Как многие застенчивые люди, я пряталась под броней наглости и агрессивности. И нахальством скрывала, что легко ранима. Я обесцветила волосы. Золотистый цвет оказался мне к лицу. Я стала похожей на львицу! Превратившись в блондинку, начала меняться сама.

В Каннах я оказалась «дежурным блюдом». Восходящая

звезда, босоногая, в бикини и с декольте! Обо мне заговорили. И слава Богу! Потому что нужны были деньги на фильм.

Для какого-то репортажа меня привели к Пикассо.

Вот это человек! Вот это личность! И я рядом с ним никакая уже не звезда, а девчонка, восхищенная полубогом. И опять смущаюсь, краснею. Он показал мне картины, керамику. Провел по мастерской. Он был прост, умен, чуть безразличен и обаятелен.

Первая и последняя наша встреча.

Потом мне часто хотелось заказать ему свой портрет, но я так никогда и не решилась...

Это была эпоха ча-ча-ча. Оркестр играл блестяще, я танцевала одна или с кем попало, босоногая, налегке, раздражая женщин и возбуждая мужчин!

Леви, Вадим и приятели посматривали на меня странно. К чертям балетную школу и суровую дисциплину! Я вертелась, покачивалась, распахивалась от жара, изображала страсть под бешеный ритм тамтамов. Я словно переродилась! Шампанское приятно освежало. И вдруг — а, плевать! — от жары я выплеснула шампанское себе на грудь, плечи, ноги! Прохладно, приятно! И сумасшедше! Я сошла с ума!

В тот вечер Вадим решил вставить в свой фильм сцену с тем моим бесстыдным бешеным танцем. Эти кадры облетели весь мир...

Леви и Вадиму так и не удалось достать денег на цветной фильм, и они впервые решили пойти ва-банк: за ночь написали дополнительную роль для Курта Юргенса, уже тогда безумно знаменитого. Фильмы делались его именем, и он был занят на три года вперед. Утром они улетели в Мюнхен со сценарием под мышкой, на Юргенса поставив все. В Мюнхене — сразу к нему.

У обоих были дар убеждения, размах и счастье игрока! Устоять, в общем, невозможно. Юргенс согласился сняться у них в паузе между двух своих давно назначенных фильмов... Дал он им 10 дней. Вернее, не дал, а продал: продал свое имя за бешеные деньги, и был прав! По контракту знаменитое, на вес золота имя шло первым в кадре, над самим заглавием. А мое — под, внизу...

Так женщина, которую «создал Бог», становилась просто приживалкой!

Впоследствии Юргенс проявил благородство, ибо предложил, посмотрев фильм, поменяться со мной местами и поместить первой меня, над заглавием, а его под! Как бы там ни было, Юргенс решил дело. Благодаря ему перед нами открылись все двери! Таким образом, я — его должница. Без него мой путь мог оказаться иным!

А фильм этот, решивший мою судьбу, должен был сниматься в Сен-Тропезе. Так что спустя несколько дней я покинула каннские празднества, похожие на поминки, и уехала в Сен-Тропез, свой будущий приют.

VII

Лучших съемок у меня не было. Я не играла — жила!

Вадим, изучив меня, никогда не переснимал одну и ту же сцену более двух раз — знал, что с каждым дублем уходит моя естественность. Сцены с Юргенсом еще не были досняты, а ему предстояло через день отбыть на другие съемки. Вадим переделал сценарий и в середине фильма «отправил» его в морское плаванье, так что Курт смог улететь в Мюнхен.

Играя в любовных сценах, я была сама собой, поэтому, само собой, влюбилась в партнера по фильму Жан-Луи Трентиньяна. С Вадимом мы жили как брат и сестра. Я оставалась к нему бесконечно привязана, он был мне опорой, другом, семьей. Но не возлюбленным. Я давно остыла к нему. А к Жану-Луи я испытывала безумную страсть. Скромный, глубокий, внимательный, серьезный, спокойный, сильный, застенчивый — не похожий на меня, лучше меня!

Я бросилась очертя голову в его глаза, в его жизнь, а с ним — в голубое Средиземное море. Это море стало единственным свидетелем наших встреч!

Жан-Луи хотел только меня одну, как есть, простую, простоволосую, первозданную. Он показывал мне ночное небо и звезды, и мы засыпали на теплом пляжном песке. Он открывал мне классическую музыку. Он учил меня любить неистово, по-настоящему и быть в подчинении у любимого...

И я жила все это время по-цыгански.

Мои чемоданы лежали в багажнике машины Жана-Луи, спали мы, где придется, ничто не имело значения, все казалось ерундой, когда мы были вместе.

По утрам мы, счастливые, являлись на съемки.

Под глазами у нас были круги. Мы ни на миг не расставались.

Вадим мучился, снимая с нами любовные сцены. А мы мучились, играя их перед ним и остальной группой. Не то было наедине, вдали от всех! Эти «все» судачили, сплетничали, судили-рядили и обсмеивали ту небольшую драму, которая разыгрывалась у них на глазах. Но мы в любви оставались чисты и были выше людских пересудов. Нас ничто не задевало, не ранило, не пятнало. Не раздражали даже газеты, объявлявшие меня «пожирательницей мужчин», «ветреной и бесстыдной»!

Я просто-напросто — влюбилась!

Жан-Луи был женат на Стефан Одран, я замужем за Вадимом.

И мы бросили все друг для друга!

С Жаном-Луи я прожила самые лучшие, полные, счастливые дни той моей жизни. Дни беспечности, свободы и еще — о блаженство! — инкогнито и безвестности!

Вернувшись в Париж самым длинным путем на его старой «симке», мы не знали, куда податься! Остановились в «Куин Элизабет». Какое-то время мы жили там, но жизнь в гостинице, причем роскошной, не была нам по душе. Оставался, конечно, дом на Шардон-Лагаш, но ехать туда мне было неловко: там как-никак прошли четыре года совместной жизни с Вадимом.

С утра до вечера я читала объявления в «Фигаро», пока Жан-Луи ходил на озвучку предыдущего фильма. Потом я бегала по объявлениям, осматривала то, что объявлялось как «две комнаты и кухня». Вторая комната оказывалась кладовкой без окна, а кухня — закутом с плитой в ванной комнате — без ванной. В гостиницу я возвращалась, упав духом, и еще сильней радовалась гостиничному комфорту!

Я не виделась больше ни с Дани, ни с Кристиной, ни с Одеттой, ни с Ольгой.

Я не видела никого, кроме Жана-Луи и квартирных агентов.

В моем уютном номере дни тянулись долго, часто я сворачивалась клубочком и лежала в ожидании его вечерних приходов!

Однажды я зашла на Шардон-Лагаш посмотреть, что и как. Все разобрала, поменяла, переделала, обновила. Кое-что памятное, еще дорогое сердцу, глотая слезы, выбросила! После моего рейда квартира изменилась: спальня в гостиной, гостиная в спальне. Все наоборот, ничто не смущает. Без сил, но счастливая, я вернулась к Жану-Луи, чтобы переночевать в гостинице в последний раз. На другой день мы переехали в обустроенное мной гнездышко, небольшое, зато новое и милое.

Но нет рая без змея-искусителя.

Наш свернулся в кинопленку и назвался «Кино».

Пока мы жили друг для друга вне времени и пространства, забыв обо всем на свете — радио, телевидении, друзьях, газетах, это «все на свете» то и дело о нас вспоминало!

Фильм смонтировали, нас ждали на озвучивание. Мнения о картине разошлись. Одни критики пели дифирамбы, другие ругали на чем свет стоит. «Пари-Матч» просил мою фотографию на обложку. Требовалось выйти из подполья и снова стать той, которая сыграла свою Джульетту в «И Бог создал женщину».

Кристина, не видевшая меня давным-давно, заключила за меня контракт. Раньше я просто подписала для нее пустой лист бумаги. Теперь она нашла прекрасный сценарий «Новобрачная была слишком красива» Одетты Жуайе. Я согласилась — куда

деваться? А самой хотелось завязать с кино и до скончания века жить в нашем с Жаном-Луи особом мирке.

Ольга обрадовалась. Обо мне говорили еще до выхода фильма! Предложений было хоть отбавляй, и она дивилась моему безразличию к собственной новой, настоящей славе!

Именно в это время я подружилась с людьми, которые и сегодня близки мне. Тогда я еще не была так прославлена, так что полюбили они меня бескорыстно.

Однажды Мижану попросила меня принять молодого художника, приехавшего из Касси. Он оказался без денег и искал богатых покупателей. Но богатых среди моих знакомых не было, а ходить я никуда не ходила и вряд ли ему пригодилась бы.

Все-таки я приняла его, чтобы не обидеть.

Так пришел ко мне Жислен Дюссар, со временем — «друг Жики» и заодно названый брат.

Премьера «И Бог создал...» состоялась в Марселе.

Я покинула Жана-Луи, предварительно купила, по совету Кристины, «платье-секси» и вытащила из чехла свою норковую шубу «на вырост».

Мне всегда была в высшей степени небезразлична обстановка, где я ночую. Ради одной только ночи я могла переставить всю мебель в гостиничном номере. Не могу ни жить, ни спать в комнате, где мне неприятно. Бывало, обойду в гостинице все свободные номера, пока не найду угол по душе... Взять животных — кошка урчит, выбирая подушку, собака все обнюхает, отыскивая место, где заснуть. О них говорят — инстинкт. А обо мне — каприз!

Не прославься я, меня бы сочли просто чудачкой: мол, хлебом не корми, дай со скуки мебель подвигать. Но уж коли я — звезда, разумеется, — «капризна»! Марсельский отель напоминал строящуюся станцию метро. Всюду железяки, а оконные стекла до того замызганы, что едва пропускают свет. Пыль, грязь, мрак...

А спальня моя была усыпальницей. Большая, зловещая, темная гробница. Войти и выйти!

Я села в прихожей на чемодан и наотрез отказалась там жить! О моем «капризе» тут же донес журналистам директор отеля. От злости, что я уйду к конкурентам, он сделал мне рекламу на уровне собственного заведения. Раньше меня уже объявили «пожирательницей мужчин, ветреной и бесстыдной». Теперь, значит, еще и «капризной»! Как легко создаются репутации... Всю жизнь злословие напяливало на меня ложную личину. И сегодня я пишу книгу, чтобы представить все в истинном свете.

Во Франции фильм Вадима был встречен довольно сдержанно. Журнал «Кайе дю синема» отзывался тепло. Но

упрекал за легковесность сюжета и неудачный актерский состав (кроме Юргенса).

Леви и Вадим рвали на себе волосы.

В надежде на лучшее пришлось обратиться к другим странам. Нет пророка в своем отечестве!

Тем временем в Либурне у меня начались съемки «Новобрачной...» с Луи Журданом и Мишелин Пресль, а Жан-Луи был призван в армию, так как его семилетняя отсрочка от воинской службы подошла к концу.

Это стало нашим самым тяжким испытанием.

Я постоянно заливалась слезами: предстоит три года разлуки. А потом, эта война в Алжире! Все может быть! Вечером каждую субботу я уезжала на поезде в Париж и с Жаном-Луи проводила воскресенье (по воскресеньям его отпускали с курсов в Винсенне). Вечером — опять на поезд обратно в Либурн, и в понедельник утром прибываю прямо на съемки.

В самый разгар съемок взорвалась бомба...

В августе 1956 года Насер национализировал Суэцкий канал.

Ситуация стала кризисной!

Бензин исчез!

Как в войну, нам выдавали талоны!

Я строила глазки нашему хозяину гаража по фамилии Кошону[2], очень похожему на свою фамилию, и благодаря ему могла передвигаться!

Без сил, в депрессии, я бросилась к тем единственным людям, которые могли поддержать. К родителям.

Хотя им был не по душе мой недавний развод с Вадимом и открытая связь с Жаном-Луи, они приняли меня с распростертыми объятиями!..

Папа познакомил меня со своим другом. Я думала, старичок, оказалось — парень 19-ти лет, гитарист, богема, остряк, талантище. Это был Жан-Макс Ривьер, написавший мне впоследствии множество песен: «Мадраг», «Смешно», «Новая квартира» и др.

И вот после Жики — Жан-Макс, «Максу», еще один названый брат. Семья росла...

* * *

Счастливая весть прилетела из США. На картину «И Бог создал...» американцы валили валом. Успех феноменальный! Рецензии одна лучше другой. Я стала вмиг самой знаменитой француженкой за океаном!

Фильм принес десятки миллионов долларов (не мне, я получила всего 2 млн старых франков). Вадим был признан лучшим режиссером за последние десять лет, а я «новой звездой первой величины», «французской секс-бомбой» и т. п.

Вся эта шумиха подействовала на меня двояко: я и обрадовалась, и испугалась. Вроде и наслаждается душа, но и в пятки уходит, предчувствуя опасный водоворот! Я всегда относилась к себе трезво, смотрела на себя со стороны и успехом не опьянялась! Удивлялась, не верила, восторгалась, гордилась, но никогда не обманывалась, понимала, как это все хрупко, ненадежно, преходяще, а главное — ничтожно!

Я стала знаменитостью, а сама только и думала о Жане-Луи. Ему предстояло ехать в Германию, в Трир. Подумать только! Зная, что вот-вот он уедет из Винсенна, и стараясь навидаться с ним про запас, как можно больше, я, не в силах жить без него, в тоске, в отчаянье, была несчастной влюбленной дурочкой и в то же время — самой популярной актрисой, самой модной красоткой!

Телефон звонил не смолкая, письма шли потоком, я сходила с ума!

Пришлось взять секретаря. Жан-Луи помог мне выбрать. Так появился Ален Каре. Гомосексуалист (Жан-Луи мог быть спокоен), 30 лет, очень милый человек, очень преданный, бывший актер, он сжился со мной и на несколько лет стал моей опорой и помощником, родной душой. Так что Жан-Луи поручил меня Алену перед отъездом в трирские казармы!

Пожалуй, день его отъезда, начало разлуки, я буду вспоминать до гроба, проживи я хоть сотню лет! К чертям идиотскую популярность, кино, американцев, деньги, славу! К чертям жизнь!..

А она, жизнь, продолжалась.

Леви, разжившись на удачном дебюте картины «И Бог создал...», затевал для всех нас втихую с Вадимом и Ольгой новое дело. Задумали они фильм «Ювелиры при лунном свете».

А Кристина по утрам присылала за мной машину, чтобы везти меня на озвучивание «Новобрачной». Лучше бы она присылала тягач: нелегко было вытащить меня из дома!

Озвучивала я без души.

Ален возился со мной — был нянькой, секретарем, шофером, кухаркой. Приходила я вечером с озвучки — дома тепло, чисто, уютно, на столе вкусный ужин, который мы съедали часто вместе. Потом он шел к себе. Я оставалась одна с кошками — теми, которые скребут на сердце.

Какой контрастной была тогда моя жизнь!

Я, днем новоиспеченная звезда, вечером — одинокая

домоседка в тоске и тревоге!

В довершение ко всему в октябре — ноябре 1956 года произошли «венгерские события». Советские танки вошли в Будапешт и уничтожили несколько тысяч венгров.

Словно наступил конец света!

Всюду атмосфера тревоги и страха.

Того и гляди грянет третья мировая... Все могло быть. Это советское массовое убийство венгров потрясло меня до глубины души.

Ненавижу войны, революции, бессмысленное кровопролитие, огнестрельное оружие и воинскую службу, которая учит убивать.

Вместе с Аленом решили: ехать в Трир.

Поездка напоминала атмосферу романов Сименона!

Черно-серые пейзажи, суровые ледяные дома, свинцовое небо, изморось.

И мы с Аленом как два призрака.

Прибыв в Трир, мы устремились в ближайшую гостиницу. Алену удалось добиться для Жана-Луи, ввиду особых обстоятельств, увольнения до завтрашнего утра. Наш гостиничный номер стал почти прекрасен, жар, огонь разлился по моему телу. Мы очутились на пустынном островке кровати, и время пролетело незаметно.

Приехав обратно в Париж, я, чтобы развеяться, решила переехать. Мечталось мне о двухэтажной квартире с террасой. Пока ходила по объявлениям, Ольга с Раулем подготовили мне целый список предложений. Я прочла сценарии — они мне понравились, особенно симеоновский «В случае несчастья». Режиссером Раулю виделся Клод Отан-Лара. Другой фильм — «Ювелиры при лунном свете» — в постановке Вадима.

Ставки мои вместе со славой росли, и Ольга радостно потирала руки. 10% ей обеспечены. Чем больше снимусь я, тем больше получит она! Поэтому вдобавок она предложила мне «Парижанку» Мишеля Буарона (продюсер Франсис Кон). Кристина не захотела отстать и взялась за картину «Женщина и паяц» режиссера Жюльена Дювивье.

В общем, в ближайшие два года на хлеб насущный заработаю! А пока небольшая передышка, потому что первые съемки — фильма «Парижанка» — начинались весной 1957 года.

Как странно было узнать, что я нарасхват! Но выбирать теперь не придется два года. Себе не принадлежу, продана нескольким компаниям и сама ничего не решаю. Ну и ладно! У меня появились деньги. Можно позволить себе двухэтажную квартиру за 10 млн старых франков.

Наконец я устроилась на авеню Поль-Думер, 71, в доме с

лифтом. Я прыгала от радости. То, что надо, с террaской! Кажется, мне тут будет хорошо.

* * *

Стали приходить письма от поклонников.

Алена завалило почтой, и я подумывала устроить ему рабочий кабинет с большим письменным столом в будущей квартире. А пока письменным столом служила ему моя кровать или ковер в гостиной. Я помогала Алену открывать конверты, сортировать, отвечать. В основном просили фото с автографом. Я взяла один свой снимок, напечатала сотню копий и, подписав, рассылала в ответ на просьбы.

К Рождеству Жан-Луи приехал в отпуск.

Бросив квартиру, и кино, и режиссеров, и съемки, и пятое, и десятое, мы помчались на юг в Касси, к Жики, давшему нам приют.

До этого я встречалась с Жики всего несколько раз, но между нами возникла теснейшая дружба. Художник, вечно без денег, он жил с женой Жаниной в крошечной мастерской в Сен-Жермен-ан-Ле.

А в Касси у Жики был домик — жилище, которое он обожал.

Старое кирпичное строеньице в ландах среди холмов было всей его жизнью. Никаких удобств, ни горячей воды, ни ванной, ни отопления. Только солнце, благоухание розмарина, балки, штукатурка и прованский сыр! Стоило мне попросить у Жики ключ от его лачужки на рождественскую ночь с Жаном-Луи, Жики немедленно дал мне его, предупредив только о неудобствах...

Спасибо тебе, Жики!

Удивительное было Рождество!

В нашей сельской хижине имелся камин, где сжигали мы хворост, собранный на холмах. Как сладко пахло сосновыми шишками! Над огнем постоянно грелся таз с водой — то посуду помыть, то самим помыться!

Мылись по очереди, стоя в дымящейся лохани посреди комнаты, в тепле, у огня. Жан-Луи поджаривал куски мяса с тмином, лавровым листом, чесноком и розмарином. Электричество — голая лампочка под потолком — нам не потребовалось. Свечи и каминное пламя сияли огнями вечного праздника!

Десять дней жизни сказочной, простой и первобытной, точно нет XX века с его скучно-практическими достижениями. Десять дней романтики в безымянной эпохе любви!

В последний день 1956 года мы сидели одни у камина и пили теплое шампанское (холодильника не было). В полночь мы вышли на воздух. Мир, казалось, только-только сотворен, деревья благоухали, а звезды заменяли нам елочную гирлянду!

Никогда впоследствии не было у меня отдыха спокойней и блаженней этих мимолетных дней. Разного рода обязательства, слава, комфорт и роскошь, для счастья якобы нужные, окончательно отдалили от меня первозданно-ветхий покой кукольного домика, где я по-настоящему жила десять лучших дней своей жизни!

Но порой запах сосновых шишек, розмарина или старой штукатурки повеет счастьем и перенесет меня в кассийские ланды!

* * *

Чудесным образом Жана-Луи перевели в Париж, на бумажную должность в министерстве... Помогли, может, актерская профессия, может, образованность и ум... Как бы там ни было, наступил праздник!

Мы отпраздновали новоселье на Поль-Думере.

И наконец ночевали на новом месте в доме, где будем жить вдвоем.

Фильм «Новобрачная была слишком красива» готовился к выходу.

Кристина и Ольга волновались.

Просили меня быть на премьере, дать интервью, позировать хорошим фотографам, таким, как Ришар Аведон, сделавшим мою знаменитую фотографию и включившим ее в свою собственную замечательную книгу.

Колготне этой не было конца... Новобрачная была слишком красивая, но не слишком привлекательная. Фильм получился, но публика жаждала ту же секс-бомбу, что и в первой картине «И Бог создал женщину».

Совершенства на свете нет.

Хотите секс-бомбу? Будет вам секс-бомба.

Во всяком случае, я уже стала «несбыточной мечтой женатых», «кошечкой», «испорченной девчонкой» и т. п.

Едва я выходила на улицу, фотографы начинали безостановочно щелкать.

Господи, сколько можно!..

VIII

В то время родителей я видела редко. Они уверяли, что не хотят вмешиваться в мою жизнь из деликатности. А мама не желала казаться мамашей-тиранкой. Но со временем деликатность стала походить на черствость. Отношения дали трещину. Трещина разрасталась.

Иногда я приходила к ним, но это было вроде обязаловки. Пила чай и говорила о том, как живу. Мама удивлялась, почему, когда приглашают, больше не хожу на званые вечера; почему плохо, даже безвкусно одета; почему отказываюсь от своего счастья; почему гублю лучшие годы на своего «кондитера» — так звали они Жана-Луи! Ей так хотелось, чтобы я вышла за богатого и видного чиновного босса!

Ну, а папа просил познакомить его то с той, то с этой «любимой» актрисой. Но с киношниками я не встречалась и почти ни с кем сама не была знакома — этого папа понять не мог! По его мнению, все актеры друг друга знают!

Иногда мне случалось забежать к Буму, Бабуле и Дада. Они звали меня «светом в окошке» — так мои появления освещали их жизнь.

Что до сестры, Мижану с блеском сдала экзамены, получила два диплома бакалавра и стала гордостью папы и мамы.

Говорить нам с ней было не о чем.

Мы получились разные, пошли своей дорогой, и дороги с годами разошлись.

В общем, меня считали как бы «семейным уродом».

Потому, видимо, я так никогда больше и не увиделась с дядьями, тетками, двоюродными братьями и сестрами, которых помнила по детским годам. Разве что с одним-единственным. Это был дядя Бак, чудак, живописец, считавший, что карьера моя ничем не плоха, даже наоборот. Возможно, от этого «уродства» я всю жизнь чувствовала себя очень одинокой и с потерей любовника теряла почву под ногами, и тогда в отчаянии цеплялась за Жики и других верных друзей.

Свою новую семью собрала я сама. В нее входили Жан-Луи, Ален, Ольга, Дани, Кристина и Одетта. Меж нами вечно тишь и благодать, у каждого дома на столе всегда лишний прибор для кого-то из нас. У нас были одни и те же режим дня, темы для разговоров и цели.

Шумиха вокруг меня казалась мне фикцией. С какой стати — я? Я с детства знала, что некрасива, бесцветна, и считала, что, если напущу на лоб челку и завешу щеки волосами, свою

некрасивость немного скрою. Этот комплекс остался во мне навсегда, не дав стать самоуверенной, наоборот, приучив к смирению, в этом, может быть, и есть секрет моего успеха.

А стыдилась своего лица я до крайности.

Меня всегда потрясало, что какой-то мужчина считает меня красивой. За это я была ему безумно благодарна и боялась, что, увидев меня без косметики, он ужаснется. Поэтому я долгие годы спала, не стирая туши с ресниц. В результате наутро лицо у меня оказывалось в черных разводах. Это был еще один способ спрятаться...

К жизни кинозвезды я оказалась не готова.

Нервы у меня были постоянно на взводе! На Поль-Думере караулили фотографы, жить там стало невозможно! Прости-прощай, покой и тишь! На нервной почве у меня на губе выскочил герпес — вирусная лихорадка.

Хороша я была с блямбой! Рот и так пухлый, а теперь — словно у негра!

А через неделю съемки «Парижанки». Катастрофа.

Франсис Кон, продюсер, рвал и метал.

Газеты пестрели заголовками: «Прыщи Б.Б. разорят продюсеров!» «Прыщи Б.Б. — конец ее карьеры?» «Запоздалые юношеские угри: начала за здравие, кончит за упокой?»...

От ежедневных внутривенных уколов витамина С я падала в обморок! И как же мне было стыдно! Я завидовала мужчинам и их усам. Как ни трясла я волосами, проклятую блямбу скрыть не могла! Заперлась дома, не подходила к телефону, не читала газет и никого к себе не пускала.

Через десять дней блямба прошла, начались съемки.

Анри Видаль и Шарль Буайе, мои партнеры, были блистательны, обаятельны и забавны. Буарон вел нас талантом, душой и юмором. На съемочной площадке царила непринужденная атмосфера — верный признак удачи. Натуру собирались снимать на Лазурном берегу. О радость!

По моей просьбе друга Жики взяли в массовку. Он сидел без гроша, а мне хотелось хоть как-то отблагодарить его за рождественское счастье в Касси!

На юг, таким образом, мы прибыли вчетвером: я с Жаном-Луи и Жики с женой Жанин. Приехали, как в отпуск.

Пока мы заканчивали съемки на студии «Викторин» в Ницце, начался Каннский фестиваль.

Тысячу раз на дню Франсис Кон, продюсер, умолял меня съездить туда.

Тысячу раз на дню, измученная, я отвечала — нет. Нет и нет! Нечего там мне делать! Противно!

Если кому важно меня увидеть — приедут в Ниццу и увидят! Сказала я это так, чтобы Франсис отвязался.

А они и правда приехали!

Да, в автобусе, набив его битком — англичане, немцы, американцы, испанцы, итальянцы и французы! Я сама себя наказала! А они в баре внизу, заказав себе мятный коктейль со льдом, терпеливо дожидались, пока я улучу минуту или снизойду подарить им полчасика! Даже съемки для того были остановлены!

Я в себя не могла прийти! Сначала, однако, прийти надо было к журналистам.

А я не хочу!

В конце концов решила обратить все в шутку. Спряталась в контейнер с соками. Рабочие ввезли контейнер в бар — и здрасьте! Я с хохотом из контейнера, в джинсах и майке!

Всеобщее изумление. Потом дружеский смех. Симпатия. Они ждали чванливую примадонну в шелках и со свитой. А я — вот она я, как есть и как буду всегда. Все смеялись, чокались, шутили со мной. Говорили по-английски, французски, итальянски. Отношения — на равных. Они мне нравились, я им тоже наверняка.

Гора Каннского фестиваля пошла к Магомету, ко мне — это до сих пор единственный подобный случай! Причем случилось это в 1957 году, когда вольной манеры держаться не было.

Я никогда не любила ходить строем. Вообще не люблю проторенных дорожек. На моду мне наплевать. Потому-то и звали меня злодейкой, провокаторшей, дурной женщиной, а я просто была сама собой.

Фильм, тонкая и умная комедия с шутками и нежными чувствами, имел большой успех. Мы с Анри Видалем прекрасно сработались вдвоем. Зритель полюбил нас, и продюсер затеял серию подобных комедий — с нами в качестве французских Фреда Астера и Джинджер Роджерс. «Парижанка» — одна из немногих картин, которыми я горжусь. Ее успех окрылил меня, вдохновив на труд в поте лица.

* * *

«Ювелиры при лунном свете», мой новый фильм, должен был сниматься в Испании. Снова отъезд и расставанье с Жаном-Луи, которому запрещалось пересекать границу, и с Аленом, и с Клоуном...

Как грустно...

Я не знала Испании, а должна была прожить в ней 3-4 месяца,

в зависимости от съемок.

Бесчеловечно...

Жан-Луи страдал, Ален страдал, Клоун — и тот страдал.

Одетта тоже плакала: она расставалась с мужем Пьером и двумя детьми — Жан-Пьером и Мишелем.

Ехали долго, утомительно, грустно, скучно.

В Мадриде очутилась я в отеле типа «Хилтон», совершенно безликом. В номере у меня стоял огромный букет цветов от Леви и сидел на стуле тревожный Вадим собственной персоной.

Он знал меня и понял, что мне плохо.

Вадим — отличный друг. Ему ничего не надо объяснять. Он все поймет сам. Он, благородная душа, разорвется на части, чтобы разогнать твою грусть. Я зарыдала, сказала ему, как страдаю от разлуки с Жаном-Луи, не хочу жить здесь, презираю кино, в общем, вывалила содержимое души, а не чемоданов!

Бедняга Вадим, друг и брат!

Ему пришла гениальная мысль!

Он сказал мне, что съемки затягиваются. И, значит, я могу потребовать себе либо дополнительный гонорар, либо бесплатный билет на самолет туда и обратно в каждые выходные, чтобы видеться с Жаном-Луи в Париже...

Это было единственной радостью, и я воспряла духом.

Забыла я гостиничную тоску, четыре предстоящих месяца работы, забыла все. Помнила только о воскресном самолете! Вечером в ресторане я ужинала с Одеттой и с Жаниной, которую устроила своей «осветительной» дублершей.

Едва я им рассказала о своей затее на выходные, Одетта заявила, что летит со мной, а Жанина молча улыбнулась, давая понять, что надолго меня не хватит!

В субботу вечером после съемок я должна была лететь. Мне было страшно, тошно, не по себе, хоть вешайся! Я взяла билет для Одетты тоже: вдвоем помирать веселей. В ту пору самолеты были еще винтовые четырехмоторные, летели долго! Я перекрестилась, пристегнула ремни, взяла Одетту за руку и стала ждать...

Когда заработал первый пропеллер, я подскочила и уткнулась Одетте в плечо. Когда самолет оторвался от земли и стал неудержимо подниматься, я принялась вспоминать всю свою жизнь... А когда самолет убрал шасси, я решила, что случилась авария. Кровь застыла у меня в жилах. Далее был переход на другой режим работы, а я уже не сомневалась, что заглох мотор. В общем, увидев, как я напугана, Одетта действительно потеряла сознанье и упала на меня. Страх мой как рукой сняло. Теперь я смачивала ей лоб одеколоном, чтобы привести в чувство.

Измученная, но счастливая, я приземлилась в Орли. Так я

получила боевое крещение.

24 своих отпускных часа я провела в постели с Жаном-Луи. Сил не было, ни физических, ни моральных. И так страдала я, что дома всего на миг, что не могла этим домашним мигом насладиться. Время пролетело так быстро, что в воскресенье вечером в самолете на Мадрид я уже думала, что все это мне приснилось!

А в понедельник в 7 утра съемки!

Я купила гитару и, стараясь не ошибиться, постоянно играла три усвоенных аккорда. Гитару я всегда обожала. По-моему, прекрасней инструмента нет. Хорошо играть я так никогда и не научилась, но оказалась способна повторить услышанные там-сям аккорды фламенко, самбы и латиноамериканского фольклора. Получается вообще-то средне, но подыграть себе, когда пою, могу.

Однажды Жики прибежал ко мне запыхавшись, красный, вне себя. В руках у него была насмерть перепуганная собака. Жики сказал, что мальчишки на улице хотели ее повесить, она вырывалась из веревок, а тут как раз Жики подоспел и развязал ее.

Я в ужасе оцепенела.

Как можно пытаться убить безобидного пса? Сердце заболело. В горле комок. Я взяла на руки белое с черными пятнышками существо, заглянула в ореховые, глубокие, ласковые, умоляющие, боязливые глаза. Я сказала собачке, что люблю ее, беру к себе и буду оберегать. Это была девочка, дворняжка.

По-моему, прехорошенькая. И я назвала ее Гуапа, что по-испански означает «красотка».

Так началась история любви, которая продолжалась долгих пятнадцать лет.

IX

Ничего нового не открою, если скажу, что обожаю животных, особенно собак. Со временем эта любовь усилилась, потому что я убедилась, что собака не предаст, и будет любить, что бы ни случилось, и не бросит вас в самые трудные дни. О собаке у вас только добрая память. На ее нежность, преданность, присутствие можно рассчитывать всегда. Собака не ругается, радуется, когда вы приходите, не держит на вас зла.

Итак, Гуапа пришла в отель на житье ко мне. Портье, увидев нас, скроил кислую физиономию, администратор воспротивился. Ладно бы еще породистая собака, ухоженная! Но эта шавка!

Я ему сказала: или мы с Гуапой, или никого.

Он выбрал нас с Гуапой.

Я никогда не водила ее на поводке. Надела ей ошейник со своей фамилией и стала о ней заботиться. Она и без объяснений поняла, что делать свои дела у меня в комнате нельзя, и, когда хотела выйти, скулила у двери. Она ходила за мной, как тень, и неизвестно, кто кого любил больше. Моя жизнь изменилась. Я больше не была одна. Я спала, прижимая ее к себе, и все мы с ней делили на двоих — еду, прогулки, чужие взгляды.

Как я любила ее!

На воскресенье я по-прежнему летала в Париж, но с меньшим энтузиазмом. Гуапу я оставляла на Одетту или Жики с Жаниной, но расставалась с ней скрепя сердце. В воскресенье вечером с радостью забирала ее.

Наша съемочная группа должна была ехать на натуру в Торремолинос, на самый юг Испании. Оттуда на воскресенье во Францию не скатаешь. Аэропорта нет, а поездом до Мадрида в те годы — двадцать часов.

В Мадриде я уже отбыла два с половиной месяца.

И вот в съемочной машине мы — мой шофер Бенито Сьерра, Жанина, Одетта, дублерша Дани, Гуапа и я — отправились в эту неведомую даль, в этот самый Торремолинос. Жики от нас откололся, уехав в Париж, чтобы попытаться продать картины. Мне жаль было, что он не с нами. Я любила его общество. Энергия и жизнелюбие Жики поддерживали меня.

А потом я побаивалась ехать в эту испанскую глухомань. Разлука с Жаном-Луи затянется. С телефоном проблемы. И в Мадрид-то оттуда не дозвониться, часами можно ждать разговора, а тут в Париж...

4 октября 1957 года, в день запуска первого русского искусственного спутника, мы и уехали в Торремолинос!

По радио только и передавали «бип-бипы» спутника, а мы ехали по раскаленным пустынным испанским сьеррам и вглядывались в небо в надежде увидеть что-то жуткое, как в фантастических фильмах.

Наше ночное прибытие на место было из ряда вон.

Мы оказались в испанском селеньице, похожем на кукольную деревню. Сплошь беленые домики, и всюду цветы: плющ, герань, гортензии. Машин нет, одни ослики с корзинами на боках. Днем было слишком жарко, и жизнь начиналась вечером.

Поэтому на деревенской площади оказалось довольно оживленно: в кафе «Посада» посетители за деревянными столиками; два гитариста — прямо на полу; влюбленные, созерцающие море; продавцы арахиса, ребятишки-попрошайки, бездомные собаки. Мы походили туда-сюда и вскоре нашли нашу гостиницу «Монтемар»: ряд простых бунгало прямо на пляже. Перед каждым — садик с цветами. Посреди пляжа — столики. За столиками несколько человек сейчас, в два часа ночи, еще ужинали. Мечта! Райское место! Уголок любви!

Жизнь в Торремолиносе начиналась изумительно!

На другое утро часть съемочной группы завтракала в ресторане, то есть на пляже: расселись за колченогими столиками под громадным соломенным навесом на деревянных опорах. Красота. Солнце уже высоко. Стало припекать. Сказка.

В ресторане мы встретили Вадима, Стефена Бойда и его дублера, испанца, красивого малого. Звали его Манси Сидор, и Вадим над ним подшучивал: «Сидор — сидрыхнет». Дело в том, что бедняга Манси ни слова не понимал по-французски и всегда сидел, не участвуя в разговоре, с видом отсутствующим, как бы сонным. Нам подали рыбу в горклом масле, непромытый салат в горклом масле и козий сыр, пахший туалетным мылом, тоже горклым. Короче, я снова заказала сок и сухарик. Сидор и Жанина пожирали глазами друг друга. Тем лучше для них! В этих краях, чтобы выжить, разумней всего питаться водой и... любовью.

Через три дня съемки начались. Наши дублеры весь день «сидрыхли», вместо Жанины была Дани, а Серж Маркан, Вадимов ассистент, работал за Сидора. Теперь Серж должен был дублировать Бойда, а заодно и меня в особо опасных сценах.

Так что однажды я увидела себя в обличье здоровенного детины с обезьяньим лицом, с пришпиленным светлым пучком и кудельками на висках (чтобы скрыть уши!), в красной юбочке и белой, очень открытой блузке с видневшейся волосатой грудью. Он дублировал меня за рулем американской машины без верха. Езда была безумно рискованной. Выглядел «под меня» он чудовищно. Просто монстр. Но издали могло сойти...

Свой день рожденья я отложила. Отмечала в октябре, числа десятого. Пригласила всю местную цыганву, певцов и гитаристов. Наша съемочная группа пришла в полном составе. На столе была сангрия, колбаса, хлеб и огромный пирог с 23 свечками! А еще я понатыкала свечей по всему пляжу: впечатление, что звезды, упав с неба, мерцают в песке!

Бойд приударял за мной, но так, не всерьез! Было жарко, все танцевали, и я радовалась.

Леви на день рожденья преподнес мне осленка! Я назвала его Чорро, потому что съемки велись в ущелье Чорро. Ослик был чуть больше собаки, и Гуапа смотрела на него недобро! Гулял он по пляжу, ел герань возле домика, а спал в моей комнате вместе с Гуапой. На съемки я возила его с собой на машине. Он бродил и щипал траву вдоль горного потока. Вечером я увозила зверинец назад в Лас-Альгас. Я стала похожа на цыганку, загорелая, босая, с волосами до пояса и в рваном черном облегающем платьишке, с собакой и осликом за мной по пятам!

Такая жизнь была по мне!

Притом, к счастью, группе наняли стряпуху-француженку, стряпать в нашей столовой без стен.

У Гуапы появился возлюбленный, весь в кудряшках, как куколка. Я назвала его Рикики и приняла в зверинец.

Однажды вечером, вернувшись без сил, я увидела, что небо почернело и вот-вот начнется гроза. Упали первые, тяжелые, огромные капли. Дышать нечем. Сверкают молнии, грохочет гром.

Всюду сквозняки, ни дверь, ни окна не закрыть, в доме вода и ветер. Стало холодно. Мы завернулись в одеяла, теплых вещей у нас с собой не было. После целого дня съемок хотелось есть и пить. Море бушевало, огромные волны ударяли в стену бунгало, нас окатывало брызгами. Я уж решила, что нам конец — смоет волной...

Мне несколько раз в жизни было по-настоящему страшно: на лодке в сильнейшую бурю на Багамах; на вертолете в пургу, в Канаде; в частном самолете над Шамбери, в 20—30-метровых воздушных ямах. Но в этот первый раз страх был самый жестокий.

И полное бессилие перед разбушевавшейся стихией, слабость, зависимость, ожидание, неизвестность!

В конце концов главный продюсер Роже Дебельмас, человек замечательный, добрался до нас босой, увязая по колени в грязной жиже, мокрый насквозь. Он принес несколько банок консервов, минералку и плохие новости. Нас залило и отрезало от мира. Ураган сорвал и разнес все — дорогу, рельсы, телефон, электричество. Саманные деревенские домики были разрушены,

имелись десятки убитых, стада овец унесло потоком грязи, летевшим с гор и сметавшим все на своем пути. Несколько машин исчезло: их смело разгулявшейся жидкой почвой. Не ровен час, начнется эпидемия: вокруг сплошь разлагающиеся овечьи туши!

Съестных припасов не осталось совсем, питьевой воды было мало.

Роже сообщил нам все это и отправился обратно босой по воде разносить остальным остатки продуктов. Я просила его передать Дани, чтобы она добралась до нас, если сама на месте. А Манси с Жаниной, съежившись в кровати, теперь уже не «сидрыхли»! Мне казалось, что мы единственные чудом уцелевшие на разрушенной планете. Пол в бунгало представлял собой огромную грязную лужу, и мы хлюпали в ней.

Я продрогла до мозга костей.

Одетта кашляла, ее лихорадило и трясло.

Ни воды согреть, ни согреться, никакого источника тепла, одна сплошная пронизывающая, леденящая сырость.

Я стала умолять Вадима отправить меня в Париж: не хочу оставаться, фильм не фильм, того и гляди, заболею, больше не могу, сил моих нет, хочу уехать, уехать любой ценой! Он улыбнулся и ответил, что уехать нельзя никакой ценой, все разрушено, помощи нам оказать не могут, но, как только сообщенье наладится, он меня, клянется, отправит домой! Тем более, с фильмом теперь все пропало: нынешний пейзаж ничуть не похож на вчерашний. Доснять картину придется где-то в другом месте!

Лучик надежды забрезжил: уеду, да, но... когда?

Наш дом становился ноевым ковчегом.

Мужчины, женщины, звери — мы все делили меж всеми. Собаки согревали нас, прижавшись к нам, зарывшись в одеяла.

Мы чесались без конца.

Зверинец увеличивался: у нас завелись блохи!

На другой день дождь прекратился, мы могли подсчитать убытки.

Гигантская клоака, конец света, смерть во всех ее видах. На небольшом кладбище, где снимали мы позавчера, — развороченные могилы, груды скелетов, костей, обломки гробов, остатки спутанных одежд.

Жуткое зрелище.

Я заболела.

Необходимо было принимать лекарства и пить много воды. Ни того, ни другого!

Врач вкатил мне успокоительный укол.

Назавтра я проснулась в бреду и блохах.

И тут же сказала бедной Одетте, что уезжаю. Иду складывать вещи. Пусть найдет мне машину. Или хоть что, но — уехать. Затем в бывший чемодан собрала бывшие вещи — теперь кучу грязи. Оделась, как могла, и стала ждать.

Пришел Вадим. Он сказал, что ехать — неразумно. На дорогах неразбериха. Машина у меня в ужасном состоянии и т. д. Я поручила ему отдать Чорро какому-нибудь порядочному крестьянину с остатком моих испанских денег и советами, как осчастливить дорогого ослика. А уехать я уеду... Вадим обещал отдать Чорро в надежные руки и сделал еще одну попытку отговорить меня ехать.

Тут подоспел Дебельмас с теми же речами.

Я вверила ему Гуапу. Попросила, чтобы он сам привез ее на машине в Париж, потому что боялась брать ее в самолет. Еще сказала, что, если Рикики будет очень скулить, пусть привезет и Рикики...

Жанина и Сидор пришли проститься. Вид у них был счастливый и отрешенный. Жанина просила меня сказать Жики, что она беременна и остается в Мадриде с Манси! Ну и ну...

С тех пор я больше никогда не видела ее!..

Я взяла под мышку сверток, оставив чемодан на видном месте с запиской: «Ушла пешком в Париж». Совершенно больная, шла я еле-еле, ноги увязали в жиже, жижа чавкала.

И удивлялась, в какой рай прибыла и какой ад покидаю!

Подумать только, через 15 лет я вернулась сюда и Торремолиноса не нашла! На пляже — башни из стекла и бетона, всякие «Холидей-Инны» и «Софители», один выше другого. Мой отельчик «Монтемар» снесли. На его месте — 16-этажная махина... Все американизировано, безлико, гнусно. Выстроили также роскошный аэропорт. С приходом цивилизации ушла прелесть. Былой катастрофы, конечно, не повторится, но часто с водой выплескивают и ребенка.

Съемочная машина с Бенито Сьеррой за рулем, Одеттой и чемоданами нагнала меня через несколько километров.

До Мадрида добирались 18 часов, несколько раз дорогу нам преграждали груды обломков и ямы с водой размером с озеро. Ночью Бенито ехал то держа голову в окне машины, то хлеща себя по щекам, чтобы не заснуть.

Мадрид показался мне землей обетованной.

Отдохнув, помывшись, продизенфицировавшись, прихорошившись и обретя наконец прежний облик, мы с Одеттой сели в самолет на Париж — на этот раз с билетом только в один конец.

Оказаться дома не означало — наслаждаться.

У себя на Поль-Думере я лежала пластом на кровати, силясь вернуться в форму, снова обрести Жана-Луи и саму себя.

Разлука убивает любовь. С глаз долой, из сердца вон. В разлуке у каждого свои мелкие дела, другому уже неважные. А потом заочная ревность...

Жан-Луи был уверен, что все это время я ему изменяла... Больше месяца от меня не было писем... Может, снова сошлась с Вадимом, пожалев о прошлом? Ну как ему доказать, что он не прав? Единственный мой аргумент — чистые сердце и совесть. Мало против репутации «пожирательницы мужчин».

Клоун обнюхивал меня неодобрительно: пахла я странно, дрянной испанской дворняжкой... Он ревниво ворчал, но втайне ждал ласки, и я ласкала его очень нежно, объясняя, что скоро к нему приедет сестренка и надо ему отнестись к ней со всей душой.

Ален сунул мне длинный перечень чеков на подпись. Я опоздала с оплатой счетов и особенно налогов. А потом и служанка собиралась уволиться.

И холодильник сломался...

Короче, весь набор неприятностей за полгода — мне в пять минут. В довершение ко всему пришел Жики, посмотрел на меня подозрительно и спросил, почему Жанина не со мной. Пришлось сообщить ему горькую весть как можно деликатней. Я думала, он меня убьет!

Но я-то здесь при чем?..

А притом! Я, оказывается, дурной пример для порядочной женщины и втягиваю подруг в разгульную жизнь, и т. д. и т. п. От горя Жики сам не знал, что говорил. Он хлопнул дверью и тут же ринулся в Мадрид за женой, сами понимаете, напрасно!

Единственной радостью в парижской жизни стало возвращение Гуапы. Дебельмас вручил мне мое сокровище целым и невредимым и объявил, что съемки закончатся в Ницце на студии «Викторин», что там готов уже кусок испанского селенья, кладбища и песчаного пляжа.

Мой коллибациллез был залечен, но, видимо, не вылечен: от него у меня остаточные явления и по сей день.

Два дня спустя, сев в поезд на Ниццу, я покинула Париж без сожаленья. Со мной ехали Гуапа и Одетта. Ноябрьский город был дождлив, а Поль-Думер впервые показался мне враждебным.

X

Вернувшись в Париж, я бросилась к Клоду Отан-Лара.

«В случае несчастья» начиналось через несколько дней.

Примерка костюмов, подбор прически и грима... Леви, к счастью, остался продюсером. Он мог отложить начало съемок, чтобы дать мне вздохнуть неделю!

Танин Отре, костюмерша, выискивала мне платья и туфли несколько легкомысленные. Но Отан-Лара, если что-то вбил себе в голову, спорить с ним бесполезно. Легкомысленные костюмы, значит легкомысленные. К тому же я сильно струхнула: партнеры — Эдвиж Фейер и Жан Габен.

Впервые в жизни у меня серьезная роль в хорошем фильме с великими партнерами.

С приближением первого съемочного дня росла моя тревога.

Тогда-то и позвонил Жильбер Беко.

Он предложил мне сняться с ним в небольшом телешоу новогодней вечерней передачи — 31 декабря 1957 года.

А у меня ни минуты свободной!

Но против Беко не устоишь, Жильбер умеет уговорить. Он смеется, шутит и благодарит прежде, чем вы сказали «да».

И я очутилась на студии «Бют-Шомон» с Беко, его оркестром и своим страхом!

В студии царило веселье, Жильбер был обольстителен и шутки ради приударял за мной. К тому же мне нравились его песни. Я должна была прогуляться среди корзин с фруктами по «прованскому рынку», изобразить знаменитую таинственную красотку из его песни «Так расскажи, как это было», а потом, лежа простодушно и кокетливо на рояле, смотреть, как Жильбер играет и поет для меня прекрасную песню. После чего мы с ним желали телезрителям счастливого Нового, 1958 года.

Прожекторы погасли, а мы все смотрели друг на друга. Во власти его чар я забыла весь мир. Я влюбилась, внезапно и до безумия.

Только этого мне не хватало!

На авеню Поль-Думер я вернулась сама не своя.

Стала привирать, терялась, не знала, что придумать, чтобы и волки были сыты, и овцы целы. Я никогда не могла порвать легко. По мне, лучше синица в руках... Чем больше я чувствую себя виноватой по отношению к мужчине, тем нежней и внимательней с ним. Чтобы успокоить Жана-Луи, купила ему его заветную мечту — спортивную «остин» с откидным верхом, увы, яблочно-зеленую, цвета надежды!

Днем свободного времени у меня не было совсем: примерки, пробы, репетиции. Я рискнула встретиться с Беко у себя на Поль-Думере, зная, что Жан-Луи просидит до ночи на службе в министерстве.

Наше любовное, но пока еще невинное свидание было прервано неожиданным возвращением Жана-Луи! Как гром среди ясного неба!

Все произошло очень быстро.

Мужчины ушли почти одновременно, оставив меня одну, и это было лучше всего. Я принялась было взвешивать все «за» и «против», но хотелось спать, я устала и сама толком не понимала, что случилось. Съемки начинались послезавтра, я должна быть в форме, а теперешний скандал совершенно выведет меня из строя.

Вернулся Жан-Луи, спокойный и решительный, и стал собирать вещи. Что ж, он прав. Он чист, целен и не желает ни с кем делиться. Считая соперника лучше себя, он уходил, возвращая мне свободу и машину. Я все понимала, но в ужасе смотрела, как он молча складывает чемодан!

Что сказать? Что сделать? Солгать? Снова?

Ну нет! Я просто попросила оставить себе машину. Настаивала, и он согласился. Господи, несколько минут — и насмарку два года жизни.

Наконец я вышла из оцепенения, стала говорить и, говоря, убедила себя, что невинна, и потом убедила его, что совершенно чистосердечна. Чушь несусветная, конечно. Но от усталости я сама не знала, что делаю.

Итак, жить я продолжала с Жаном-Луи, а работать — с Фейер и Габеном. Но в душе я не могла найти себе места. На съемках, в первой сцене, в адвокатской конторе Габена, я оказалась неспособной проговорить роль, то и дело путалась в тексте. И сходила с ума еще больше.

Отан-Лара начал нервничать, теребил свою кепку. Съемочная группа смотрела неодобрительно. Одетта принялась пудрить мне нос и шепотом уговаривала успокоиться. Напряжение достигло предела.

И тут Габен оказался на высоте. Чувствуя, что я — в страхе, смущении, беспамятстве — на грани нервного срыва, он нарочно ошибся в следующем дубле. И проворчал, что, дескать, со всяким может случиться! Этим он разрядил атмосферу, и я наконец произнесла все правильно. Спасибо, Габен! Под грубоватой оболочкой у вас была нежнейшая душа, и благодаря вам мне в «Случае несчастья» удалась роль!

А в остальном то, что должно было случиться, случилось!

Жильбер покорил меня, атакуя цветами, телефонными

звонками, записками. Думала я только о нем и, если могла играть на студии «Сен-Морис», не могла разыгрывать комедию дома!

Однажды вечером, когда я еле приплелась после съемок на Поль-Думер, у нас с Жаном-Луи произошел окончательный разрыв. И он ушел, потому что я не останавливала его, потому что вообще не знала, что делать.

Легко писать десятки лет спустя!

Трудно жить, пережить, принять.

Я любила Жана-Луи до безумия, любила, может быть, так, как никого никогда, но сама о том не ведала, просто была молода и хотела жить, и не терпела принуждения, и не шла на уступки. Уступить — умереть, а я хотела жить!

Рождественскую ночь я провела в слезах, в обществе Клоуна и Гуапы, недоумевавших, почему я так печальна, ведь ночь как ночь...

Я думала о Жане-Луи. Где он?

Вспоминала о кассийском Рождестве, проведенном вместе.

Потом подумала о Жильбере. Он сейчас с женой и детьми в местечке Шене, недалеко от Версаля. У меня даже нет его телефона. Помню, бродила всю ночь по квартире в своей новой ночной рубашке и дивной шали, говоря себе с опозданием, что женатый — не для меня! А на моей постели очень мило заснули Гуапа с Клоуном, моя единственная опора!

На другой день позвонил Беко.

Он придет вечером, с подарком! Каждый его приход был праздником, а праздник — вещь редкая, его отмечают! Вечером 25 декабря Поль-Думер был похож на маленький дворец, освещенный свечами. Я была красива, Гуапа с Клоуном прелестны. Из клеток я выпустила голубей, они порхали по квартире, пахло дорогими духами, на столе, на кружевной скатерти — куча вкусных вещей, которые я припасла на случай, если...

Жильбер пришел, таинственный и страстный. Свою жизнь он оставил за порогом. А здесь, у меня, помнил только обо мне, о нас! Как странно — любить кого-то, кто знаменит на весь мир! Смотришь на него, рядом, совсем рядом, — и не узнаешь, а ведь это он!

В тот вечер он надел мне на шею платиновую цепочку с брильянтовым кулоном от Картье. А я, не ожидая подарка, сама ничего не приготовила, поэтому вручила ему в ответ ключ от своей квартиры, блеснувший в его руке, как талисман. Вечер пролетел быстро, в два часа ночи прозвонил будильник, и Жильбер ушел, как явился — таинственный и страстный, — к семье, жене, к себе домой.

У него-то были корни, те самые корни, которые помогают нам жить!

А у меня их не было.

И я решила найти их, то есть завести свой дом, дом на море. У мамы был свой домик в Сен-Тропезе. Она и Ален помогли мне, списавшись со всеми тамошними агентствами по продаже недвижимости.

В конце этого года на торжественном вечере мне вручили мой первый актерский приз «Триумф французского кино» по результатам опроса, проведенного профессиональной газетой «Фильм Франсе» среди директоров кинозалов.

Досадно, что журналисты что-то пронюхали и писали с намеками. Мы стали четой года, и, опуская наше семейное положение, нас и обручали, и женили во всеуслышание.

Что за пытка!

А ведь сочельник мы встретили вместе только на экране, а в жизни — порознь: я — в одиночестве у себя на Поль-Думере, а он — у себя в Арменонвиле, с женой и друзьями.

Отныне за мной постоянно следовали репортеры: подстерегали утром, провожали до студии и обратно вечером домой, спали в машинах у подъезда... Ситуация становилась невыносимой. Да и Жильберу, который сделал крепкую семью частью своего имиджа, очень не нравилась газетная шумиха о наших с ним отношениях.

А ведь мы ни разу нигде не появились вместе, ни в ресторане, ни в кино, ни даже у друзей. Встречались мы тайно, у меня по ночам, когда не было ни служанки, ни Алена.

Откуда же об этом узнали?

Я никогда не могла понять, каким образом каждый мой шаг, каждый порыв, даже самый тайный, становились предметом публичного обсуждения, хотя я не говорила о них никому, даже самым близким друзьям.

В результате Жильбер по-прежнему звонил мне по ночам, анонимно посылал цветы, но больше не приходил ко мне, объясняя это тем, что боится скандала, боится, что у меня дома его сфотографируют, что публика осудит, боится того, боится сего...

А о том, что боится потерять меня, мне не говорил!

* * *

Итак, в начале 1958 года целыми днями я пропадала на студии, в работу ушла целиком. Пыталась чего-то достигнуть в

жизни, заслужить в поте лица профессиональное признание.

Были телефонные послания. Кристина хотела повидаться. Она затевала интересный фильм с режиссером Дювивье «Женщина и паяц». Контракт составили. Книга Пьера Луиса лежала у меня на подушке. Ольга согласна, Дювивье тоже, Оренш и Бост берутся сделать сценарий. Ждут меня. А я, раскрыв «Женщину и паяца», жду звонка от Жильбера.

Присылали предложения агентства по продаже недвижимости, с фотографиями домов «на берегу». Предлагали Касси, Жуан-ле-Пэн, Бандоль, Трифуйи-ле-Бегонья.

Я смотрела на ворох почты, но в мыслях была далеко-далеко, за тридевять земель отсюда.

Была ли я, действительно, влюблена в Жильбера?

Уже и сама не знала. Влюблена была, скорее всего, в телефонный аппарат.

Это я-то, любившая солнце, волю, песок, зной, деревню, животных, запах сена, любившая бегать босой, свободной и жить у моря, — жила с утра до вечера затворницей, не видя неба, как чахлое комнатное растеньице. Увядала в свои 23 года!

И мне захотелось уснуть совсем. В аптечке я нашла имменоктал. Для верности проглотила сразу пять таблеток; потом, наплакавшись и устав, еще несколько.

Потом зазвонил телефон. Услышала звонок — не знаю, во сне или наяву. Сняла трубку, но сама плакала и, что говорила трубка, не могла разобрать. Потом разобрала: «Это Жиль, Бриж! Ответь!» И я ответила, раз телефон заговорил человеческим голосом. Прижала трубку к уху и поведала ей, как страдаю и как устала. И поцеловала черную, мокрую от слез пластмассу. И услышала приказ, краткий, но безумно тревожный: «Бриж, встань и открой входную дверь».

Встать я была не способна. Я словно бы куда-то отлетала, далеко-далеко.

Из этого далека ватный крик опять велит открыть входную дверь. Я упала с кровати вместе с телефоном.

Словно под наркозом, я слышала: «Открой дверь, открой дверь, открой дверь», — и бессознательно поползла «открыть дверь». В ушах звенело: «Дверь! Дверь!» Врач, посланный Жильбером, нашел меня на коврике на пороге, в коме, но дверь была, слава Богу, открыта. Жильбер, который в тот момент находился в Марселе, позвонил знакомому доктору и просил его срочно приехать по адресу Поль-Думер, 71, 8-й этаж, налево.

Совершенно не помню никакого доктора, но благодаря ему могу сегодня рассказать эту историю. Он, как я потом узнала, сделал мне переливание крови, и 48 часов я лежала под

капельницей.

Наутро, в полдевятого, пришел Ален и застал у меня врача. Тогда он немедленно вызвал маму, и вместо одиночества я получила массу внимания и нежности, но не в состоянии была осознать это. А меня ждали на студии.

А я была в полукоме.

Мама, зная, что пресса неотступно следит за мной и каждый мой шаг перетолковывает, осталась рядом. Она даже и не была уверена, смогу ли я выкарабкаться, и все плакала и не понимала, но рассудительности не утратила. Она позвонила главному продюсеру и сказала, что я отравилась несвежими устрицами, очень плохо себя чувствую, лежу в постели и на съемки прийти не могу.

Когда съемки прерывались из-за болезни актера, фильм объявлялся «убыточным», и убытки оплачивала страховая компания. Вот почему перед съемками актеры обязаны были пройти медосмотр у нанятого страховой компанией врача. У нас был постоянный — добрый доктор Гийома. Он и решал, здоров ли актер, готов ли к тяготам съемок или нет.

Если же актер заболевал, перед выплатой страховых денег Гийома приходил проверить, правильно ли его собрат по профессии поставил диагноз. Разумеется, покушения на самоубийство компанией не оплачивались, убытки нес продюсер.

Помню, мамин голос твердил: «Бишон, Гийома придет тебя осмотреть. Скажи, что отравилась несвежими устрицами, слышишь, деточка, несвежими устрицами».

В вене на руке была игла. Капельница свисала с лампы. В комнате темно. Мне казалось, что я наелась мятого картона. Язык не ворочался, мутило, в глазах двоилось. Меня беспрестанно били по щекам, поднимали мне веки и громко звали: «Брижит, Брижит, ты слышишь?»

Добрый доктор пришел на другой день и очень удивился, услыхав, что устрицы повергают молодую здоровую женщину в коматозное состояние. А вдобавок я, когда почувствовала, что мой любимый добрый доктор здесь, стала плакать и умолять его не пускать меня больше никогда на съемки, говоря, что устала морально и физически. В общем, он все понял, но он и сам меня любил, поэтому подтвердил отравление и прописал мне неделю отдыха.

48 часов спустя я еще была между жизнью и смертью, не различала, день ли, ночь, едва приходила в себя и снова и снова погружалась в черную бездну.

Мамочка, милая, клала мне на лоб мокрые полотенца, сильно сжимала мне руку, говорила, что любит меня, что никто на свете

не стоит того, чтобы из-за него болеть и гробить здоровье.

Натерпелась она страху.

Я слушала ее рассеянно и думала, что, кроме нее, по-настоящему никто и не любит меня. Плевать всем на мою душу. Хорошо мне или плохо, лишь бы фильм закончила!

А умерла бы — катастрофа.

Финансовая.

В этот момент пришла Кристина Гуз-Реналь.

Она была потрясена. Она тоже любила меня! Я должна упорядочить свою жизнь! Найти стержень! Кристина расстроилась. А еще я должна подписать контракт на «Женщину и паяца». Он у нее все-таки с собой. Надо же наконец поставить точку!

Если не подпишу сегодня, дело рухнет, потому что все опять держится на моем имени! А потом, по словам Кристины, сниматься будет весело, как в фильме «Свет в лицо». Поедем на праздничное гулянье в Севилью, я развеюсь, натанцуюсь испанских танцев, а она возьмется за меня, потому что хочет, чтобы я была счастлива.

Убаюканная воркованьем, не в силах напрягать мозги и противостоять такому напору и воле, я подписала!

Хотела бы я сегодня посмотреть, что за каракули у меня на том контракте под строкой «сим подтверждаю»! Наверно, не подпись, а частокол мушиных лапок!

Наконец я могла спокойно заснуть.

* * *

Мамиными попечениями и звонками Жильбера я выздоровела. Впоследствии я узнала, что у них был долгий разговор обо мне. Оба беспокоились на предмет моих реакций, непредсказуемых и неадекватных!

Жильбер меня, конечно, любил, но прежде любил работу, успех и собственный образ. Однажды вечером он пришел ко мне с милейшим юношей, которого назначил мне в няни на случай своих отъездов.

Так я познакомилась с Полем Жанноли. Прозвала я его «Пиноккио» за длинный нос. Пиноккио был газетчиком, но прежде всего — Жильберовым другом. И никогда не злоупотреблял этой дружбой для газетных сенсаций. А потому благослови его, небо! В ту пору и лучшие друзья продали бы мать родную для скандальной статейки.

Моя работа на студии «Сен-Морис» возобновилась. По

вечерам меня ждали и радостно встречали уже Ален, Клоун, Гуапа и Пиноккио. Весело, душевно, чудесно!

Если я слишком уставала, обедали дома все вместе. Ален готовил, а Пиноккио говорил о Жильбере, Жильбере, Жильбере!..

* * *

Рядом с Пиноккио я открыла для себя совершенно новую жизнь, удивительных людей, прелесть латиноамериканской музыки, кое-какие премьеры и сборища парижского бомонда, блестящего и безобразного.

А Гуапа толстела не по дням, а по часам.

Ах, так я буду бабушкой!

И уныло смотрела я на Клоуна, полагая, что от черного коккера и дворняжки потомство произойдет странное. А в общем, не все ли равно, ведь щенки — их, моих любимых собак.

Пиноккио уговорил меня пойти на премьеру в Лидо. Мне не хотелось, но он так трогательно просил и при этом так печально вытягивал нос, что я не устояла.

Пришлось наряжаться.

Во-первых, будут без конца снимать, во-вторых, хотела, чтобы Жиль ревновал и страдал, что не со мной. А еще чтобы как-то отстаивать себя: выходила на публику я редко, а надо было положить конец сплетням, слухам, клевете, домыслам всех этих «добрых людей», которые в глаза хвалят, а за глаза мешают с грязью. Отнять у них все зацепки!

По просьбе Кристины Живанши одолжил мне на вечер красивейшее платье.

Одетта пришла причесать. Маленький пучок, а из-под него там-сям несколько непокорных прядок.

Пиноккио, очень элегантный в смокинге, ждал, пока я оденусь, попивая шампанское с Аленом.

Прождал он всю ночь! Только я собралась надеть свое платье, как услышала из спальни громкий протяжный стон. У меня на кровати рожала Гуапа. Смотрела она на меня с мольбой и доверием, вся во власти нестерпимой муки, которая только и кончится, когда выйдут из ее живота щенки. И нет на свете ни коров с телятами, ни свиней с поросятами, ни премьер с «макаронами». Я осталась со своей страдалицей, я рожала с ней, возле нее, ободряя, любя, лаская, помогая.

Вот это, действительно, премьера!

Лучшая в моей жизни! Родились у нас прекрасные младенцы! Пиноккио с Аленом исполняли роль взволнованных папаш. Время

от времени они заглядывали узнать, как дела. Одетта — акушерка. Клоун обнюхал пищавшие комочки и довольно завилял хвостом.

Назвали их Лидо, Блюбель и Премьера. В силу сложившихся обстоятельств.

Однажды, вернувшись со студии, я не застала ни Алена, ни Пиноккио. Только Клоун с Гуапой ждали у двери. В гостиной на полу перед магнитофоном сидел Жильбер со стаканом виски в руке и тихонько пел, почти шептал в микрофон... Я застыла на месте, обмирая от счастья, не смея помешать ему, и только слушала.

В тот вечер я была самой счастливой на свете женщиной!

Тот, кого я любила, был рядом! Он подарил мне изумительную песню, мне посвященную! Он сочинил ее, пока ждал в гостиной. Слова любви приходили сами собой, по-детски правдиво и просто. В тот вечер я действительно почувствовала, что Жиль любит меня.

XI

В глубине души я знала, что мне не жить с ним. Во-первых, жизнь у него давно своя, но это еще не главное. Мало ли на свете разводов и разрывов! Но во-вторых, и в главных, была во мне скорее влюбленность, а не любовь. Любовь — глубже, подлинней.

Любовь была к Жану-Луи.

Любить — ежеминутно делить все. Любовь — союз, слияние, а ничего подобного не было у нас с Жилем. И в отместку я радовалась, когда Ален принес мне газету, не то «Франс-Диманш», не то «Сине-ревю», где намекали, а потом и говорили прямо о нашей с Беко идиллии. Беко олицетворял успех во всем. Быть с Беко — значило подняться к высотам незнакомым, пугающим, но заманчивым.

Жиль подарил мне свой концертный галстук, «счастливый», синий в белый горошек. У него имелась дюжина одинаковых. Это был его талисман. Без синего в белый горошек галстука он на сцену не выходил. Тот, что он мне дал, был на нем в «Олимпии» и в телепередаче, которую я смотрела, когда он пришел ко мне. Даря мне галстук, он объявил новость: я приеду к нему в Женеву и отправлюсь с ним на гастроли. О счастье! Съемки кончаются, я буду свободна как птица и смогу разделить с Жилем жизнь и работу. И чтобы никакого Пиноккио, никого! Чтоб только я одна!

Жиль безумно боялся, как бы пресса не пронюхала, что я с ним, и велел мне записаться под чужим именем в отеле «Дю Рон», где он будет ждать. Просил спрятать волосы и надеть черные очки, не просил только приклеить усы, и на том спасибо.

Я и сегодня не люблю ездить одна, а тогда просто не выносила! Застенчивость, несамостоятельность, страх неизвестности в чужой среде, без друга, без соломинки, чтобы уцепиться. А потом гастролировать — значит кочевать, мотаться по гостиницам и почти не быть вдвоем!

Я тряслась от страха, но решилась. Под лежачий камень вода не течет. Жиль достаточно ездил, чтобы увидеться со мной, могу и я один раз для Жиля стронуться с места.

Я села в спальный вагон Париж — Женева в строжайшей тайне.

Ален проводил на вокзал. Февральский день 1958 года. Холодно. Я надела свою норку «на вырост».

На другое утро я уже в Женеве. Шел снег. Я обмоталась платком, до глаз закрылась шубой, вдобавок черные очки — попробуйте, узнайте! В отеле «Дю Рон» записалась «мадемуазель Мюсель» — маминой девичьей фамилией, как было условлено с

Жилем, и благополучно добралась до заказанного мне номера. Там ждал огромный букет с запиской, извещавшей, что Жиль опоздает, сломалась машина. И вот я бегаю по номеру, смотрю, как над рекой идет снег... волнуюсь... скучаю...

Жиль влетел, как вихрь, закружил меня в объятьях, познакомил с Жаном, братом и помощником, сказал, что любит, что обожает, и вихрем умчался в театр. Я поняла, почему его зовут «Господин Сто Тысяч Вольт». После него стало тихо-тихо, вещи обрели нормальные размеры, Жан смог сказать несколько слов.

«Рэймон Бернар, дирижер оркестра Жильбера, зайдет за нами перед концертом и отведет в театр, в Жильберову артистическую».

Значит, опять играть в невидимку посредством платка, очков и прочего.

Все, однако, шло хорошо до артистического подъезда. А там — давка, народ, фотографы стеной.

Бернар в испуге накинул мне шубу прямо на голову и повел меня, как слепую. Я спотыкалась, ничего не видела, задыхалась под шубой, в обезумевшей толпе.

Наконец добрались до артистической. Пахнет пудрой, сигаретами, виски и мужским одеколоном. Меня втолкнули в каморку рядом и сказали ждать. Скинув шубу, я увидела, что нахожусь в умывальной комнатке. За стеной голоса, смех, потом хохот Жиля. Когда все совсем стихло, я открыла дверь и выглянула.

В комнате никого.

Как хорошо в тишине! Налила себе виски (которое терпеть не могу!) для бодрости. Я устала, выдохлась и сама удивлялась, что я делаю здесь, в этом театре, в этом городе одна и почему меня, как прокаженную, скрывают и стыдятся.

Было очень грустно.

Я слышала, как на сцене Жиль поет песни, которые я любила и помнила наизусть. Я знала, что за кулисами его ждет жена со стаканом воды, на случай, если в паузе он захочет пить. Я-то ему воды не протяну, я любовница, а любовниц прячут!

Жиль забежал ко мне — я смирно сидела на месте. Он был потный, счастливый, сказал мне, что поет в этот вечер для меня. Ничего себе, для меня, которая где-то на задах... Ну и что, ведь он любит меня, обожает!

Я все-таки протянула ему стакан воды. Его глаза блестели...

Под конец концерта пришел Жан. Он очень деликатно попросил, чтобы я вернулась в чулан, пока журналисты, фотографы и всякие там друзья-приятели, которые неизбежно

набьются в артистическую, не уйдут. Я вернулась и, за неимением в чулане стульев, уселась на унитаз. И стала ждать. Курила сигарету за сигаретой. Минуты ползли еле-еле. Возвращение со сцены, шум, гам, поздравления, автографы, треск вспышек, интервью, грудной женский смех, хлопанье двери, «до свиданья!», тишина.

Теперь — скоро. Жиль, наверно, ушел с поклонниками, и Жан придет меня вызволить.

Вдруг свет погас.

Ничего себе! Нет уж, хватит с меня концерта!

Я щелкнула зажигалкой, покинула «уголок» — не тот, о каком мечтала, и очутилась в артистической. Тут тоже полная тьма. В коридорах, за кулисами тоже. Театр закрыт, я взаперти!

Я зарыдала от бешенства, бессилия, тоски, усталости, и опять поклялась, и опять с опозданием, что никогда, никогда не буду любовницей женатого мужчины! Никогда не засяду в чулан хуже сортира! Не спрячусь! Никогда! Ни за что!

Именно в этот миг зажегся свет, вошел Жан, извинился, что опоздал, но пришлось-де ждать, пока не уйдут все: рабочие, гардеробщицы и прочие. Теперь путь свободен, никто не увидит, 2 часа ночи...

Да только вот Жиль сидел в ресторане с друзьями. Они, сказал Жан, ужинают, а мы заедем за ним. Нет, конечно, я не выйду, а останусь ждать в машине.

Шел снег. Я замерзла, хотела есть, спать, все, мягко говоря, надоело! Включила радио — музыкальная передача. Включила мотор — согреться. В 3 ночи на улице никого. Где ресторан, не знаю. Сижу в туфельках на шпильках. Не искать же такси в снег и гололед!

Я решила, что, если я не иду к спасителям, пусть спасители идут ко мне. В полицейской форме. И раскрыла я в машине все окна, и врубила радио на полную мощность. Грохот раздался чудовищный. Бешеное ча-ча-ча. Помирать, так с музыкой. Окна ближайших домов раскрылись. Добропорядочные швейцарцы, разбуженные моей музыкой, стали возмущаться.

А я — веселиться.

Заспанный консьерж крикнул, что вызовет полицию. Я — ноль внимания. Молодые люди, возвращавшиеся с вечеринки, навеселе, подошли к машине, выкрикивая непристойности. Я — ноль внимания.

Наконец прибыла полиция. Полицейские собирались вчинить мне судебный иск за нарушение тишины в неположенное время. В общем, когда в 4 утра Жиль и Жан пришли, чтобы ехать в отель, их встретила революция.

Жиль злился — не то слово!

А я радовалась — не то слово!

На другой день, вернее, через несколько часов я уехала поездом в Париж, навеки оставив Жильбера изумляться и не понимать, что именно мне не понравилось, когда все было так прекрасно!

Конечно же, я просто капризная, разве нет?

* * *

На авеню Поль-Думер я приехала опустошенная вконец. Ален глазам и ушам своим не верил, увидев, что вернулась так скоро, и услышав, почему.

Мой дом мне показался раем с Клоуном, Гуапой и потомством. Все радовались, обнюхивали. Но в сердце у меня, в голове — пустота и тоска. Я называла это состояние «кринг-кронг».

Когда снимаешься, есть цель, и силком заставляешь себя идти на студию. А на студии — друзья, работа: не до кринг-кронга! Дни расписаны до минуты. Некогда думать о себе. Я не за себя отвечаю — только за работу.

А теперь...

Что делать со всеми этими днями и ночами?

Куда ехать отдыхать одной, в феврале?

Терпеть не могу коньки и лыжи!

Пойти куда-нибудь с кем-нибудь. Куда? С кем? И потом, театр, кино — это пара часов вечером, а ведь впереди вся ночь...

И я решила разбирать почту и заниматься хозяйством.

Письма оказались хорошим развлечением. Я читала все подряд, некоторые были со странностями, чтобы не сказать — «с приветом».

Были письма с бранью, с просьбой денег, с признаниями в любви, с похабщиной. Надо было бы сохранить несколько... Все выкинула.

В одном письме пришло приглашение в Кортина-д'Ампеццо, очень престижный зимний курорт в Италии... А еще пришли фотоснимки особняков на Лазурном берегу... И кипа обычных счетов, налоги, пошлины и тому подобная дребедень.

Заходила я к бабушке с дедушкой. У Бума был вид усталый, он уже не работал. Дада с наслаждением готовила мне спагетти.

И я радовалась, когда была с ними.

Бабуля советовала принять приглашенье в Кортину. Она обожала все итальянское. В Италии она прожила полжизни. Мама

тоже одобряла Кортину: развеюсь немного.

Таким образом, я отправилась на неделю в итальянские снега в обществе Мижану и дублерши Дани.

Но пригласили-то меня с моим собственным эскортом город Кортина-д'Ампеццо, мэр, именитые граждане. Без дипломатического скандала не удрать. В общем, нужна я им для рекламы. Взялся за гуж...

И за королевское обслуживание в отеле «Кристальди» пришлось тащить хвост репортеров и журналистов весь срок пребывания в Кортине.

Единственное светлое воспоминание — прогулка по Венеции, где мы садились на поезд. Прошлись наконец-то одни по зимней Венеции, облачной и туманной, без единого туриста — вот уж, действительно, достопримечательность!

* * *

Во время моего путешествия Жиль звонил неоднократно, но Ален отвечал односложно. Да, прав Наполеон: «В любви одна победа — бегство».

Жики заходил узнать, не прокачусь ли я с ним на юг, Ален ничего определенного не ответил.

А я еще морально не окрепла, чтобы сопротивляться Жильберовым звонкам, потому решила скорей уехать с Жики к зимнему кассийскому солнцу. Жики до сих пор киснул после ухода жены. Итак, я поручила Алену дом и собак, переменила в чемодане джинсы с майкой на спортивные штаны со свитером, и мы на моей «симке» двинули с Жики к прованскому солнцу залечивать наши общие раны.

Жики, мой друг и наперсник, очень дорог мне.

Он на десять лет старше меня и всегда, как старший брат, поддерживал меня. Его опыт и здоровая крестьянская смекалка пошли мне на пользу. В деликатных ситуациях советы его были кстати.

Жики любит все простое и подлинное, — море, солнце, кассийские холмы. Любит непосредственность и не любит, как сам выражается, «дурь»! Каждую минуту он способен сделать неповторимой. Он ценит время и не тратит его попусту.

Мы осмотрели все дома, которые расхвалили агентства за красоту, тишину, местоположение и пр. Ни один мне не понравился. Слишком велики, далеки от моря, вычурны и дороги. Плюнули мы и решили заехать в Сен-Тропез повидать моих. Папа с мамой жили в рыбацком домике на улице Мизерикорд.

Мы взяли напрокат велосипеды и объехали все улочки и закоулки. Я открыла для себя совершенно неожиданный город: средневековый. Во время съемок фильма «И Бог создал...» я не разглядела его. И теперь я в него влюбилась и решила, что дом куплю именно здесь.

И назад — в агентства.

Но дома на продажу нет!

А тем более на берегу. Ладно, подождем!

Пока я наслаждалась жизнью, пресса принялась за нас с Жильбером. Да только поздно!

Но, увы, в результате репортеры из «Нис-Матэн» и «Вар-Матэн» теперь увязывались за мной, думая, что я тут с Жильбером инкогнито.

Жизнь опять стала адом!

Ни покататься на велосипеде, ни позагорать! Не успеем мы с Жики выйти из дома — объективы, вспышки.

А беднягу Жики газетчики приняли за Беко! Газетчики — тоже бедняги: здорово им влетело от редактора, когда они гордо выложили ему на стол «суперснимки» со мной и Жики. Спасая честь, местные газеты намекали, что Жики — моя дежурная пассия. Вот так создавалась легенда, что я обожаю скандалы и меняю любовников, как перчатки. Это отравляло мне жизнь и создавало ужасную репутацию, с которой пришлось бороться.

Величайшая несправедливость всей моей жизни!

Кристина Гуз-Реналь хотела свести меня с Дювивье, ибо съемки начинались через месяц. Пошли примерки костюмов, подбор прически и грима. Ввиду копродукции моим партнером вроде бы назначался Антонио Вилар, прекрасный идальго.

Самым срочным делом стали уроки фламенко.

По сюжету я завлекала мужчин танцами. Кристина очень радела о «Женщине и паяце» и не отходила от меня ни на шаг. Следила за каждой мелочью, цветом платья, лишним моим локоном. Опекала меня, как мать, даже провожала на курсы испанских танцев.

Прекрасный танцовщик Леле де Триана обучил меня фламенко, танцу дикому и чувственному. Как он нравился мне. Получалось у меня неплохо. Я притопывала ногами и покачивала бедрами по-цыгански пылко. Я взмахивала руками в духоте танцзала и глазами дерзко оглядывала воображаемую публику, и выгибалась, и кружилась.

Кристина была в восторге, и Леле, и я.

Кристина повела меня в театр «Антуан» на пьесу Артура Миллера «Вид с моста» с Рафом Валлоне.

Потом уговорила меня пойти поздравить актеров после

спектакля и принять приглашение Рафа поужинать.

Хотя я никогда не уверена ни в чем, в тот вечер я знала точно, что господину Валлоне понравилась. Мне льстило, что он не сводил с меня глаз, и было интересно слушать его, умницу, эрудита и всеми признанного красавца.

С Кристиной и Рафом я провела потрясающий вечер.

Раф убеждал встретиться под предлогом, что даст мне почитать пьесу с ролью специально для меня. Пришлось согласиться на завтрашний вечер. У меня в жизни никого. Что ж, как раз! Почему бы и нет, в конце концов, я свободна, одна, могу распорядиться своим временем, как хочу. Кристина заговорщицки подмигивала мне. Ведь на пользу делу, если любовь вдохновит меня.

Только когда я любила или была любима, оживала. И проявлялось все то хорошее, приятное или особенное, что было во мне. Без любви я как лопнувший мыльный пузырь или как сорняк.

Рафа послала мне судьба. Но с ним в чем попало на люди не выйти! Еще недавно газеты обсуждали его связь с одной очень утонченной актрисой. Раф итальянец, а итальянцы чувствительны к красоте, изяществу, шику!

Обдумывая, что надеть, я чуть ли не сидела в шкафу... Ничего, в чулане я уже сидела, мне не привыкать... Но подходящего платья не находилось! А ужинать мы шли в «Монсеньер», русский ресторан, один из самых шикарных в Париже!

Кристина опять выручила меня, отведя в «Мари Мартин». Купила я золотое узкое платье с разрезом сбоку. Еще надену скромное ожерелье и норку «на вырост». Годится!

В «Монсеньере» я поразилась старой русской роскоши. Шампанское в драгоценных кубках, икра, лососина, блины, литые серебряные канделябры, золотые приборы, рыдающие скрипки... Глаза Рафа!

Голубые и глубокие, глаза пронизывают, почти инквизиторски, всю душу! Я не влюблена, но очарована, заворожена человеком, которому, кажется, мое сердце, непосредственность, простодушие важнее тела.

По-моему, платье мое он заметил только, когда я сняла его.

С Рафом я узнала многое, в том числе тишину. Зато не узнала, что такое чулан по-итальянски! А ведь и Раф был женат. Только он имел мужество не скрывать того, что делал, а гордился женщиной, которую любил.

Как-то ночью, когда мы в энный раз слушали «Времена года» Вивальди, телефон зазвонил и нарушил гармонию! Я не подходила. Тогда Раф снял трубку сам...

Звонил Жиль!

Разговор был краток:

— Нет, это не Бриж!

— Нет, по-моему, не хочет.

— До свиданья.

Я думала, у меня будет разрыв сердца. Да, разрыв — то самое слово. Потому что с этого дня Жиль никогда мне больше не звонил.

* * *

Пришлось оставить Рафа, Вивальди и парижскую Россию ради Севильи, «Женщины и паяца», фламенко!

Терпеть не могу менять знакомое на безвестное. С Рафом мне было так хорошо! Я расцвела, раскрылась. Скажи я слово — он звонил бы мне каждый вечер после спектакля.

А газеты были еще на стадии моего романа с Беко — от жизни сильно отстали. Кое-где, правда, мелькнули случайные снимки, где мы с Рафом выходим из ресторана, но считалось еще, что у нас профессиональные встречи. Наверно, втихую снимаем картину! Мой отъезд в Севилью пресек будущие сплетни.

В отеле «Кристина» меня ждала Дедетта. Дублерши Дани не было. Дани не похожа на меня. Кристина с Дювивье взяли другую — Маги Мортини. Маги некоторое время почти не покидала меня. Она уже поработала моей дублершей в «Ювелирах». С ней мы оказались до того похожи, что в кадре издали я и сама не знала, кто из нас кто.

Папашу Дювивье в группе звали Дюдю, но запанибрата с ним никто не был. Он вечно ходил в шляпе и постоянно либо жевал языком, либо поправлял вставную челюсть. Таланта это ему не убавляло, но я сразу учуяла, что с ним будет трудно, даже почти невозможно. Он так и сверлил вас своими хитрыми мышиными глазками и, быть может, думал о вас то же самое, что и вы о нем.

Съемки начинались во время знаменитой севильской ферии. Ферия — ежегодное гулянье на Пасху. Движенье машин по центральной улице прекращено. Люди богатые и знатные устанавливают вдоль тротуаров шатры в восточном вкусе, яркие, пышные. Чем человек богаче и знатней, тем шатер роскошней. Затем посреди улицы начинается шествие музыкантов и танцоров, исполняющих фламенко.

Во время ферии дозволено все. Это как бы всеобщее разговенье после крайне строгого католического поста. Бывает, заденешь ногой влюбленную парочку чуть ли не в водосточном

желобе или наступишь на чью-то тушу с головой в винной бочке. Народу — море. Только у знати в шатрах, так называемых «кабанос», во всем этом действе — привилегии, впрочем, довольно условные. Разница в том лишь, что знать кутит, занимается любовью, распутничает в дорогих шатрах, и все шито-крыто.

Маги дублировала на улице, чтобы оператор проследил за мной в толпе. Народ принял ее за меня и накинулся на бедняжку. Вырвали ее у них еле живую, в изорванном платье, синяках и ссадинах.

Меня Бог миловал!

Со мной подобную сцену и думать нечего снимать! Так вот нет же, Дюдю решил снимать именно со мной. Ему подавай правдивость. То есть иди сама в толпу!

Я наотрез!

Поглядев на Маги, чистейшее безумие гнать меня на заклание дикарям! Хорошее начало! Дюдю уселся, стал жевать язык и ждать, когда я повинуюсь.

Я тоже уселась — ждать, когда он передумает!

Кристина в панике. Вот тебе и съемки... Бегает от него ко мне, взывает к разуму. А мы с Дюдю оба уперлись! Когда решали что-то, стояли на своем насмерть!

Нечего сказать, гулянье.

Времени потеряли массу. Наконец додумались послать меня в толпу под защитой наших мужчин. Защитников требовался добрый десяток, причем крепких. Но 10 человек, свободных в момент съемок? То есть бездельников? Признать себя таким охотников не нашлось. Пришлось очень ласково просить присутствовавших репортеров и друзей, счастливо встреченных на ферии.

Так и швырнули меня в бурное людское месиво под охраной Мишу, приятеля из «Матча», его брата Жан-Клода и других ребят, симпатичных, хотя незнакомых.

Но мы мигом познакомились.

Меня буквально подняло в воздух. Платье задралось, тысяча рук, откуда ни возьмись, облапили меня, чуть трусы не сорвали. Я заорала, вцепилась в Мишу, пытаясь влезть на него, чтобы вытащить живот и ноги из адской каши, оторваться от рук, вовлекавших в пучину кошмара! Мишу и Жан-Клод были здоровяки, а их, казалось, раздавит обезумевшая толпа. Других ребят унесло и носило по воле волн...

Как меня вызволили, не знаю, я была почти без сознания.

Один Дюдю был в восторге. Он радостно потирал руки и приговаривал: «Вот видишь, не умерла же!»

В Севилье отвели меня и на бой быков!

Раньше я ничего об этом не знала и знать не хотела, но Кристина и Жорж Кравен, наш пресс-секретарь, решили, что в рекламных целях меня следует лишить данной невинности.

И так, ясным воскресным днем, когда заняться особо нечем, меня отвели смотреть то, что в жизни своей больше не увижу, а буду вечно осуждать и проклинать! Сидя в амфитеатре на почетном месте в тени, я смотрела на арену — белую, красивую! Вокруг сотни людей. Нет. Каких людей? Нелюдей. В шляпах, с веерами, мужчин, женщин, с виду прекрасных, в душе безобразных, кровожадных.

Я была одной из них и умирала от стыда!

Над загоном висели часы. Когда бык выходил, на смерть ему отводилось 20 минут. И я неотрывно следила за стрелками, похожими на пики тореадоров.

Когда бык, красавец, природная стихия, мощь в чистом виде, издох, лошади оттащили его на разделку, и два человека освежевали, чтобы отдать на котлеты в городские больницы! После этого выгнали второго быка, и снова двадцать минут потехи! И опять мясник-тореро срывает аплодисменты. За хорошую работу он снова получит уши и хвост!

И так шесть раз подряд!

Меня тошнило, и до сих пор тошнит, и будет тошнить всегда!

Дамы и господа, любители корриды, почему бы вам не отправиться утолить жажду крови просто на бойню?

Там удовольствие — сторицей! Вот там смерть так смерть, в больших количествах, в чистом виде! Вы обожаете кровь, агонию, насилие, ну так и нечего изображать недотрог, имейте мужество быть такими, как вы есть, сходите же на бойню и ешьте мясо и дальше, если охота не пропадет!

* * *

Итак, я поплясала босыми ногами на столе, поездила верхом, попристава́ла к Вилару, поиграла и пофлиртовала в солнечных цветущих патио и вернулась в Париж. Натурные съемки были закончены.

С моим четвероногим семейством стало хлопотно. Пять собак! Для псарни дом тесноват! Но какое счастье — встреча с ними, их горячие ласки, сумбурные, как всегда после вашего долгого отсутствия. Но надо внять рассудку и найти трем малышам других хозяев.

Ален уже все предусмотрел.

Лидо взял владелец ресторана с острова Сен-Луи. Он обожал щенка и ждал моего возвращения, чтобы забрать его. Блюбель взяли в деревню под Парижем очень милые люди. Премьера составила счастье Аленова друга, человека одинокого.

По очереди я расставалась с ними, с теми, кого приняла, любила, растила — и сердце разрывалось. От них остались всюду на полу игрушки. И еще следы щенячьих луж на ковре как память о чем-то подлинном, прекрасном, чистом. Гуапа искала щенков и плакала. И я плакала.

И дала себе слово, что однажды заведу много-много собак, буду жить в деревне и ни за что не отпущу от себя крохотных существ, за которых отвечаю, раз уж дала им родиться.

В апреле 1958 года в Брюсселе состоялась Всемирная выставка!

Почетное место занял павильон Ватикана. В нем имелся зал для всяческих святых, Бога, чудес и т. п. Имелся и другой зал, выставлявший «Зло», серное пламя, чертей, разврат, ад.

А кто же олицетворял грех и мерзость?

Я.

Фотоснимок, где я танцую мамбу из «И Бог создал...».

Вот был скандал!

Папа, обезумев от бешенства, сорвался с места и полетел по епископам и архиепископам Парижским, Французским, Наваррским, так что десять дней спустя снимок был снят. Теперь грех во всех его проявлениях олицетворяло пустое место, но мой образ, моя жизнь еще долгое время связывались с аморальностью, плотским грехом, рогатым чертом и были символом развращенности.

Я очень страдала из-за этого, родители тоже.

XII

Однажды вечером мама позвонила мне из Сен-Тропеза. Она нашла дом «у самой воды», но агентство требовало дать ответ немедленно: желающих купить много.

Это было 15 мая 1958 года!

Из-за съемок я не могла выехать сразу, и только в субботу вечером отправилась поездом в Сен-Рафаэль. Мама встретила меня и прямо с вокзала повезла смотреть виллу «Мадраг».

Я попала в тропический рай. Высоченный тростник, кактусы всех видов, мимозы, смоковницы, среди всего этого дом притаился под бугенвилией в фиолетовом цвету, и море плещется почти в гостиной! Я всегда знала, чего хочу!

И я купила виллу «Мадраг».

Мама спешно вернулась со мной в Париж.

Буму совсем плохо!

Из студии, снимаясь в бурных сценах, я звонила в перерывах, чтобы узнать, как чувствует себя единственный мужчина, который по-настоящему что-то значил в моей жизни — мой дед, Бум. У него был рак легких, уже давший метастазы...

По вечерам, после съемок, я часами сидела у его постели, рассказывая ему о вилле «Мадраг», куда он обязательно приедет отдохнуть, как только ему станет получше. Я лгала со слезами на глазах, лгала просто так: он со своей проницательностью и ясным умом снисходительно слушал мою ложь. Он страшно исхудал, дышал с огромным трудом, его тело мучили боли. Прикованный к постели, он зависел от всех и во всем.

Бедный Бум — всегда такой веселый, деятельный, живой, независимый, мужественный!

Я уходила измученная, убитая, подавленная несправедливостью жизни, несправедливостью смерти. Мне стоило сверхчеловеческих усилий танцевать назавтра фламенко и смотреть на всю эту мишуру, среди которой я должна была играть комедию, в то время как мой дед умирал.

7 июня 1958, в 8 часов утра мама позвала меня к телефону, чтобы сообщить, что Бум умер... Бум умер, Бум умер! Эти слова звучали эхом в моей голове, в моем теле, в моем сердце. Бум умер, нет больше этого необыкновенного человека, отныне он будет лишь воспоминанием. Для кого? Для меня... для мамы, для Бабули, для Мижану. Надолго ли? Я позвонила на студию: сниматься не могу в связи с кончиной... В связи с кончиной! Какая безликая, холодная, глупая фраза.

На своем смертном ложе Бум походил на надгробие из

далекого прошлого. В нем была красота, утонченность и прямота истинных вельмож. Друг нашей семьи художник Киффе изобразил его во всем благородстве застывшей навеки неподвижности. Эта неподвижность наполняла меня страхом, ужасом; с ней застывала какая-то часть моей собственной жизни!

Мама, Бабуля, Тапомпон, Дада и папа пребывали в прострации в разных углах квартиры. Только у нас с Мижану еще были силы, которые дает молодость перед лицом смерти. Без венков и цветов мы временно предали его земле в Лувесьенне. Могилу накрыли плющом из усадьбы — он его обожал.

Позднее мама приобрела склеп на маленьком кладбище Сен-Тропеза, и останки Бума перевезли туда. Он первый из нашей семьи был захоронен в этом месте, которое оставалось — пока не было по распоряжению мэра, господина Блюа, безобразно расширено, — одним из красивейших кладбищ мира.

Я с грехом пополам довела до конца съемки; в голове у меня была одна мысль: уехать на виллу «Мадраг», отдохнуть, все забыть.

Этот дом был мне абсолютно чужим. То есть, он, конечно, был моим, но я ровным счетом ничего о нем не знала и видела-то его всего несколько минут. Я поручила Алену купить маленький подержанный «ситроен». Мы набили его чемоданами с бельем, посудой, втиснули туда же клетки с горлицами плюс Клоуна и Гуапу, и — вперед, веселая компания! Ален отбыл в «ситроене», а я в спальном вагоне выехала в Сен-Рафаэль.

Я решила позволить себе долгие каникулы, первые настоящие каникулы за много лет. Я была свободна от каких-либо обязательств. Солнце, жара, теплое море и хлопоты по устройству нового жилища быстро развеяли меня. Очень скоро я обнаружила, что этот маленький рай доставит мне много хлопот. Дом — не квартира. Это совершенно отдельный мир, тут нет ни управляющего, ни совладельцев, ни консьержки — словом, никого, кто бы вам помог.

Первым вышел из строя водонагреватель! Потом отказал и насос, качавший воду из скважин: мотор перегрелся из-за недостатка воды! Наконец полетела вся электросеть: оказывается, не было предохранителя! Я начала жалеть, что не сняла номер в отеле или квартиру... На другой день дом заполонили представители различных ремесел. Надо было сменить мотор у насоса, наполнить резервуар... Электрик поменял проводку и поставил предохранитель... Я рвала и метала: сколько денег вылетело на все эти дела, столь же непонятные, сколь и неотложные. Мне пришлось немедленно написать и приколоть к дверям двух ванных комнат таблички: «Не открывать краны без

нужды; спускать воду только в случае крайней необходимости».

Но это был еще не конец моим бедам!

Кристина и ее муж Роже Анен приехали на несколько дней помочь мне устроиться. Им была предоставлена комната для гостей.

А в одно прекрасное утро все умывальники, раковины, биде, души, ванны и прочие удобства вдруг одновременно засорились! Чаша моего терпения переполнилась, я была сыта по горло этим домом у самой воды. Водопроводчик не смог ничего сделать. Очевидно, водостоки и отстойники оказались закупорены корнями из-за того, что в доме долго никто не жил.

Этого мне только не хватало!

И где же они, эти злосчастные отстойники?

Об этом никто понятия не имел!

Пришлось обратиться в фирму «Роза» — «все услуги по ассенизации», — и сад превратился в зияющий котлован. Отстойники надо было отыскать во что бы то ни стало.

Сад походил на Верден в самые страшные дни первой мировой войны, а мы мужественно сносили неудобства, пользуясь морем как большой ванной.

В один из таких дней Раф Валлоне сделал мне сюрприз, явившись без предупреждения на своей роскошной «ланчии». Вот уж действительно выбрал время! Он приехал — безупречно элегантный, чистенький, одетый с иголочки, надушенный... а тут мы — заскорузлые от соли и песка, липкие от жары и волнений!

Отстойники, которые наконец-то удалось отыскать, распространяли тошнотворный запах, автонасос работал, всасывая их содержимое с адским шумом, а отбойные молотки сражались с корнями, закупорившими стоки.

Уж не знаю, как он воображал «Мадраг», но вряд ли увидел райские кущи, которые обычно представляют себе, стоит произнести это волшебное слово. Никто не встретил Рафа с распростертыми объятиями: я была слишком занята, закапывала рвы вместе с Аленом и рабочими. Бедняга быстренько смотал удочки, сел в «ланчию» и укатил, так и не поняв, ни тогда, ни потом, что же произошло.

Ну и невелика потеря!

К нам приехала Маги, моя дублерша.

Мы временно превратили лодочный сарай в комнату для гостей, установив в нем за ширмой умывальник.

Потом явился Жики. Комната Алена превратилась в дортуар, матрасы лежали прямо на полу. Было очень здорово, мы все веселились от души.

А ночами, оставаясь одна в своей постели, я мечтала о Жане-

Луи, и сожалела о Жане-Луи, я хотела открывать для себя этот дом вместе с ним! Мне не хватало его, ему бы понравилось слушать плеск волн и глядеть на звезды, крепко обнимая меня.

Дом был полон, а я чувствовала себя одинокой.

Ален понимал это, Жики тоже — он познакомил меня с кучей своих приятелей. Красивые спортивные парни увозили меня при лунном свете в море за амфорами — этот промысел был строжайше запрещен, но в том-то вся и прелесть! Я собственными руками с помощью лебедки выудила со дна амфору, полную масла, песка и воды, весившую не меньше четырехсот килограммов и не видевшую солнца больше двух тысяч лет — она лежала под сорокаметровым слоем воды среди сотен других.

Это было волнующее зрелище, когда из глубины веков медленно поднималась восхитительная ваза женских форм. Меня всегда поражало, как много могут рассказать украшения, безделушки, мебель, всевозможные вещицы, чудом уцелевшие в пожарах, в войнах, во времени!

* * *

Моя жизнь протекала под перебор гитарных струн в убаюкивающем ритме плеска волн о борта.

Именно сейчас я все бы отдала, чтобы быть замужем... пустить корни! Вечная проблема корней опять не давала мне покоя.

Маги, у которой проблемы корней никогда не было — разве что проблема корней волос перед очередным обесцвечиванием, — привезла ко мне однажды своего возлюбленного. Она его «заарканила» в ночном кабаре «Эскинад».

Мне был представлен молодой человек, темноволосый, дочерна загорелый, не слишком высокий, с очень широкими плечами и глазами восхитительного зеленого цвета. Звали его Сашʻа Дистель, он был племянником Рея Вентуры и играл на гитаре, как бог. Он бросал томные взгляды на попку Маги и называл ее «прекраснейшей на свете». Это было очаровательно и ни к чему не обязывало. Потом Маги пришлось уехать в Париж...

Саша остался на вилле «Мадраг», играл на гитаре, бросал томные взгляды на мою попку и ничего не осмеливался сказать! По правде говоря, я его не замечала. Он был в доме, как многие другие, — и только! Между тем, он всячески старался меня очаровать... Его красивый низкий голос, его влажные глаза — что-то во мне дрогнуло. Я никогда не отбивала поклонников у своих приятельниц, и если «друзья моих подруг — мои друзья», то

любовники моих подруг — не обязательно мои любовники.

Короче, Маги все не возвращалась, стояла жара, мне было грустно и одиноко, он открыто ухаживал за мной, а плоть, как известно, слаба — и я раскрыла ему свои объятия и свою постель. На другой день я была крайне удивлена, когда он явился в «Мадраг», нагруженный чемоданами и окруженный приятелями. Вся эта братия оккупировала комнату для гостей, дортуар и лодочный сарай.

Мы с Аленом глядели друг на друга, не зная, ужасаться или смеяться. Жики, вне себя от этого нашествия, покинул дом, с издевательской усмешкой пожелав мне счастья.

Что ж, по крайней мере я больше не буду чувствовать себя одинокой.

Не проходило дня, чтобы какой-нибудь дружок-фотограф не заглянул просто так, мимоходом, выпить стаканчик и сделать снимок. С ума сойти, как много друзей Саша были фотографами и журналистами. Я всегда избегала их, и вот, пожалуйста, — они разгуливают у меня, как дома.

Наша идиллия обрушилась шквалом на страницы мировой прессы. Саша Дистель стал знаменитостью. Клод Дефф, его менеджер, изловил сразу двух зайцев — одним из «зайцев» была Брижит.

В то лето 1958 года Саша решил стать певцом. Надо было ковать железо, пока горячо. Он, конечно, божественно играл на гитаре, но это разве хлеб? Вот стать французским Синатрой — дело куда более прибыльное.

День-деньской Саша перебирал струны, насвистывал и напевал, пытаясь создать шедевр своей жизни — называться он должен был, разумеется, «Брижит».

Все это время я слушала его вполуха, без особого восторга, и занималась своими обычными делами, с тоской вздыхая о таланте Беко. У Саша ничего не получалось, и Клод Дефф пригласил одного из соавторов, Жана Бруссоля, сочинившего их самые удачные песни. Я только и слышала: «Брижит», «Брижит» в ритме слоуфокса, «Саша-ша-ша», назойливые томные мелодии сменялись более ритмичными... «Брижит, Брижит, приди, Брижит, головкой белокурой к моему плечу прильни»!

Ничего себе, шедевр!

Чтобы не слышать этого вздора, я брала лодку и уходила далеко в море, отмыться от всей этой заурядности. Кажется, я попалась!

Газеты пестрели заметками о романтической чете, которую составили мы с Саша. Пляж «Мадраг» окружали фотографы под видом туристов, вооруженные громадными телеобъективами, они

непрерывно щелкали.

Я больше не чувствовала себя дома.

* * *

Настал наконец сентябрь.

Я должна была представлять фильм «В случае несчастья» на фестивале в Венеции.

Предвкушая освобождение, я за неделю до отъезда упаковала чемоданы — пусть никто не подумает, что я подло сбежала.

Рано я радовалась!

— Ну-ну, — говорил мне Клод. — Конечно, ты поедешь в Венецию с Саша на машине, это будет сказочное путешествие, и потом, ты ведь никогда не любила самолетов, а поездом — слишком много пересадок. Нет, детка, решено: вы совершите вдвоем чудненькое свадебное путешествие, а мне пришлете открыточку.

Действительно, пересадки мне не улыбались, а что до самолетов — все знают, как я к ним отношусь. И потом, в Саша, когда он не пел, были и хорошие стороны. Он был внимателен ко мне, прекрасно воспитан, умен, нежен. Я, конечно же, растеряюсь в Венеции под натиском прессы и толпы. Похоже, без него мне в самом деле не обойтись.

Сразу по прибытии в Город Дожей я поняла, что поступила правильно.

Сотни фотографов давились, наступая нам на ноги, орали, вопили, падали друг на друга.

Я просто насмерть перепугалась.

Саша сиял улыбкой, но и ему было не по себе.

По счастью, Рауль Леви и Ольга Орстиг были уже там. До приготовленной для меня квартиры на Лидо мы с ними бежали. Венеция? Какая Венеция? В окно я видела людный пляж, напоминавший кемпинг «Ежевика» в разгаре августа... Никаких каналов... и никаких гондол! Мы были в новом городе, в современном отеле, стиль модерн. Стоило ехать так далеко! Я с тоской вспоминала прекрасные закаты в «Мадраге».

А теперь еще удивляются, почему я больше не путешествую...

В квартире было не меньше ста человек — «тесный круг». Саша знакомился с одними, с другими, но кто уже не был наслышан о нем? Жорж Кравенн, уполномоченный от прессы, огласил расписание!

Завтра: пресс-конференция, фотографы, коктейль в «Даниэли», презентация фильма во дворце фестивалей, затем

потрясающий вечер в великолепном дворце... приглашены все гости Рауля Леви, а также мировая пресса...

Довольно!

Я устала, мне хотелось принять ванну, выставить за дверь всех этих надоед, они мне осточертели, я хотела быть одна, подальше отсюда, в покое!

В моей спальне стояли сотни гладиолусов, а я терпеть не могу эти цветы — длинные и несгибаемые, как жердь. Были там и корзины с фруктами, и шампанское, но все мне казалось скверным и безобразным. Назавтра был «день Бардо». Нанятые Раулем Леви самолеты выписывали Б.Б. белым дымом в синем небе Венеции.

Я исполняла обязанности звезды: позировала фотографам, улыбалась, отвечала на вопросы — в бикини, потом в вечернем платье. Ни отдыха, ни продыха, ни на минуту. Саша исполнял обязанности верного рыцаря. Какой взлет! Клод Дефф, должно быть, потирал руки!

Вечером был показан наш прекрасный фильм. Приняли его довольно сдержанно. И все-таки «В случае несчастья» останется одной из лучших моих картин, вместе с такими, как «Истина», «Вива, Мария!», «И Бог создал женщину» и «Медведь и кукла».

Рауль Леви думал, что мы получим «Золотого льва».

Я думала только о том, как бы поскорее смыться.

Но мне еще пришлось присутствовать на чудесном званом вечере, который устроили в мою честь в подлинном дворце времен дожей.

Я смотрела во все глаза на этот старый, очень старый дворец, весь в трещинах, в позолоте и росписи великих мастеров. Огромный стол был освещен только свечами в канделябрах из позолоченного серебра, и я думала, что мы возрождаем, быть может, в последний раз, празднества былых времен, сгинувшие навсегда в современной цивилизации, унылой и уродливой, где пышности и красоте не осталось места.

Прощай, Венеция, прощай, непонятая красота, поруганная, осмеянная, осквернённая жадной до снимков публикой, которая не видит, не знает, не осознает главного.

Думая о Венеции, я думала о себе.

А на фестивале фильм Луи Маля «Любовники» с Жанной Моро в главной роли завоевал... «Серебряного льва».

Тем лучше для них, тем хуже для нас.

Зато в этом году — и в следующих, до 1961, — мне достался первый Приз популярности, учрежденный журналом «Сине-ревю».

* * *

Вернувшись в «Мадраг», я застала там мою собачью братию, Алена и, слава Богу, никого больше!

Приближался мой день рождения. 28 сентября 1958 года мне исполнилось 24 года. В этот день я впервые в жизни проголосовала в мэрии Сен-Тропеза. Я отдала свой голос, свое доверие и свое уважение Де Голлю. К этому большому человеку, честному, мужественному, стойкому и надежному, я всегда питала слабость.

За ним я следовала много лет.

О нем я много лет сожалею.

А потом «упаковали лето в картонные коробки, и грустно вспоминать время солнца и песен...».

* * *

Итак, я вновь водворилась в свою маленькую ячейку на восьмом этаже авеню Поль-Думер.

Прошло несколько дней, и, по случаю моих именин, Саша, Клод Дефф, Рэймон Вентура и Бруно Кокатри выдали «гениальную» идею.

Саша, который, вернувшись в Париж, записал «сорокапятку» с пресловутой песней «Брижит», будет в день моих именин подписывать свою пластинку в холле «Олимпии». Само собой разумеется, я должна быть там и подписывать вместе с ним, иначе какой в этом интерес?

Но чтобы я пошла туда — об этом не могло быть и речи. Я не сделала бы этого даже для себя самой, а для кого-то другого — и подавно. А потом, если уж я даю себе труд куда-то отправиться ради какого-то человека, то я хочу по крайней мере им гордиться. Я бы приехала с удовольствием, если бы Саша записал пластинку гитарной музыки, лучше всего — «Облака» Джанго Рейнардта, которые он великолепно играл. Но ради «Брижит, Брижит, приди, Брижит...»?

Более того, злоупотребление доверием зашло так далеко, что Саша поместил на конверте пластинки фотографию — мы вдвоем в «Мадраге», — не спросив моего согласия. Протестовать было поздно — конверт отпечатали тиражом в несколько тысяч экземпляров, и не стану же я судиться с человеком, с которым связала свою жизнь, — пусть даже по глупости. О том, что я буду в «Олимпии», уже везде было объявлено.

Я была в панике!

Неужели мне не выбраться из этой мышеловки?

Я думала о Жиле — как я восхищалась им, он такой

талантливый! Как бы мне хотелось оказаться в аналогичной ситуации с ним! Но Саша так красиво ухаживал за мной, а я вообще от природы несколько ленива и не люблю осложнений. Рэймон Вентура был сама любезность, Клод Дефф паясничал, а Бруно Кокатри выказывал искреннюю дружбу — все это вместе взятое сломило мое сопротивление. В день святой Бригитты я стояла рядом с Саша под стендом с нашими фотографиями в холле «Олимпии».

Нас окружали десятки фотографов и сотни зевак, просто любопытные, поклонники и хулители. Толпа, беспощадная толпа, я ненавижу ее, я от нее бегу, я ее боюсь. Лейтмотивом звучала пластинка Саша, слащавая и пошловатая песенка. Я чуть не плакала от злости! Мы подписывали конверты людям, покупавшим пластинки... Желая достойно увенчать этот незабываемый дебют, Саша принялся швырять конверты в ревущую толпу. Толпа взревела еще громче от возмущения, когда обнаружилось, что конверты пусты.

— Скупердяй! Шут гороховый! На черта нам твои конверты!

И конверты, подобно бумерангам, сыпались на наши головы. И все это сопровождалось грязными шуточками!

Мне хотелось умереть, исчезнуть, вообще не существовать, стать мыльным пузырем...

Говорили об этом по-разному — кто хорошо, кто плохо, но факт тот, что об этом говорили... на мой взгляд, чересчур много, на взгляд Саша — маловато. Однако он сделал себе имя и был «шансонье будущего», по словам одних газет, и «поющим рыцарем Прекрасной Дамы», по словам других.

23 октября Маргерит Дюрас опубликовала в «Франс-Обсерватер» великолепную статью «Королева Бардо».

Ирония судьбы — и просто ирония.

Ален вручил мне письмо от одного из директоров телекомпании: памятуя о прошлогоднем успехе, меня просили записать новую рождественскую передачу.

Я поняла, куда они клонят... в 1957 — Беко, в 1958 — Саша!

Ну уж нет!

Я делала эти передачи бесплатно, в качестве рождественского подарка телезрителям, так пусть мне дадут выбрать то, что доставит мне удовольствие.

Вот что я пожелала: станцевать па-де-де из балета «Сильвия» Лео Делиба с Мишелем Рено, первым танцовщиком «Опера».

Я не танцевала с 16 лет, а мне было 24! До записи оставалось два месяца. Работать мне предстояло без продыха.

Я с увлечением и азартом вновь взялась за классический танец.

Это было трудно, тяжело, порой у меня опускались руки.

Я выходила с репетиций измученная, разбитая, с окровавленными ногами, мышцы сводило судорогой, все мое тело болело, но сердце пело от гордости и счастья. Я победила и годы, и страхи. Я победила свое собственное тело. Я сделала свои мышцы подвижнее и эластичнее. Вновь обрела грацию движений рук и осанку, дающую равновесие. Мишель Рено оказался редкостным учителем, он ничего мне не спускал, ни единого сбоя, ни малейшей неточности, он хотел, чтобы я станцевала это па-де-де, как если бы была примой-балериной «Опера».

И мы станцевали!

Это был, наверное, лучший рождественский подарок и для меня, и для тех, кто смотрел нас по телевизору, потому что делалось это с любовью и только ради любви к удивительному искусству танца.

20 декабря Рэймон Картье опубликовал в «Пари-Матч» статью «Б.Б. — социальный феномен».

Медленно, но верно я перемещалась все выше в табели о рангах.

Пока у меня был досуг, во второй половине дня, если за мной не следовала машина с фоторепортерами, я шла поглазеть на витрины. Вот так однажды, проводя время за этим занятием в предместье Сент-Оноре, я замерла от восторга перед магазином, полным совершенно восхитительных платьев. Случай, которому все мы многим обязаны, привел меня в «Реал», и с тех пор эта фирма больше двадцати лет одевала меня как в жизни, так и на экране. Элен и Вилли Важе, Арлетта и Шарль Наста, брат и сестра, и деверь, и золовка, привили мне вкус, индивидуальность и непосредственную, чуть вызывающую элегантность, подходящую к моему характеру.

С их помощью через много лет я запустила свою серию моделей «Мадраг».

XIII

На пороге нового, 1959 года заговорили о «новой волне».

Целая плеяда молодых режиссеров и актеров открыла новый стиль в кинематографе. И я, хотя мне только-только стукнуло 24, почувствовала себя отодвинутой в ряды старых хрычей-рутинеров!

Годар, Трюффо, Шаброль ставили фильмы, в которых пульсировала свежая кровь. Забыты были все старые табу, в моду вошли достоверность и непосредственность, приправленные чуточкой провокации. Молодые актеры — Жерар Блен, Жан-Клод Бриали, Жак Шарье, Паскаль Пти, Жюльетта Меньель и Бернадетта Лаффон стали выразителями новых веяний.

«Бабетте», отправляющейся на войну, предстояло отразить этот неожиданный натиск.

Кристиан-Жак, при всем своем таланте, тоже попал в ряды рутинеров. К тому же, когда мне представили на одобрение сценарий, я просто взвыла от ужаса и отчаяния. Я-то представляла себе «Бабетту» очаровательным и забавным фильмом — и вдруг получаю пошлый и совершенно неинтересный сценарий! Я отослала его, перечеркнув все листы красным карандашом и написав везде на полях: «Дерьмо!» На последней странице, где должно было стоять одобрение за моей подписью, я крупно вывела: «Ни за что не буду сниматься в таком дерьме». И подписалась!

Какой был скандал!

Рауль Леви знал меня не первый день, он понимал: если я сказала «нет» — значит «нет». Окончательно и бесповоротно. С другой стороны, фильм делать надо. Все уже готово. Оплачены павильоны, приглашены актеры, установлены декорации. Вот тогда Рауль подумал о Жераре Ури, который в свой переходный период (он оставил актерскую карьеру, но еще не стал замечательным режиссером) был талантливым сценаристом и автором диалогов.

Рауль, Кристиан и Жерар работали день и ночь. Они создали новую Бабетту, простушку-победительницу, и собрали сценарий буквально из лоскутов, чтобы уже приглашенные актеры не выпадали из новой версии!

Через несколько дней, внимательно прочитав новую «Бабетту», я поставила на сценарии свою подпись с самыми теплыми словами в адрес Жерара Ури: если бы не он, фильм вряд ли бы состоялся, с моим участием уж точно!

Оставалось найти мне партнера. Я провела пробы на студии в

Сен-Морисе — с Пьером, Полем и Жаком в один день!

Лично мне из этой троицы больше всех нравился Жак Шарье.

Нравился он и Раулю Леви, и Кристиан-Жаку, и Жерару Ури.

Жак Шарье был самой яркой звездой «Обманщиков» Карне — этот фильм произвел фурор и в самом деле чертовски удался. Жак стал новым Жераром Филипом — романтический, красивый, хорошо воспитанный, кроме того — что требуется публике — сын полковника. Кто же мог лучше сыграть молодого французского офицера, влюбленного в Бабетту?

И повернулось колесо судьбы...

Весь день в студии я видела Жака, говорила с Жаком, репетировала с Жаком, обедала с Жаком, играла любовь с Жаком, а вечером, возвращаясь на Поль-Думер, заставала там Саша, ужинала с Саша, ложилась в постель с Саша... и во сне видела Жака!

У меня всегда был очень практичный, приземленный характер, хотя у тех, кто видел меня на экране, может создаться впечатление, что я легко теряю голову от любви. Я, однако, предпочитаю синицу в руках журавлю в небе. На данный момент моей опорой, моим сегодняшним днем, моим спутником был Саша. Но моей мечтой, идеалом, прекрасным принцем, моей утопией был Жак! Я разрывалась между двумя мужчинами, находя у каждого как преимущества, так и недостатки.

Это могло бы тянуться годы и годы, но...

В один прекрасный день Саша, понятия не имевший о моей слабости к Жаку, ликуя, сообщил мне, что он отправляется на гастроли! Его нимало не беспокоило, что я останусь одна, усталая, что я буду скучать! Он думал только о гастрольной поездке со всем своим штабом, да что там говорить — о славе!

Звездой в нашей чете внезапно стал он!

Он со своими контрактами, своими музыкантами, своим мозговым трестом, своим «паблик-рилейшн». Если бы он знал тогда, что его первой и главной «паблик-рилейшн» была я... Он понял это слишком поздно, когда все развеялось, как дым, ничего или почти ничего не осталось от славы! Не он один совершил эту ошибку.

Я говорю с такой уверенностью, потому что жизнь, как ни прискорбно за моих спутников, не раз доказывала, что это правда! Свой час славы познал каждый мужчина, что-то значивший в моей жизни, будь он певцом, актером, плейбоем, художником или скульптором. Каждый думал, что этой славой обязан только себе, и каждый был жестоко разочарован, видя, как она осеняет его преемника, а ему приходится вернуться к унылым будням. Я не говорю о Саша — он сумел, благодаря труду и

упорству, сохранить известность, которая, быть может, слишком легко ему досталась. Но его случай — исключительный, и мужество всегда достойно уважения.

Короче, Саша уехал, а я по-прежнему не любила оставаться вечерами одна. Ален Каре, мой поверенный во всех делах, подал мне идею устроить скромный ужин вдвоем с Жаком.

Прекрасная мысль!

Однако все в доме пропахло Саша; когда пришел Жак, я почувствовала это особенно остро. Но шампанское, музыка, пламя свечей и уютный огонь в камине помогли мне в конце концов уснуть в его объятиях под умиротворенными взглядами Клоуна и Гуапы.

Труден только первый шаг!

Коль скоро он сделан, почему бы не продолжить завтра, послезавтра и каждую ночь?

Но на душе у меня было неспокойно! Саша звонил мне в любое время дня и ночи. Я кидалась из спальни в гостиную, или наоборот, в спальню, если мы с Жаком были в гостиной, чтобы поговорить без помех. И все равно мой голос звучал фальшиво, я чувствовала себя нашкодившей девчонкой, произносила «люблю» шепотом, боясь, что Жак войдет или услышит разговор. Однажды он заставил меня снять трубку при нем, не понимая, что это за дурацкая комедия — он ведь думал, что я давным-давно порвала с Саша.

Что ж, так мне и надо!

Я сама туманными намеками дала ему это понять. Обстановка накалялась до крайности. Жак говорил, что это не шутки, что он любит меня, хочет на мне жениться и ему невыносимо делить меня с другим — хотя вообще-то никто меня не делил. Саша же находил меня немного странной, но думал, что это его отсутствие так угнетает меня. К тому же его концерты имели успех, ему было о чем рассказать, и мы говорили больше о нем, чем обо мне, что меня устраивало. Моя шаткая конструкция могла бы с грехом пополам продержаться еще довольно долго, но...

Однажды ночью, спокойно лежа в постели рядом с Жаком у себя на Поль-Думере, я вдруг услышала лифт.

Кто бы это мог быть в час ночи?

В мгновение ока я оказалась у двери спальни и заперла ее на ключ в тот самый момент, когда заскрипел ключ в замке входной двери. Потом раздался голос Саша: «Ау! Ау! Это я! Я приехал, это тебе сюрприз!»

Я стояла, оцепенев от ужаса, не зная, что делать, что сказать. Моя спальня оказалась настоящей западней!

Никакой возможности выйти — разве что прыгнуть из окна восьмого этажа!

Ошеломленный Жак торопливо натягивал брюки, решив, видимо, что хороший мордобой раз и навсегда прояснит ситуацию — а ему только и хотелось ясности и определенности!

Тем временем Саша по другую сторону дергал и тряс дверь спальни, не понимая, почему я не открываю ему и молчу. Я так сжимала в кулаке ключ, будто, стиснув его сильно-сильно, могла исчезнуть, как в сказке. Саша и Жак переговаривались через запертую дверь, колотя ее каждый со своей стороны, ругались, на чем свет стоит, сулили друг другу самые страшные казни и смерть без покаяния!

Жак хотел отобрать у меня ключ.

Куда мне было бороться с ним — я просто открыла окно и бросила ключ на улицу — а до земли было восемь этажей.

Прощай, мой ключик!

Мне казалось, что я вижу кошмарный сон, когда словно прирастаешь к земле, хочешь проснуться и никак не можешь. Мы с Жаком были надежно заперты, Саша орал и бесновался в прихожей, собаки лаяли, я плакала, все слилось в чудовищный гвалт. В конце концов слово взяла я, я умоляла Саша успокоиться и уйти, заклинала Жака отстать от Саша, я объясняла им обоим, что выбросила ключ в окно и на сегодня мы лишены возможности встретиться для выяснения отношений.

Наконец Саша ушел, оглушительно хлопнув дверью.

И наступила тишина!

Мы сидели бледные, ошарашенные, взвинченные до предела.

Мне ужасно хотелось залпом опрокинуть рюмку коньяка, но распроклятая дверь была заперта. Как же выйти? Позвонить консьержке!

И вот в два часа ночи я звоню мадам Аршамбо, моей доброй привратнице. Я прошу ее выйти на улицу с электрическим фонариком и попытаться найти ключ от моей спальни, который я по досадной неловкости уронила в окно.

Мадам Аршамбо, должно быть, решила, что я сошла с ума!

Но через четверть часа она принесла ключ и наконец освободила нас.

Разрыв свершился помимо моей воли, и столь любимая мною гармония сменилась подспудной драмой.

Я приходила на съемки с красными после бессонных ночей глазами. Саша... Жак... Жак... Саша... я сходила с ума от ревности одного и другого, оба подозревали меня, проверяли. Ах! Если бы я могла найти третьего!

Когда Саша окончательно съехал, на меня вдруг накатило

ощущение чудовищной пустоты и одиночества. Я загрустила.

А Жак, памятуя о той злополучной ночи, наотрез отказался ночевать на Поль-Думере. Он снял какую-то жалкую меблирашку, убогую, отвратительно мрачную и грязную, и постановил, что отныне только там мы будем проводить наши ночи любви.

Вот это додумался!

Чтобы я после дня изнурительной работы ночевала в комнатенке без удобств только ради удовольствия переспать с парнем, который мне, в сущности, нужен как прошлогодний снег!

Ну и влипла же я!

Какое-то время мы с Жаком играли в «кто кого перетянет»: каждый оставался на своих позициях. Я предлагала ему вечера в тепле и неге, он отказывался, предлагая мне в свою очередь прихватить в ближайшей закусочной два горячих сандвича с ветчиной и сыром, пару банок пива и расположиться у него, где-то в районе улицы Лежандр. Жуткий квартал!

К тому же слухи о моем разрыве с Саша уже просочились, а фоторепортеры быстро унюхали идиллию с Жаком и неотступно следовали за мной по пятам. Нам следовало быть очень осторожными. И я возвращалась по вечерам домой одна, преследуемая сворой «папарацци»! Маги согласилась пожить немного со мной, чтобы было не так грустно. Жак звонил мне ночи напролет, восхитительный, желанный, обворожительный, властный, влюбленный — о, как он умел очаровывать даже по телефону! Конечно же, я не устояла и однажды вечером отправилась к нему, прибегая к хитростям индейцев, чтобы сбить со следа прилипал-фотографов.

Скажу я вам, это была далеко не тысяча и одна ночь!

Но Жак был так трогателен... Он накрыл скромный ужин при свечах, прямо на полу, за неимением стола. На кровати были простыни, но подушки отсутствовали. Ванна оказалась сломана, работал только душ, да и то чем слабее была струя, тем теплее текла вода. На окнах — ни ставней, ни занавесок, и я почти до рассвета ворочалась в постели, тщетно пытаясь заснуть. Газовый фонарь светил мне прямо в лицо: мы были на втором этаже.

Говорят, женщина — лишь отражение, а ее зеркало — мужчина.

Уж не знаю, какое отражение я представляла собой, явившись на следующий день в студию, но мои девочки заохали и заахали при виде моей помятой, кислой физиономии. Они решили, что я больна или заболеваю, и ни в какую не верили мне, когда я сказала им: «Моя ночь у Жака». Мне всегда претил студенческий, богемный, сомнительный образ жизни, который иные молодые люди и девушки просто обожают. А Жак — он был на два года

младше меня — чувствовал себя в походных условиях как рыба в воде. После двух-трех подобных попыток, доказавших мое горячее желание и самым пагубным образом сказавшихся на моей физической и моральной форме, я решила, что с меня хватит.

Это было уж слишком: Маги, моя дублерша и подруга, вместе с Аленом ведет на Поль-Думере жизнь принцессы... Шампанское, поданные горничной деликатесы на ужин, чистое, выглаженное белье, горячая ванна, никаких забот по дому — а я тем временем ишачу целый день на съемках, а потом прихожу, вымотанная, в квартиру, где мне предстоит мыть вчерашнюю посуду, стелить постель, стирать, убирать и разогревать готовые ужины. От пива я опухала, от осточертевших сандвичей начала полнеть! Не говоря уже о грязном белье Жака — нет вернее средства убить любовь.

Почему же я должна выбирать худший вариант?

Только потому, что мужчина постановил, что он — глава!

Я начала жалеть о Саша.

Чаша моих Весов угрожающе колебалась. Я знала: мне стоит только щелкнуть пальцами, чтобы вернуть Саша. Но с другой стороны, я терпеть не могу подогретый суп, не верю, что можно склеить разбитую чашку, и никогда не пыталась вернуть любовь, если она прошла, — никогда в жизни!

А потом — бац! — желтые газетки запестрели заголовками о моем новом романе с героем-любовником, писаным красавцем, и таким, и сяким... Два-три раза нас застукали у входа в дом на Поль-Думере или в его машине, кадры из фильма дополнили картину!.. Саша на фотографии в углу газетной страницы, осунувшийся и постаревший, был в этом треугольнике робким, осмеянным воздыхателем, но он хотя бы сохранил свое достоинство.

Жаку досталась роль соблазнителя, неотразимого любовника!

А я — я была мерзавкой, потаскухой, безжалостной тварью, разбивающей сердца, пожирательницей мужчин, жестокосердной и корыстной шлюхой!

Если бы эти ослы только знали, что я, вместо того, чтобы предаваться разврату и изыскам сладострастия, стираю носки соблазнителя в холодной воде и подметаю грязный пол!..

Снова открылся сезон охоты на мою личную жизнь.

И все приемы были дозволены!

Я опять стала дичью среди охотников, не знающих жалости. Каждый мой шаг, каждое движение подстерегали, анализировали, фотографировали с помощью телеобъектива, марали, коверкали и осмеивали журналисты вроде Бувара и Эдгара Шнейдера.

В довершение всех бед заболела Маги. Острый приступ аппендицита.

В воскресенье я решила навестить ее в клинике — это было недалеко. Я приехала во время обеда и вошла в лифт вместе с какой-то санитаркой, которая несла поднос больному. Мы были одни.

И вдруг ее прорвало!

«Так это вы, а? Шлюха, гадина, тварь! Вы отнимаете мужчин у нас, бедных женщин! Так бы и изуродовала ваше личико! Так бы глаза и выцарапала!»

Она схватила вилку и кинулась на меня.

Я дико закричала и успела только закрыться руками; вилка вонзилась в рукав моего пальто. Я отбивалась ногами, не рискуя открыть лицо. Я чувствовала, как женщина дышит мне в волосы, она продолжала выкрикивать оскорбления и царапалась свободной рукой — вилка прочно запуталась в петлях вязаного рукава.

Мне казалось, что прошла целая вечность!

Наконец на пятом этаже я выскочила, ни жива ни мертва от страха, и рухнула без сил к ногам какой-то медсестры, а лифт медленно пополз дальше, на шестой. Я все рассказала директору клиники, предъявила вилку как вещественное доказательство и потребовала, чтобы эту санитарку нашли. Я была в ужасном состоянии, кричала, плакала, мне пришлось дать успокоительное.

Женщину, которая набросилась на меня в лифте, так и не разыскали: ее описание не подходило ни к одной из служащих клиники. Что до подноса, в этот час все обеды уже раздали, к тому же на шестом этаже палат с больными не было — только операционные!

Однако эта жуткая история на самом деле произошла со мной в апреле 1959 года, в клинике Пасси, на улице Николо.

Луи Маль в «Частной жизни» сделал эту сцену немного иначе: столкновение происходит в гидравлическом лифте моей многоэтажки, с уборщицей, рано утром. Вилка заменена половой щеткой, но символ агрессии остался.

* * *

Мама и папа были озадачены неожиданным поворотом событий. Они у меня всегда отставали на одного любовника. Считая, что я все еще с Саша, они узнали о Жаке из газеты, или из болтовни консьержки, или из пересудов друзей.

Нельзя сказать, чтобы эта перемена их огорчила: Саша им никогда особенно не нравился. По мнению мамы, он уж слишком пользовался ситуацией. А Жак, образец юноши из хорошей

французской семьи, сразу же покорил их обоих. Слово «замужество» не сходило у них с языка — но об этом не могло быть и речи!

Однако мое состояние оставляло желать лучшего. Настолько, что в один прекрасный день, 22 апреля 1959 года, Жак поговорил со мной с глазу на глаз, чтобы сообщить следующее: мне нужен ребенок. Он сказал это так серьезно, так многозначительно, так проникновенно!

Ребенок? Да он спятил!

Ничего подобного. Ребенок поможет мне обрести душевное равновесие, станет моей защитой, моей силой, внесет в мою жизнь любовь и нежность, которые мне так необходимы. Когда у меня появится мой малыш, моя жизнь, мое божество, плоть от моей плоти, все остальное покажется мне смешным, глупым и ничтожным. Он, Жак, любит меня безумно, хочет, чтобы я была счастлива, хочет, чтобы я стала его женой и родила ему ребенка.

Я очень хотела ему поверить. И я поверила!

Он сделал мне ребенка в тот день, со всей любовью, со всей решимостью, на которую способны только пылкая страсть юности и легкомыслие незрелого ума. Когда этот несвоевременный приступ безумия прошел, я опомнилась, высвободилась из его объятий и хотела было ринуться на всех парах в ванную. Но он меня не пустил! Он даже разозлился на меня за такую реакцию. Но я протрезвела, и я не хотела ребенка!

Нет, Боже, только не это! У меня была как раз середина цикла, самые опасные дни. Я ухитрилась вырваться, но Жак оказался проворнее и загородил дверь ванной!

Поздно, я уже ничего не смогу сделать.

С ума сойти... Я сойду с ума или уже сошла.

В моей жизни и без того много сложностей, если мне придется со всем справляться самой, да еще с ребенком на руках — хорошенькое дело! Жак, конечно, очень мил, но не могу сказать, чтобы я умирала от любви к нему, и разве заводят детей с человеком только потому, что он очень мил? Я обреченно покорилась неизбежности, изо всех сил сцепив за спиной скрещенные пальцы, уповая на чудо и стараясь больше об этом не думать — все равно теперь уже ничего не поделаешь, остается только ждать.

Я сказала «ничего не поделаешь»? Считайте, что это шутка.

Съемки «Бабетты» были в разгаре. Мы выехали в Сет на натуру. Еще никогда в жизни я не была такой отчаянной. Чего я только ни вытворяю в этом фильме: езжу верхом, летаю на самолете и прыгаю с парашютом, перемахиваю через стены и падаю ничком там и сям. Я просто изнемогала. Но если я

изнемогала, то как же чувствовал себя зародыш, угнездившийся, возможно, в моем животе? Уж я возьму его измором — в этом возрасте они, наверно, не очень-то выносливы.

Жак был со мной исключительно нежен. Погода стояла солнечная, и я любила по вечерам ужинать в знаменитых портовых бистро, где можно полакомиться ракушками, глядя на разноцветные рыбацкие лодочки, похожие на детские игрушки.

Жак повез меня в Монпелье, чтобы представить полковнику и мадам Шарье. Я познакомилась с большой, дружной и очень славной семьей, которая приняла меня довольно сдержанно.

Я была одновременно звездой со скандальной репутацией, молодой женщиной из хорошей семьи и партнершей Жака в «Бабетте». Ни о чем больше на сегодняшний день речи не было.

* * *

Вернувшись в Париж, я встревожилась не на шутку.

В сотый раз я изучала мой календарь, считала дни и так, и этак, высматривала малейшие признаки, но ничего не замечала. Теперь, вспоминая, в какой я была панике в те дни, я думаю, что нынешним женщинам безумно повезло: в их распоряжении — все современные противозачаточные средства. Не говоря уже о легальных абортах.

Любовь стала наконец удовольствием!

Но тогда все, что могло бы быть так прекрасно, было постоянно отравлено боязнью «залететь».

Я с ужасом вспоминала о печальном опыте своего последнего аборта. А ведь в июле мне предстояло сниматься в «Хотите танцевать со мной?». Я подписала контракт еще года два назад! Франсис Кон, продюсер «Парижанки», решил сделать с Мишелем Буароном еще один фильм и снова пригласить дуэт Анри Видаль — Брижит Бардо, так полюбившийся публике.

Я совсем потеряла голову.

Почему мысль о ребенке так пугала меня?

Этот вопрос я задавала себе не раз и не два. Я не чудовище, отнюдь! Я всегда рада согреть душу и сердце несчастным, одиноким, страдающим. Я беру на свое попечение старых, больных людей, несу за них ответственность. Так в чем же дело? Откуда этот утробный страх перед материнством?

Быть может, оттого, что я сама нуждалась в надежной опоре, но так и не нашла ее, я не чувствовала себя в силах дать жизнь существу, которое будет всецело зависеть от меня.

В студии, когда я сообщила девочкам, что у меня неделя

задержки, началась паника. Бедная Бабетта, в которую я должна была вдохнуть жизнь наперекор всем тревогам! Как бы то ни было, надо заканчивать фильм, такой веселый и очаровательный!

После съемок, тайком от Жака, я бегала по врачам.

Приговор был единогласным!

Я ждала ребенка.

Я не настолько любила Жака, чтобы всерьез думать о браке, о жизни с ним. Но и порывать с ним я ни за что не хотела, слишком боясь остаться одной с ребенком на руках — это был бы беспрецедентный скандал. Жак все еще ничего не знал, и я решила, что испробую все средства, чтобы попытаться прервать беременность, прежде чем скажу ему хоть слово. Я играла для него комедию, притворяясь беззаботной прелестницей, после того как весь день мне приходилось играть комедию перед камерами, и все это время на сердце у меня лежал такой тяжелый камень!

Я побывала у врачей, акушерок и шарлатанов всех мастей. Я предлагала баснословные суммы самым подозрительным лекарям.

Не нашлось никого, ни единого, кто согласился бы пойти на такой риск — сделать аборт «самой Брижит Бардо», ярчайшей звезде в зените славы: страшно подумать, что грозило тому или той, кто имел бы несчастье допустить оплошность.

Пора было Бабеттиной войне закончиться, так как началась моя.

Меня затошнило! От каждой сигареты подкатывало к горлу, от запаха грима мутило, от кухонных паров выворачивало наизнанку.

Жак просто обезумел от радости, узнав мою потрясающую новость.

Своим счастьем он заразил и меня. В конце концов, может быть, он и прав?

Ребенок — это прекрасно!

Я вечно была не в ладу с самой собой, отсюда все мои колебания, боязнь решений, неодолимый страх в момент, когда надо делать выбор. При этом я очень энергична, знаю, чего хочу от жизни, и если требуется рискнуть — не раздумывая рискую! Странный характер, с ним нелегко жить и окружающим, и мне самой. Я так никогда и не нашла надежного плеча, на которое могла бы по-настоящему опереться, меня мотало и бросало в разные стороны, и жизнь моя всегда зависела — зависит и по сей день — от руки, протянутой мне.

А я свою руку готовилась еще раз отдать «на радость и на горе», зная, что это не навсегда, ради сохранения чести семьи я должна была выйти замуж, и как можно скорее! Это было не так-

то просто: о любом бракосочетании мэрия должна дать оповещение как минимум за две недели. В таком случае тотчас примчится вся мировая пресса, поднимется немыслимый шум, гам и бедлам. Нет, никакой огласки, полная конфиденциальность!

Родители Жака и мои отчаянно пытались умилостивить муниципалитеты Монпелье, Парижа (XVI округа), Сен-Тропеза и Лувесьенна: мы должны были пожениться по месту проживания одного из нас или наших семей!

С помощью многочисленных пожертвований коммуне, на дом престарелых, на какой-то профсоюз, какую-то школу и так далее, папе удалось умаслить мэра Лувесьенна.

Обещания сыпались дождем.

Ни в коем случае никому не сообщать.

Ну конечно!

Только родственники, никого больше.

Само собой!

Мы не останемся здесь, приедем только накануне, поженимся быстро, тихо, без торжеств 18 июня 1959.

Разумеется!

В ожидании этого дня мы уехали в Сен-Тропез.

Жить в «Мадраге» я не захотела: не было ни сил, ни мужества заниматься домом, полным воспоминаний о совсем недавнем прошлом, так не похожем на мое настоящее. Мы устроились в рыбацком домике, у папы и мамы.

Жак то и дело ездил в Париж и обратно. Ему предстояло вскоре начать сниматься в фильме Рене Клемана «На ярком солнце» с Аленом Делоном и Мари Лафоре. Красивая история, немного детективная, немного любовная, действие происходит на яхте, где-то между Францией и Италией.

А я в это же время должна была сниматься в «Хотите танцевать со мной?» на студии «Викторина» в Ницце! Ну и профессия у нас, актеров, немного же нам придется бывать вместе! Я плакала одна по вечерам в постели, в красивом и уютном домике, принадлежавшем моей семье. Дада, моя Дада была здесь, как всегда, колдовала над своими кастрюльками, стараясь приготовить мне что-нибудь лакомое. А я могла есть только макароны!

Бабулю, год назад овдовевшую, мама полностью взяла на свое попечение; теперь она с утра до вечера шила или вязала и панически боялась только одного — как бы я не простудилась, не подняла что-нибудь тяжелое, а то, не дай Бог, потеряю ребенка. Благодаря моей глупости, Бабуле скоро предстояло стать прабабушкой, и она была мне за это бесконечно признательна.

Чего нельзя было сказать о маме: нелегко вот так сразу состариться, сделавшись бабушкой в 47 лет!

Что до папы, он, как всегда, шел по жизни «с розой в руке» и был очень рад, что появится малыш, которому он сможет читать свои стихи и рассказывать сказки про госпожу Сороку.

Я смотрела в будущее по-картезиански трезвым и холодным взглядом. Квартира на Поль-Думере слишком мала для нас с ребенком! Придется переехать, нанять няню, этакую замечательную девушку, которая сможет полностью заменять меня. Где только найти сию редкую птичку?

А фильм? Пока будут идти съемки, меня разнесет, это станет заметно, как же быть? Какого выбрать врача, когда наступит время рожать? И где я буду рожать, при том, что вся мировая пресса следует за мной по пятам?

И главное, главное — моя жизнь только начинается, я не хочу быть пленницей ребенка и мужа, которого я недостаточно люблю! Какой же мужчина возьмет меня потом с ребенкам на руках? Я не успела еще выйти замуж, а уже думала о другой жизни с другим мужчиной...

Тем временем Жак в Париже записал очень миленькую пластинку на 45 оборотов, четыре чудесные песни о любви, которые он от всего сердца посвятил мне. Решительно, стоило мужчине сойтись со мной, как он начинал петь, это становилось прискорбной привычкой. Мурлыканье глупостей под музыку — не лучший способ материально обеспечить появление на свет младенца. Снова мне одной придется взять на себя все бытовые проблемы, связанные с этим нежеланным событием. Да чем же я прогневила Господа, чем заслужила такое наказание? Я вела сказочную жизнь, заставляла страдать мужчин, делала, что хотела, не считаясь с обществом.

Таперь я расплачивалась по счетам — и каким счетам!!!

Из окна моей комнаты на втором этаже нашего домика, прячась за приоткрытыми ставнями, я высматривала фоторепортеров, зная, что они прячутся вдоль всей улицы Мизерикорд, представлявшей собой извилистый переулок. Они поджидали меня, притаившись за машиной, за дверью гаража, за углом, за стеной, даже на крыше домика напротив они лежали на желобчатой черепице, скрытые ветвями бугенвилии. Все телеобъективы, похожие на готовые к бою базуки, целились в меня, чтобы малейшее мое движение было растиражировано на первых полосах газет всего мира.

Я не решалась выйти из дома.

Я впадала в депрессию!

Погода стояла прекрасная, мне хотелось искупаться, побегать

на солнышке и вообще насладиться всем, чем этот дивный и еще не изгаженный курорт мог меня порадовать, — а мне приходилось в мои 24 года сидеть в четырех стенах за закрытыми ставнями и считать по пальцам часы в обществе бабушки, Дада и мамы.

Но тропезианцы — настоящие — потрясающий народ!

Узнав от мамы, что я пребываю в заточении из-за фотографов, они погнали их взашей из поселка: доблестный поход возглавили Феликс-Портовый, Франсуа из «Эскинада» и другие. Ну просто Вифлеем, вставший на защиту младенца Иисуса в яслях.

Спасибо им от всего сердца!

Они так славно поработали, что я смогла наконец жить почти нормальной жизнью до 17 июня, когда мы все отправились в Лувесьенн — маленькими группками, чтобы не привлекать внимания.

XIV

Дом в Лувесьенне напоминал большой притихший улей. Мы разговаривали вполголоса, боясь, как бы нас не услышали с улицы. Родители Жака и мои, а также Бабуля, Дада, Мижану, Ален, Клоун и Гуапа — все были в сборе.

Рано утром папа отправился в мэрию узнать, все ли в порядке. Бедняга: ничего не подозревая, он наткнулся на две сотни фоторепортеров и журналистов со всего света! Папа вернулся белый как полотно и убитым голосом сообщил нам новость. Паршивец мэр за солидное вознаграждение согласился не давать оповещения, а потом продал, должно быть, на вес золота, информацию, которую, кроме близких, знал он один.

Нас поставили перед свершившимся фактом.

Или мы не женимся...

Или мы женимся, но в каких условиях...

Между двумя пробежками в ванную комнату я лихорадочно размышляла. Мне было муторно в прямом и переносном смысле этого слова. Поистине, мир полон мрази! Мама увела меня в свою комнату:

— Брижит, что ты решила? Ты в силах выдержать весь этот шабаш?

— Нет, мама. Я отсюда не выйду, пусть меня оставят в покое, я больше не могу.

Мама как мой официальный представитель передала это всем.

Жак поднялся ко мне, взвинченный донельзя. Я лежала на маминой кровати.

— Неужели ты не можешь не капризничать хотя бы в день твоей свадьбы? Мои родители здесь, я здесь, все тебя ждут, ты должна выйти, я люблю тебя, люблю...

— Я делаю то, что я хочу. А я не хочу — и точка!

— Брижит, научись наконец владеть собой, ты повинуешься только инстинктам, стань же взрослой, будь мужественной, пора уже знать, чего тебе хочется!

— Чего мне хочется?..

Скок! — я скрылась в ванной. Согнувшись над раковиной, я размышляла. Если я не выйду замуж сегодня, то не выйду за Жака уже никогда, то есть стану матерью-одиночкой. А хотела я опоры, мне был нужен мужчина, муж, а не ребенок, которого придется растить совсем одной... Я была на втором месяце, если не удалось сделать аборт на первом, то теперь и речи быть не может, значит?..

Значит, отступать некуда! Вперед!

Бедный папа — он-то собирался вести меня под руку к господину мэру. Такой потасовки свет еще не видывал! Нам пришлось работать кулаками и ногами, пробивая себе дорогу сквозь толпу фоторепортеров.

Они влезли на столы, заполонили зал, опрокинули стулья и кресла для новобрачных. Я плакала, уткнувшись в плечо Жака, который понял — увы, слишком поздно! — свою ошибку. Когда снимки появились в газетах, подписи гласили, что я прижала его к своей груди, произнося традиционное «да», и лишилась чувств от волнения.

При поддержке полковника Шарье папа припомнил свой командный голос капитана 155-го Альпийского пехотного полка. Они заявили, что, если все фотографы не очистят без промедления зал бракосочетаний, — никакой церемонии не будет; что здесь не цирк и не ярмарочное гулянье, что мы собрались для того, чтобы заключить брак, и имеем право требовать, чтобы это исключительно важное для всех нас событие свершилось, как и полагается в таких случаях, в спокойной обстановке и при надлежащем уважении.

Спешно прибывшие жандармы помогли им затолкать репортеров в соседнее помещение, но, когда хотели закрыть двери, мэр напомнил, что бракосочетание — событие публичное и брак, заключенный «при закрытых дверях», будет считаться недействительным и незаконным. Жандармы пришли на выручку, закрыв все выходы живым барьером, чтобы не дать фотографам снова броситься на нас. Вот в такой кошмарной, накаленной до предела обстановке, перед измученными и напуганными родителями, под непрестанными вспышками фотоаппаратов нас с Жаком объявили мужем и женой. Слезы застилали мне глаза, Жак весь позеленел — а ведь мы были самой обыкновенной молодой красивой парой, мы хотели немногого — всего лишь спокойствия, уединения и доброжелательности. Но нам было в этом отказано.

Я надела в тот день миткалевое платье в бело-розовую клеточку, сшитое в «Реале». Именно оно дало толчок разнузданной моде. А я, между прочим, выбрала это платье за его простоту и нежную расцветку. Сама того не желая, 18 июня 1959 года я ввела в моду миткаль в клетку, длинные светлые волосы и мягкие туфельки без каблуков.

Наша маленькая усадьба в Лувесьенне, где мама приготовила обед на свежем воздухе, чтобы отпраздновать свадьбу, превратилась в филиал ООН. Представители всех стран, вооруженные фотоаппаратами, устроили настоящую осаду. Они карабкались на окна, сидели верхом на воротах, стояли на

крышах своих легковушек и грузовиков. Папа висел на телефоне, призывая на помощь полицию, а я тем временем висела на цепочке унитаза, меня выворачивало наизнанку, я извергала наружу свое нутро, сердце, душу, жизнь.

Надолго мне запомнится день моей свадьбы! Нет уж, лучше тысячу раз остаться старой девой, одинокой женщиной, матерью-одиночкой, одиночкой, мать вашу...

* * *

Наше свадебное путешествие началось с того, что мы бегом, чтобы оторваться от фоторепортеров на перроне Лионского вокзала, отправились назад в Сен-Рафаэль.

Мне пришлось покинуть славный домик моих родителей и укрыться в «Мадраге». Но и там было одно дерево, особенно удобное в качестве насеста для фотографов — мы окрестили его «мудацким деревом»! Жак, я, Ален и собаки — какой покой после прошлого лета! Но дом, окруженный со всех сторон телеобъективами, был холодным, нежилым и чужим.

Жан-Клод Симон — в то время он еще был моим другом — посоветовал мне завести сторожевую собаку, настоящую, предназначенную исключительно для охраны.

Я была на вилле одна, когда хозяин питомника привез мне Капи.

Мое приобретение оказалось помесью волка с шакалом: пес показывал зубы, а глаза у него горели угрожающим желтым огнем.

Держать при себе хозяина питомника вечно я не могла, рискуя навлечь на себя справедливый гнев моего мужа. Настал момент, когда мне пришлось поблагодарить его и остаться наедине с «моим» псом. Я спустила его с поводка, чтобы он без помех ознакомился со «своей» территорией. После этого, спокойно направившись к комнатам для гостей — они у меня выходят прямо к морю и совершенно изолированы от остальной части дома, — я услышала леденящее кровь рычание. Капи бежал за мной — вот-вот бросится, клыки оскалены, глаза полыхают жутким желтым пламенем!

Я задала стрекача и едва успела запереться в первой же комнате: оскаленная морда «моего Капи» уже тыкалась в стеклянную дверь. Вот так попалась в собственную ловушку. Я нашептывала псу нежности, которых хватило бы, чтоб ввести во грех всех мужчин от сотворения мира, но все было тщетно — «мой Капи» и не думал идти на мировую, доказывая мне, что он и

в самом деле грозный страж, которого на ласковые слова не купишь. А клыки у этого зверюги были огромные.

Я смертельно боялась, и он это чувствовал!

Потом я узнала, что ни в коем случае нельзя показывать животным свой страх: они все понимают и пользуются вашей слабостью. Надо искать взаимопонимания на равных или показать, что вы сильнее, поставить себя хозяином, чтобы вас сразу зауважали.

Но в тот момент я была в безвыходном положении — одна, в изолированной комнате, даже без телефона, во власти чересчур ретивого сторожа, за которого я заплатила небольшое состояние и который меня первую изловил.

Освободил меня Жан-Клод Симон.

Он зашел в «Мадраг» — он вообще был здесь частым гостем, — дал псу хорошего пинка в зад, и тот убежал, поджав хвост. За свою долгую жизнь Капи перекусал всех моих друзей, включая и министра связи: когда тот однажды любезно нанес мне визит, мне же пришлось мазать ему ляжку меркурохромом!

Зато мой пес не раз и не два великодушно позволял ворам обчистить виллу «Мадраг». Вероятно, Капи был воспитан в духе социализма и полагал, что каждый имеет право на свою долю пирога.

Пока я изображала из себя укротительницу, небывалый газетный циклон обрушился на весь мир. Моя свадьба с Жаком красовалась на первых полосах мировой прессы. А поскольку не бывает дыма без огня, то кое-кто уже намекал на ожидающееся счастливое событие. Этого было достаточно, чтобы всполошить создателей моего будущего фильма.

А потом вмешалась еще и страховая компания.

На обязательном перед каждыми съемками медицинском осмотре мы, помимо всестороннего обследования, были обязаны, положа руку на сердце, письменно ответить на ряд вопросов и подписаться. Женщин, в частности, спрашивали: «Беременны ли вы в настоящий момент?» и «Когда были последние месячные?» Как назло, этот осмотр я проходила не в Париже, у моего доброго доктора Гийома, а в Ницце, у незнакомого и ужасно недоверчивого врача, который так и сверлил меня глазами поверх очков. Когда я ответила «нет» на первый вопрос, «две недели назад» на второй и подписалась, этот проклятый лекарь потребовал, чтобы я сделала пипи в баночку для анализа «на крольчиху» — это-де самый надежный тест на беременность.

Я попалась!

Но я не могу сделать пипи, мне совсем не хочется! Он хотел вставить мне катетер... я завопила, как резаная, что пришла на

обычный общий осмотр и не желаю, чтобы во мне ковырялись. С какой стати?! Я и так прекрасно знаю, что не беременна! Но отвязаться от него не удалось: он велел мне сделать анализ в лаборатории Сен-Тропеза и срочно выслать ему результат, иначе — никакой страховки и никакого фильма!

До чего же сложная штука жизнь!

Вернулся Жак. Выглядел он неважно.

Мы оспаривали друг у друга право блевать с утра пораньше, просыпаясь.

Ну-ка, я — бе-е! А теперь ты — бе-е-е! Какой дуэт!

Случалось, что мы совпадали и вместе бросались очертя голову вон из спальни; кто успевал первым, тот имел право выбора: унитаз или раковина. Это было очаровательно!

У мужчины, когда он ждет ребенка, обычно не бывает подобных симптомов. Он что-то от меня скрывал или сам еще не знал, что чем-то болен!

Когда я почувствовала себя лучше, Танина Отре, художница по костюмам, стала примерять мне платья, в которых я должна была сниматься в «Хотите танцевать со мной?». Прелестные миткалевые платья, зеленые с белым, сшитые в «Реале», были сильно обужены в талии или же завлекательно облегали фигуру. Я просила портниху не слишком утягивать меня, оставить «слабину», говорила, что в августе будет очень жарко, а мне нужно чувствовать себя свободно. Еще я велела пришить по два ряда крючков на талии, а на примерках как могла надувала живот.

Будто мало было мне всех этих проблем, со студии позвонили и потребовали мой анализ. Ах ты! Я и забыла про пипи!

Да что они себе думают? Что я вот так запросто отдам мое пипи невесть кому? Невесть для чего? Да сколько можно талдычить про это пипи, заколебали уже! Тогда мне позвонила мама Ольга и очень серьезно, очень официально заявила: или я сделаю пипи в баночку, или фильма не будет. Она знала заранее результат этого треклятого теста, но хотела быть честной до конца, предпочитая потонуть вместе с кораблем — то есть, в данном случае, со мной.

А наш кораблик мал, да удал, по морям, по волнам он плывет назло штормам!

Я пошла к Дада.

— Дада, ты можешь кое-что для меня сделать?..

— Конеш-ш-шно, Бриззи, всо, что хош-ш-шешь, сокр-ррр-ровище мое.

— Дада, сделай пипи в чистую баночку из-под варенья и дай ее мне.

— ???

— Дада, пожалуйста, ни о чем не спрашивай, это очень важно.

И я отнесла в лабораторию пипи моей Дада, наклеив на банку ярлычок «Брижит Бардо».

В тот же день Жака увезли на «скорой» с острым приступом аппендицита.

После операции я поселилась при нем в клинике.

Мы провели неделю нашего медового месяца в больничной палате, тоскуя о гондолах Венеции и кокосовых пальмах Багамских островов. Это были последние дни нашей совместной жизни. Выздоровев, Жак должен был сразу же уехать на съемки «На ярком солнце». А мне предстояло отправиться в Ниццу и приняться, пока я еще в силах, за «Хотите танцевать со мной?».

Мне казалось, что я не переживу разлуки.

Я останусь одна с моей тайной ношей, с грузом ответственности за очень важный для меня фильм, с сознанием своей ущербности и физической слабости, а мой муж будет где-то далеко, на яхте, недосягаемый даже по телефону — от этой мысли я плакала с утра до вечера и с вечера до утра. Жак, понимая мою проблему, переживал подлинную нравственную трагедию. Глубоко тронутый моим искренним смятением, он решил, сославшись на свою болезнь, расторгнуть контракт.

Это была огромная жертва.

Ради того чтобы быть со мной, он отказался от потрясающей роли — Морис Роне, сыграв ее, стал звездой. Жак пожертвовал для меня признанием, которое так необходимо всякому актеру.

Препоручив «Мадраг» и Капи заботам четы итальянцев-садовников Анджело и Анны, которые приходили каждый день на несколько часов, мы — Ален, Жак, Клоун, Гуапа и я — отправились в Кань-сюр-Мер, где в горах для меня на время съемок был арендован красивый старый дом, принадлежавший одному антиквару.

Франсис Кон, очень славный человек, которого все с моей легкой руки звали Фран-Фран (такая у меня причуда — удваивать первый слог имен всех моих друзей), постарался устроить мне самый теплый прием. Шампанское, лососина, икра, экзотические фрукты... все полакомились, кроме меня — меня по-прежнему мутило.

В тот же день я узнала, что мой секрет был секретом полишинеля. Вся съемочная группа уже знала о моем «бремени», и Франсис был мне бесконечно благодарен за то, что я скрыла этот факт от страховой компании, дав ему возможность снять фильм или, по крайней мере, начать его.

Я, как известно, недавно вышла замуж и вполне могла забеременеть в ходе съемок — в этом случае страховой компании возразить было нечего. Главное — чтобы в начале все было законно.

Уф! У меня появились союзники!

Мама Ольга говорила, что я сумасшедшая, но отважная. Глаза у нее были на мокром месте, когда она прижимала меня к груди, выражая надежду, что все пройдет хорошо. Она сообщила, что проведет со мной несколько дней, чтобы помочь мне освоиться и в случае чего поддержать. У Жака, когда он это услышал, судорожно сжались челюсти. Он не любил ее, находил навязчивой и считал, что его присутствия мне было бы вполне достаточно.

Мне надоели все эти зануды, и я отправилась в одиночку обследовать дом — очень милый, только битком набитый.

Случайно забредя на кухню, я столкнулась нос к носу с какой-то женщиной, которая улыбнулась мне и сказала, что зовут ее Муся, а здесь она для того, чтобы побаловать меня и помочь вести дом. Наконец-то я почувствовала, что встретила человека настоящего, простого, умного, доброго и бескорыстного. Я уселась рядом с женщиной, и мне сразу стало хорошо.

В сущности, я могла быть самой собой только с людьми, которые делали вид, будто не знают, кто я такая. Завязался разговор, я отдыхала душой, и время шло незаметно. Пахло супом, провансальскими травками, свеженатертым полом — это все были запахи Муси.

* * *

Я слишком поздно поняла, какую чудовищную совершила ошибку, не дав Жаку уехать на съемки «На ярком солнце», помешав ему жить своей жизнью актера, жизнью мужчины, лишив его возможности чувствовать себя на равных со мной.

Напряженность между ним и мамой Ольгой все усиливалась. Мы с ним не были больше близки — ни в каком смысле. Мой день был заполнен: Ален, почта, счета, заказы, Муся, меню, покупки, обеды и ужины, телефон, хозяйство и мама Ольга, проекты, сценарий, поправки в диалогах и т.д. Мы с Жаком оставались вдвоем только поздно вечером, когда я с ног валилась от усталости, а он, сильный молодой мужчина в отличной форме, надеялся наконец хоть что-то получить от женщины, которая засыпала, вместо того чтобы отвечать на его вполне естественные желания!

Жак сходил с ума, и я его понимала, но можно было понять и

меня! Мы с ним говорили на разных языках. Мы постепенно становились врагами, я от него устала, избегала его, чувствуя себя в безопасности лишь в присутствии третьего лица.

Накануне первого съемочного дня, 14 июля, мы все — Ольга, Ален, Муся, Жак и я — собрались на террасе и любовались великолепным фейерверком, озарившим разноцветными огнями Бухту Ангелов.

Мы пили шампанское, пахло Провансом, было тепло, пели цикады, Клоун и Гуапа, напуганные шумом и треском, забились под шезлонги. Было так чудесно, и я чувствовала себя почти хорошо, несмотря на волнение, которое всегда предшествует началу съемок.

Именно этот час почти полного блаженства выбрала мама Ольга, чтобы сообщить мне новость: Рауль Леви и Анри-Жорж Клузо предлагают мне с мая 1960 года сниматься в фильме «Истина». Это будет потрясающая картина, а трагедийная роль сделает из меня признанную актрису, станет венцом моей карьеры.

Я почувствовала, как Жак весь сжался!

Ольга все перечисляла, как много может дать мне такой фильм. Я молчала, чувствуя, что неотвратимо надвигающаяся гроза вот-вот разразится. А между тем мне хотелось броситься Ольге на шею, сказать ей, как я счастлива, что мне сделано подобное предложение, хотелось пуститься в пляс, расцеловать всех подряд, хотелось смеяться. Меня переполняла гордость: такие люди, как Клузо и Леви, оказывали мне доверие.

Жак вскочил.

Лицо его было непроницаемо, кулаки сжаты. Он принялся ходить взад и вперед; его силуэт маячил на пламенеющем фоне фейерверка, как китайская тень. Вдруг он круто повернулся к Ольге:

— Могли бы, между прочим, поинтересоваться моим мнением... или я вообще не в счет в ваших играх, я, ее муж! Отныне я решаю, будет моя жена сниматься или не будет! А я не желаю, чтобы она снималась, скоро ей придется заниматься ребенком. Этот фильм — последний, в котором я разрешаю ей сняться, и то потому, что она подписала контракт еще до того, как я вошел в ее жизнь!

Я остолбенела. У нас сейчас не бальзаковские времена!

Да как у этого паршивца, который к тому же еще и живет за мой счет, язык повернулся сказать такое моему импресарио при моем секретаре, моей горничной и при мне самой! Ну нет, этого я не потерплю.

От ярости я не могла вымолвить ни слова, только

чувствовала, как во мне поднимается жар и волна нечеловеческой силы захлестывает меня. Я готова была убить этого супермена на содержании, который посмел так нагло сунуть свой нос в мои дела, не имеющие к нему никакого отношения. Ольга, однако, сумела сохранить спокойствие, по крайней мере внешне. Она не понимает, сказала она, с какой стати он позволяет себе вмешиваться в деловой разговор, который касается только ее и меня.

Услышав это, Жак кинулся на нее, схватил за горло и заорал:

— Я ее муж, старая сводня, теперь я решаю, а я говорю нет, нет и нет, никогда, хватит этой курочке нести для вас золотые яички, кончено, кончено, кончено!

Ален уже разнимал их, умоляя Жака успокоиться, а Муся взяла меня за руку, чувствуя, что я вот-вот кинусь в драку.

Я действительно вскочила, словно подброшенная пружиной, и влепила Жаку пару великолепных пощечин — они были достойны лучших кадров мирового кино. То, что началось потом, не поддается описанию. Это был выплеск ярости, слишком долго копившейся и в нем, и во мне, бурное выяснение отношений, неуправляемая стихия; то, что мы делали, что кричали друг другу, не укладывалось ни в какие рамки дозволенного. Нам двоим было тесно в этом доме, на этой земле, один из нас должен был уйти навсегда. Я ненавидела его, ненавидела себя за то, что вышла за него замуж, что ношу от него ребенка, я хотела умереть, сдохнуть, сгинуть, а его оставить на всю жизнь калекой, импотентом. Я изо всех сил била его коленом между ног, я наказывала то, что сильнее всего меня унизило.

Ольга, Ален и Муся общими усилиями и с большим трудом растащили нас.

Я лежала на полу с распухшим лицом и адской болью в низу живота. Может быть, у меня будет выкидыш! Ольга позвонила маме и сказала, чтобы она приезжала немедленно, что мне очень плохо и что я вышла замуж за буйного психа.

Жак убрался — и слава Богу!

Срочно вызвали врача, он сделал мне какие-то противоспазматические уколы. А мне так хотелось, чтобы случился выкидыш! Но я была до того измучена, обессилена, растеряна, растерзана, что безропотно покорилась тем, кто занялся мною после этого незабываемого кошмара. Разумеется, о съемках назавтра не могло быть и речи.

Недурное начало!

С первого же дня у съемочной группы были сплошные проблемы, и все из-за меня. Но разве это моя вина? О, нет!

Сразу же приехала мама. Теперь со мной были обе мои мамы.

Они окружили меня любовью и заботой, Ален и Муся неусыпно присматривали за мной, Клоун и Гуапа ластились ко мне, и благодаря всему этому я довольно быстро поправилась.

Снималась я, как будто глотала лекарство, необходимое, чтобы выжить. Я думала о Жаке. Несмотря ни на что, я чувствовала свою зависимость от него: он был отцом ребенка, который спал — и наверняка видел кошмарные сны — у меня в животе.

Жак был мне нужен!

Куда он уехал? Он не давал о себе знать.

Мои мамы советовали мне развестись как можно скорее — они помогут мне растить ребенка, а я, по крайней мере, буду хозяйкой своей жизни, своих поступков, своего будущего. А не то я превращусь со временем в подобие матери Жака, зачуханную домохозяйку с пятью или шестью детишками на руках, покорную рабу большой семьи, главой которой будет он!

Они были правы! Но тогда зачем я выходила замуж?

Зачем? Зачем? Зачем вообще все?

Однажды вечером Жак позвонил. Он был в Париже, пытался возобновить свой контракт, но слишком поздно. Морис Роне уже снимался. У Жака был грустный голос: он в отчаянии, он совсем потерял голову, он любит меня, он так несчастлив! Я чувствовала то же самое. Мы снова хотели быть вместе. Узнав об этом, мама и Ольга чуть не упали в обморок. Они ни минуты не останутся в этом доме, если вернется Жак! Они не меняют свои мнения, как перчатки, и если у меня семь пятниц на неделе, то на них я могу больше не рассчитывать. Я сама делаю себя несчастной. Мне нравится устраивать драмы и создавать сложности, и так далее, весь набор аргументов оскорбленных в лучших чувствах матерей.

Жак вернулся, обе мамы уехали.

Я была счастлива. Он тоже. В доме стало весело, собаки заливались радостным лаем, съемки шли прекрасно. Все было лучше некуда в этом лучшем из возможных миров!

Все дни напролет я танцевала. В объятиях Дарио Морено раз за разом отплясывала румбу — «Тибидибиди-пой-пой!» Порхала в руках Филиппа Нико под неистовый рок-н-ролл. Обольщала Анри Видаля, зазывно покачивая бедрами в ритме супер-эротического блюза.

Танцы до упаду!

Мой четвертый месяц становился заметным. Плоский животик слегка округлился, но самым красноречивым свидетельством были мои груди. Каждые три дня костюмерше приходилось покупать мне бюстгальтер на номер больше. Я походила на подушку, перетянутую посередине! На меня

надевали корсет, чтобы талия оставалась тонкой. Но от этого жировые валики расходились кверху и книзу!

Я уже начала бояться, что произведу на свет урода с деформированной головой или с увечьями от моих прыжков, скачков и пируэтов.

* * *

Однажды ко мне на студию неожиданно явились Рауль Леви и Клузо! Слава Богу, Жака как раз не было! Клузо собирался провести август в «Золотом Голубе», в Сен-Поль-де-Ванс, и хотел поближе со мной познакомиться. Рауль был, как всегда, непринужденный, красивый, уверенный в себе и в своих планах. «Истина» будет их шедевром, а я — ее героиней, вот и все!

Клузо, которого я никогда раньше не видела, произвел на меня странное впечатление. В этом маленьком сухощавом человечке отталкивающей наружности была какая-то волнующая чертовщинка.

Драма разразилась, когда Жак застал меня за чтением наброска «Истины». Он сказал, что запрещает мне раз и навсегда даже думать о съемках в подобном фильме, что этой ролью я опозорю себя перед ним, его семьей, нашим будущим ребенком, что мое падение разрушит все, в чем он видит залог нашей счастливой совместной жизни.

Я не переношу приказов, особенно лишенных смысла; у меня сразу возникает желание побороть то, что я называю идиотизмом в чистом виде. От диктаторских замашек Жака я стервенела.

Я решила не обращать на него внимания!

Это было хуже всего.

Жак разорвал сценарий, приказал Алену не подзывать меня к телефону, если позвонят Леви или Клузо. Он запер меня в моей комнате — чтобы дать мне время одуматься. Окна выходили на крутой склон очень глубокой ложбины. Нечего и пытаться выпрыгнуть в окно — надо быть самоубийцей. Эта мысль манила меня как выход из кошмара: будто бы я проснусь где-то в другом месте. Внезапно навалилась страшная усталость. Что я делаю, зачем так отчаянно борюсь с жизнью, с Жаком, с самой собой, со своим положением замужней беременной женщины, со своим безнадежным одиночеством, с этим фильмом — рискованной затеей, которая скорее всего принесет мне только новые проблемы?

У меня началась истерика!

Я выла, колотила себя кулаками по животу, бросалась на

мебель — пусть я покалечусь, зато убью наконец растущее во мне существо, которое слишком дорого мне достается.

В ящике моего ночного столика лежали таблетки гарденала. Доктор дал мне их на случай бессонницы или нервного перенапряжения после чересчур утомительных дней. Я приняла всю упаковку. Понимала ли я тогда, что делаю? Я хотела освободиться — во всех смыслах этого слова, — хотела и не могла, будучи пленницей моего слишком известного имени и собственнической натуры Жака, пленницей моего тела, моего лица, моего ребенка.

Если б меня не вырвало, я бы, наверное, умерла. Неделю я была между жизнью и смертью, почти не приходила в сознание. Меня мучили почечные колики, так как из-за большой дозы снотворного отказали почки — таков был печальный результат моего безрассудного поступка.

Съемки прекратились, журналисты не дремали, скандала удалось избежать только благодаря находчивости продюсера: он объявил, что я вывихнула ногу, чересчур увлекшись акробатическими танцами.

Жак снова куда-то исчез. Дедетта, Ален и Муся дни и ночи просиживали у моей постели. Приехала Ольга. Добрый доктор Гийом явился осмотреть меня по поручению страховой компании. Я так хотела уйти навсегда — а вместо этого снова оказалась в центре всеобщего внимания. Возможно, некоторые из вас, читая эти строки, пожмут плечами и сочтут меня легкомысленной, трусливой, избалованной дурой. Но, может быть, другие, более тонко чувствующие, поймут все мое тогдашнее смятение и не осудят меня.

Работа над фильмом тем временем с грехом пополам продолжалась; снимали сцены с Сильвией Лопес, игравшей мою соперницу. Я выкарабкалась, но была еще очень слаба.

Мама ежедневно справлялась обо мне, но приехать ухаживать за мной не рискнула, боясь столкнуться нос к носу с Жаком, которого она люто возненавидела. Ольга привела в порядок мои дела, устроила встречи с Клузо и Раулем. Из чистой бравады я подписала контракт, связавший меня с «Истиной». Я не знала, буду ли еще когда-нибудь в силах сниматься, но, дав согласие, я доказала, что по-прежнему сама за себя решаю.

Время от времени я виделась с Клузо.

Он пытался докопаться до сути моего характера, чтобы легче было потом со мной работать. От его визитов мне становилось не по себе. Клузо, несмотря на свой золотушный вид, среди снимавшихся у него актрис слыл донжуаном. Ни одной он не пропустил. Тот факт, что я ждала ребенка, нимало его не смущал,

напротив, он находил в этом особую прелесть! Меня от него воротило, и мне было безумно трудно осаживать его. Но после того как он наконец все понял, я провела с ним удивительные часы. Мне открылись его интеллект, способность тонко чувствовать, ясность ума, его макиавеллизм, садизм, но и его ранимость, одиночество, боль; я лучше узнала его, но по-прежнему остерегалась. Это был человек со знаком «минус», пребывающий в постоянном конфликте с самим собой и с окружающим миром. От него исходило какое-то странное обаяние, ощущение разрушительной силы.

Лазурный берег, оккупированный августовскими курортниками, превратился в отстойник пошлости. Кемпинги бляшками экземы уродовали, оскверняли прекрасный пейзаж. Потная толпа, масса обожженных солнцем и еще белесых тел заполонила все уголки края, бывшего некогда вотчиной принцев и аристократии, которых дорвавшаяся до власти посредственность изгнала навсегда.

Мне хотелось купаться и загорать. Но было слишком много народу, особенно в воскресенье, мой единственный свободный день.

Опять приехал Жак.

Он, можно сказать, вернулся в лоно семьи, но его возвращение не вызвало такой эйфории, как в первый раз. Я знала, что он опять уйдет, как только я признаюсь ему, что подписала контракт на «Истину».

Для меня он был здесь на временном постое.

От наших отношений комнатной температуры мне было мало радости; правда, в одно из воскресений он взял напрокат катер и увез меня на целый день в открытое море. Мой живот походил на маленький буек, и казалось, будто я держусь за него, лежа на спине посреди безбрежного и пустынного соленого простора. Я нежилась в воде, обсыхала на солнце и чувствовала, как пробуждается жизнь в моей крови, в моем сердце, в моем теле. Как необходимо мне солнце, чтобы выжить, как я люблю море и его тайну!

Я очень привязалась к Мусе и спросила ее, не согласится ли она стать няней моего ребенка. Она уже хорошо знала меня, привыкла к царившей в доме атмосфере «кабаре», была в курсе моих отношений с Жаком. Только славяне, мудрые и веселые от природы, способны на такую снисходительность к людям. Муся могла бы быть моей матерью, могла быть и матерью моему ребенку. Она с радостью согласилась, и у меня камень с души свалился. С Аленом они отлично ладили; было даже решено, что, когда Муся будет брать выходной, заменять ее будет Ален:

никому постороннему он не желал передавать право заниматься младенцем.

Я была на пятом месяце!

Стало немножко заметно, какое там немножко — очень! Талия у меня теперь отсутствовала, снимать можно было только «американским» планом, не ниже «роскошеств», как говорил оператор Луи Не, старый мальчишка с парижских улиц, милейший человек и бог кадрирования.

Для меня фильм был почти закончен. Самое время! И тут страшное, невероятное известие ошеломило меня: Сильвия Лопес умерла от лейкемии. Никакие врачи, никакое лечение — ничего не помогло. Она угасла, оставив мир скорбеть по ее красоте и молодости, по ее любви к жизни и умению добиваться своего. Я не могла не думать, что умереть следовало бы мне, мне, я-то ведь все для этого сделала!

Ее смерть сама по себе была трагедией, а для фильма она обернулась настоящей катастрофой. Чтобы поскорее закончить со мной, Буарон оставил съемки нескольких сцен с Сильвией на потом. Теперь надо было начинать все заново с другой актрисой, и это при том, что я могла сниматься только крупным планом! Часть декораций сохранили для съемок с новой актрисой, но контракт съемочной группы со студией «Викторина» истекал. Надо было освободить место следующему фильму, и все остатки наших декораций громоздились на одной площадке. Тем временем Франсис Кон лихорадочно искал актрису, которая могла бы войти в роль без долгой подготовки.

Это оказалась Доун Адамс!

Все сцены были сняты заново с ней! Снимали на скорую руку, чаще всего крупным планом, декораций не хватало, а мой живот занимал слишком много места. Мне казалось, что я вижу Сильвию, а передо мной была Доун. Мы с Анри Видалем очень тяжело переживали скоропостижную, такую неожиданную кончину Сильвии. Но таков уж закон зрелищ — может случиться несчастье, а продолжать все равно надо.

Я заехала ненадолго в «Мадраг», затем вернулась в Париж и стала готовиться к переезду в квартиру побольше, как вдруг соседка сообщила мне, что продает свою. Вот удача! Квартира прямо-таки свалилась с неба — я смогу видеть ребенка, когда захочу, стоит только пересечь лестничную площадку. Он будет жить там с Мусей, а я останусь в своей квартире, которую так люблю.

Уже было решено, что я, как все знаменитости, буду рожать в клинике «Бельведер», самом снобистском медицинском учреждении того времени.

А пока я потихоньку обустраивала квартиру, которая должна была стать детской. Там была комнатка, предназначенная младенцу, и огромная, залитая солнцем гостиная с пятью окнами, которую я отвела под кабинет Жака. Мне очень нравилось обставлять и украшать квартиру.

И вот в этот-то период относительного спокойствия Жака призвали в армию. Эта новость нас потрясла! Его отсрочка кончилась, ее не продлили. Служба в то время продолжалась от двух с половиной до трех лет. Шла война в Алжире.

Я о военной службе была столько наслышана, как будто прошла ее сама! Я знала об уставах, знала, что надо пить, чтобы нашли белок в моче, знала, как глупы унтер-офицеры и какая все это чудовищная потеря времени. Я становилась воинствующей антимилитаристкой.

Как я буду жить целых три года без Жака?

Конец его актерской карьере, его далеко идущим планам, честолюбивым замыслам о собственных фильмах.

Мы плакали, обнявшись, но наши слезы никого не трогали, кроме нас самих, и безотказный капкан административного аппарата уже захлопывался за молодостью, которую один из множества мужчин должен был отдать Франции. Жак поклялся мне, что его комиссуют, он добьется этого ради меня, пусть даже ценой своего здоровья, репутации, жизни, в конце концов.

Он уехал 20 сентября, в день выхода на экраны фильма «Бабетта идет на войну». На афишах Жак выглядел бравым лейтенантом. С горделивым видом он красовался рядом со мной на стенах парижских домов и рекламных страницах газет.

«Бабетта» одержала победу в своей войне и была благосклонно принята публикой: зрителей привлекла чета, которую составили мы с Жаком, окружавшие нас великолепные актеры — Франсис Бланш и другие — и вся эта потешная и уморительная война не всерьез.

А Жак после уик-энда, проведенного в вооруженных силах, вернулся мрачнее тучи. В то время освободиться от воинской службы было практически невозможно, и никакие липовые оправдания всерьез не принимались. Годными признавались самые хилые из сынов Франции. Для пополнения рядов армии мобилизовали даже тех, кто прежде был комиссован; иные воинские части, наверно, представляли собой отряды рахитиков.

Жак делал ставку на психическую неуравновешенность. При его действительно подавленном настроении он без труда сыграл нервную депрессию, отказался принимать пищу и демонстрировал полное равнодушие ко всем и вся. Однако его физическую форму признали более чем удовлетворительной, и

приговор был: «годен к службе». Жак твердо решил с помощью своего друга доктора Д. подорвать свое здоровье до мобилизации, лишь бы избежать кошмара, которым была для него и для меня эта бесконечная и бессмысленная воинская служба. Он ничего не ел, накачивался кофе, перестал спать и поглощал в огромных количествах успокоительные и снотворные. Он исхудал, глаза ввалились и покраснели. Его нервозность внушала опасения! Слабость не поддавалась описанию! Доктор Д. мерил ему артериальное давление — оно неуклонно падало!

Я перепугалась не на шутку!

Я жила с тяжело больным человеком, больным от нашего бесчеловечного общества, которое забирает себе лучшее, а отдает только худшее. Я видела, что Жак разрушает себя, что он, возможно, навсегда погубит свое здоровье, и все это ради того, чтобы быть со мной, когда родится наш ребенок.

На Поль-Думере мы жили, как в клетке.

Правда, мы могли пересечь лестничную площадку и оказаться в квартире напротив: еще несколько квадратных метров, где можно было ходить кругами. Но мы просто сходили с ума! Как же я понимаю зверей, на всю жизнь запертых в тесных клетушках зоопарка!

Доктор Лаэннек, которому предстояло принимать у меня роды, посоветовал мне по часу в день гулять пешком в Булонском лесу с моими собаками. Но как я могла совершать этот необходимый моцион, когда десятки набитых фоторепортерами машин поджидали меня возле дома?

Я заказала у Дессанжа парики — черные, с короткой стрижкой. Выйти я никуда не могла и видела, как с каждым днем увеличивается темная полоса у корней моих светлых волос. Нужно было покраситься, но сама я никак не могла этого сделать. Весь день я ходила в парике, это было очень мило, но вечером, сняв его, я видела мои волосы, слипшиеся, тусклые, как слежавшееся сено, видела широкую каштановую полосу у корней и чувствовала себя грязной, неухоженной. А ведь длинные густые волосы всегда были моей гордостью, моим лучшим украшением. Что же я с ними сделала?

Наконец однажды я решила, надев черный парик, поехать к Дессанжу подправить свою красоту. Жак увидел меня, когда я была уже готова, на выходе, в сопровождении Алена, который должен был вести машину.

— Куда это ты?

— К Дессанжу, покрасить волосы.

— Я тебе запрещаю!

— Могу я узнать, на каком основании?

— Запрещаю, и все!

— А я все равно поеду!

Затрещина обрушилась на меня, прежде чем я успела среагировать. Моя голова так стукнулась о дверцу стенного шкафа, что та треснула: в резьбе осталась пробоина! От такого нокаута я отключилась на несколько секунд и упала. К счастью, парик немного смягчил удар. Я чувствовала, как сильно стучит что-то в виске в ритме ударов моего сердца. Очень долго я лежала, скорчившись, на полу и плакала.

Мне хотелось умереть.

Ален долго ждал меня внизу, окруженный фоторепортерами, которые тоже меня ждали. Я все не выходила; наконец он поднялся и нашел меня лежащей в позе зародыша, с синяком у виска, в полной прострации.

Моя правая почка оказалась слабой, а в результате падения весь вес младенца пришелся на нее, и в тот же вечер меня скрутил приступ нестерпимой боли. Срочно вызванный доктор решил было, что это выкидыш, но потом определил почечную колику. Я так мучилась, что пришлось вколоть мне морфий. Я и не знала, как хорошо бывает после этого чудодейственного укола. Боль утихла, и я парила в каком-то удивительном мире.

Какие все вокруг красивые, какие все добрые!

Даже Жак, склонившийся надо мной, казался мне сказочным существом. Мама, ласковая, встревоженная, смачивала мне губы ледяной водой, а я бредила, купаясь в беспредельном блаженстве, я пугала всех, а сама обретала покой.

Это был первый из длинной череды приступов, не отпускавших меня до рождения Николя.

На Жака после той памятной затрещины я смотрела с ненавистью. Теперь я ждала его отъезда в армию — пусть остается там как можно дольше и оставит меня в покое! Треснувшая дверца стенного шкафа постоянно напоминала мне о его несдержанности, злобе и дурацком желании непременно настоять на своем. Я мечтала, чтобы с ним обошлись так же безжалостно, как он обошелся со мной.

Однако в день отъезда я увидела, какой он жалкий, слабый, подавленный, — и гадких мыслей как не бывало: я думала только о предстоящих ему мучениях и о том, что я останусь одна, соломенной вдовой с ребенком на руках по милости незыблемой и беспощадной административной системы.

Меня опять мучили почечные колики.

Оставшись дома одна, я звонила, как правило, среди ночи, ассистентке доктора Лаэннека. Она делала мне спасительный укол морфия и засыпала рядом со мной в кресле, а я тем

временем купалась в море блаженства. Доктор Лаэннек, встревоженный частыми приступами, испугался, что морфий может сильно навредить ребенку. Он осмотрел меня дома и посоветовал сделать рентген, чтобы определить положение плода. К рентгенологу необходимо было поехать: не мог же он прийти ко мне со всей своей аппаратурой!

Я по-прежнему жила в осаде: фоторепортеры обосновались в бистро на первом этаже, у консьержек в соседних домах и даже сняли за бешеные деньги комнаты для прислуги в доме напротив, окна которых смотрели прямо в мою гостиную. Я жила с закрытыми окнами и задернутыми шторами, боясь всех и вся. И вот теперь надо выйти и встретить армию противника лицом к лицу! Как быть?

Черный парик и очки преобразили меня; Алена я попросила ждать меня с машиной у черного хода соседнего дома. Я не знала, что длинные языки сделали свое дело и мой план тайного выхода перестал быть тайной благодаря щедрым чаевым.

Ничего не подозревая, я вышла к дому 28 по улице Виталь.

Машины там не оказалось. Я была одна!

Но недолго! Двое репортеров ринулись на меня... я услышала щелканье фотоаппаратов... они взяли меня в тиски, прижали к стене, я была в их власти... Я заметалась, толкнула дверь черного хода, из которой только что вышла, и попыталась убежать от них. Не тут-то было: они кинулись за мной, втиснули в узкий, вонючий проход, заставленный мусорными ящиками. Как загнанный зверь, я попыталась проскочить между ними и бачками для отбросов. Они толкали меня, загораживали дорогу, и кончилось тем, что я упала прямо в огромный ящик из зеленого пластика, который стоял открытый, точно только и ждал меня. Итак, я, с животом, лежу в помойке.

Вот он — сенсационный кадр, за которым они охотились столько дней!

Потом я узнала, что Алена с машиной трое репортеров остановили в начале улицы, создав чудовищную пробку; они не освобождали путь, дожидаясь, пока я, сфотографированная, окруженная, униженная, буду у них в руках. В съехавшем набок парике, с пылающим лицом, я вернулась в свое ненадежное убежище на восьмом этаже. Нет, решительно, жизнь ополчилась против меня. При всем моем горячем желании, я не могла больше бороться. Я проглотила все снотворные таблетки, какие попались под руку. Те, что оставил Жак, и те, что выписал мне доктор.

Ну и натворила же я беды! Врачи сменяли друг друга у моей постели и никак не могли вытащить меня из глубокой комы. Перевезти меня в клинику было невозможно: на другой день о

случившемся кричали бы газеты всего мира.

А тем временем Жак, ничего об этом не зная, был доставлен в госпиталь Валь-де-Грас в безнадежном состоянии: он вскрыл себе вены.

Мой час еще не пробил... я пришла в себя.

Что-то слишком часто я уходила за грань и возвращалась. Я смертельно устала. Я не поднималась с постели и терпела адские мучения от почечных колик. Не успела я прийти в себя от комы после снотворного, как меня отправили в нирвану с помощью морфия.

Мне было очень плохо, и только морфий приносил подлинное облегчение. Доктор Лаэннек категорически заявил, что больше не станет колоть мне морфий, что это слишком вредно для ребенка и для меня.

Беда не приходит одна.

10 декабря 1959 года меня разбудил телефонный звонок.

Фран-Фран неживым голосом сообщил мне, что умер Анри Видаль.

Что?

Я завопила в трубку, забилась в истерике!

Я кричала, рыдая, нет, это невозможно, я не хочу, нет, только не он, такой живой, такой веселый, молодой, красивый.

Нет, нет, не-е-е-ет...

Мой крик перешел в жалобный вой обиженной собаки. И все же «да» — Анри Видаль умер ночью от сердечного приступа в возрасте 40 лет. Это было так несправедливо, так ужасно, что я не могла, не хотела в это поверить. Судьба ополчилась на фильм «Хотите танцевать со мной?». Сперва умерла Сильвия Лопес, такая молодая и красивая, теперь Анри Видаль, в расцвете лет и совершенно здоровый! Бог любит троицу, третьей буду я — я умру при родах. Смилуйся, Господи! Смилуйся!

Я накинула пальто прямо на ночную рубашку и велела Алену немедленно везти меня на остров Сен-Луи, в отель «Ламбер», где жил Анри. Плевать мне на всю эту мразь, на репортеров, которые кружат, как стервятники, поджидая добычу. Мой близкий друг, мой замечательный партнер умер, и пусть мир рушится ко всем чертям, а я помчусь к нему, даже если уже ничем не могу ему помочь.

Эта смерть глубоко потрясла меня.

Неделю спустя, 18 декабря 1959, как пышные похороны, состоялась премьера «Хотите танцевать со мной?». На экраны Парижа вышел не фильм — кладбище!

Жак вернулся с временным освобождением от военной службы — это вместо ордена Почетного легиона.

Он был не в себе. Я тоже.

Мы уехали за город попытаться успокоить наши смятенные души. В Фешроле нашлась чудесная сельская гостиница под названием «Приют Святого Антония». Держала ее Жермена, женщина, много в жизни повидавшая. Там я познакомилась с изумительным врачом, гинекологом, доктором Буане. Его простота покорила меня. Роды, считал он, это вполне естественно, и бояться их вовсе не надо. Это ведь тот же любовный акт, только наоборот! Он так умел успокоить, представить все в прекрасном свете! Я тут же решила оставить Лаэннека с его светскими замашками ради Буане с его простотой и «спокойной силой»! За месяц до родов менять врача! Дружный вопль мамы, Ольги, Алена и иже с ними.

Только Жак понял и одобрил меня. Буане и его подключил к моей подготовке к родам без боли! Он объяснил ему, как все будет происходить, чтобы Жак как бы непосредственно участвовал в рождении своего ребенка.

Осада дома на Поль-Думере продолжалась, это стало пострашнее осады Алезии. Не осталось ни одного окна напротив, где не маячил бы телеобъектив, нацеленный на наши окна. Каждый входивший или выходивший слеп от вспышек.

Мне было жаль жильцов дома!

Бедняги, прежде жившие так спокойно, теперь не могли избежать вторжения одержимой толпы в их частную жизнь.

При таком наплыве международной прессы я никак не смогла бы в день X отправиться в клинику, не вызвав вопящего, щелкающего, ужасающего шквала; поэтому моему врачу, моим родителям, моему мужу и мне самой пришлось срочно принимать меры. Надо было оборудовать родильную в квартире напротив, предназначенной для будущего ребенка. Я связалась с одной специализировавшейся на этом фирмой, и нам доставили множество орудий пыток, достойных Инквизиции. Стены и пол покрыли белым пластиком! Посреди всего этого сверкал сталью стол для роженицы. Были там баллоны с кислородом и азотом, каждый — с манометром, гибкой трубкой и страшной резиновой маской. В стальных коробках прятались маленькие, но острые инструменты. Весь этот устрашающий арсенал был достоин самых жутких фильмов о Франкенштейне. Чтобы не пугать меня заранее, мне не разрешали входить в квартиру напротив. Как все запретное, она манила меня; на какие только уловки я не пускалась, чтобы хоть что-нибудь увидеть сквозь стеклянные квадратики двери, которая тоже была затянута занавеской из белого пластика.

Я купила колыбель, шкафчик для пеленок, подогреватели для

бутылочек и английскую прогулочную коляску с большими колесами. Но детского приданого у меня было немного. Бабуля связала какие-то белые вещички — я хотела, чтобы все было только белое. Они были такие крошечные, даже не верилось, что в них поместится ребенок. Одна фирма, выпускающая товары для новорожденных, должна была прислать мне в подарок все необходимое ребенку в первые годы жизни.

Муся приехала и царила во владениях напротив.

Клоун и Гуапа выражали свое недоумение непрестанным лаем. Клоун, более нервный, чем Гуапа, бросался на каждого, кто проходил из одной квартиры в другую — двери были все время открыты, потому что ходили туда-сюда часто. Пришлось отдать Клоуна доктору Д., который его очень любил. Я была в отчаянии от разлуки с моим милым коккером!

Решительно, роды становились тяжким испытанием.

Я воспринимала их как расплату с жизнью и твердо решила: если выживу, никогда больше не стану рабой младенца, который так глупо переворачивает жизнь женщины, плохо ко всему этому подготовленной.

Жак выглядел очень усталым, подавленным: испытание, которое он так трагически пережил, оставило на нем неизгладимый отпечаток на всю жизнь. Как сказал бы мой Бум, «ваши дела следуют за вами по пятам».

Рождество и Новый год прошли у нас совсем не празднично. Только мама прислала мне украшенную елочку, чтобы соблюсти традиции. Проходя мимо нее, я думала: «Пахнет елкой!»

Комментарии излишни!

XV

Вечером 10 января мы — Жак, Гуапа и я — смотрели телевизор. Было воскресенье, у горничной выходной. Я лежала и наслаждалась записью «Кармен» в «Опера» с Джейн Родс и оркестром Роберто Бенци. «Кармен» вошла в репертуар «Опера» — это было событие. Я думала о Бизе, о том, как осчастливило бы его это признание через столько лет после его кончины, и тут вдруг острая боль пронзила мне живот. Согнувшись пополам, задыхаясь, я едва смогла пересохшими губами сказать Жаку: «Началось».

— Что началось? — спросил он.

До чего же мужчины порой туго соображают, дебилы, да и только!

Под звуки знаменитой арии тореодора, которого ждала любовь, я корчилась в спазмах такой силы, что мой организм, конечно же, не мог долго этого выдержать.

Я стану третьей жертвой фильма «Хотите танцевать со мной?».

Я умру, умру, я точно знаю.

Я далеко не неженка. Мне выпадали в жизни физические страдания, боли на грани переносимого, и всегда я с ними справлялась. Но то, что терзало мой живот, раздирало меня надвое в ту ночь с десяти до двух часов, находится за пределом всех человеческих возможностей. Как смертельно раненный зверь, я кричала, не сдерживаясь, не воспринимая ничего, кроме своей боли. Схватки следовали одна за другой так часто, что я не успевала перевести дыхание.

Я была вся мокрая от пота, волосы слиплись, меня рвало, изо рта текла слюна.

Доктор Буане пытался заставить меня дышать, как дышат щенята, часто-часто и очень сильно выдыхая, но куда там! Другая жизнь во мне, которая была сильнее моей собственной, пользовалась моим телом, чтобы принять свою судьбу. Я стала ненужным коконом, который куколка покидает, превращаясь в бабочку.

Меня перенесли на холодный стол, на который женщину кладут, как на жертвенный алтарь. Я видела склоненные головы между моих широко раздвинутых ног. Я всегда была так стыдлива во всем, что касалось секретов моего тела, тайны моего пола — и вот я лежу, разодранная, окровавленная, словно туша на прилавке мясника, и меня потрошат глазами все эти незнакомцы. Какая-то могучая сила заставляла меня исторгать наружу меня

самое. Испуская нечеловеческие вопли, я выталкивала все мое нутро. Я вдыхала отвратительный запах, было душно, анестезиолог дал мне маску, я задохнулась. Дьявольский перезвон колокольчиков у меня в ушах слился с криком новорожденного, перед глазами замелькали желтые и синие полосы, как будто вдалеке я слышала бесконечно повторяющееся эхо, и мое тело охватил огонь где-то в самой его сердцевине.

Все, я умираю...

Я открыла глаза и удивилась, что не вижу больше горы раздувшейся до предела плоти, которой был мой живот, а на ее месте оказалось что-то теплое — я подумала, что это резиновая грелка. Сильно жгло между ног. Я чувствовала только эту боль, той, другой больше не было! «Резиновая грелка» тихонько шевелилась на моем животе — это было первое знакомство с жизнью.

Когда я, окончательно придя в себя, поняла, что это мой ребенок тихонько ползет по мне, я завопила, умоляя, чтобы его забрали: я носила его девять кошмарных месяцев, я не хочу его видеть! Мне сказали, что у меня мальчик!

— Мне все равно, я не хочу его видеть!

И я забилась в истерике...

Это может показаться крайностью, согласна, это нелепо, не укладывается в голове.

И все же я отвергала моего ребенка!

Он был как опухоль, которая питалась мною, которую я носила в моем разбухшем теле и так долго ждала благословенной минуты, когда меня наконец избавят от нее. И вот теперь, после того как кошмар достиг высшей точки, я должна была на всю оставшуюся жизнь взвалить на себя то, что принесло мне столько мук.

Нет, ни за что, лучше умереть!

Бедный малыш, ни в чем не повинный, спал свою первую ночь, отвергнутый, далеко от меня, за лестничной площадкой и двумя крепко запертыми дверями. Наверное, я была чудовищем!

Внизу авеню Поль-Думер превратилось в бушующее живое море. Сотни и сотни фоторепортеров и журналистов остановили уличное движение. Все обсуждали рождение самого знаменитого ребенка года. Моя консьержка, мадам Аршамбо, заперла подъезд на ключ, предварительно выгнав половой щеткой самых ловких репортеров, притаившихся на каждом этаже. Вызванный папой полицейский нес охрану у дома, как будто это была резиденция главы государства. Автомобильные гудки на все лады скандировали добрые пожелания в мой адрес от всей этой безымянной и гордой за меня толпы!

С самого утра дом был заполнен цветами; тысячи букетов, и великолепных, и скромных, прислали все, кто меня любил, и богатые, и бедные. От Робера Оссейна мне доставили восхитительную золоченую клетку, в которой пели две прелестные канарейки.

Жак, взволнованный, потрясенный до глубины души, смотрел на меня с бесконечной благодарностью. Радость переполняла его: родился сын, долгожданный, желанный. Из нас двоих у него был сильнее развит материнский инстинкт! Он принес мне белый сверток, из которого чуть виднелась негроидная головка зачинщика всей этой суматохи. Надо было кормить. Нет, нет и нет! Я не дам грудь.

Я не стану уродоваться, принуждая себя к бесчеловечной роли кормилицы. Теперь есть всякие смеси, близкие к материнскому молоку. Пусть Муся разбирается как знает! Мои огромные, раздувшиеся груди болели, молоко промочило насквозь рубашку и простыни, но я не хотела больше отдавать ни капли себя — пусть даже лопну!

Мы с Жаком заранее выбрали два имени — «Мари» для девочки, «Николя» для мальчика. И вот Жак отправился в мэрию, чтобы зарегистрировать рождение «Николя-Жака Шарье», 11 января 1960 года.

Пройти незамеченным через бушующую толпу, которая осаждала дом, ему не удалось. Фотографы щелкали наперебой, газетчики приглашали его выпить шампанского в бистро на первом этаже. Это была буря, почти революция. Репортеры из каждой газеты, от каждого агентства умоляли Жака впустить их, чтобы сфотографировать меня с младенцем. Их было не меньше тысячи!

Жак вернулся, зарегистрировав Николя, с пачкой газет под мышкой. На всех первых полосах красовались заголовки: «Б.Б. — мама». «У Жака и Брижит замечательный сын 3 кг 500».

«Самый знаменитый в мире младенец родился сегодня ночью в 2 часа 10 мин.». «Самая знаменитая и самая красивая в мире мать произвела на свет сына!» и т.д., и т.п.

Телеграммы приходили со всего света.

Ален отвечал на звонки, бегал вниз за цветами, возвращался, нагруженный подарками, письмами, всевозможными посланиями. Это было сущее безумие, всеобщее ликование тех, кого случившееся не касалось. Для моих близких это была небольшая драма. Для меня — катастрофа.

Из фирмы «Приданое для новорожденных» доставили огромные коробки, полные распашонок, ползунков, пинеток, пальтишек. Фирма сделала широкий жест в рекламных целях:

подарила от моего имени полное детское приданое всем младенцам, родившимся в этот день, 11 января, во всех парижских больницах и родильных домах. Потом, когда меня благодарили все эти неизвестные мне люди, я узнала, что именами «Николя» и «Брижит» назвали множество детей, появившихся на свет в тот день в Париже.

Жером Бриерр, директор «Юнифранс-Фильм» — я знала его с моих первых шагов в кино и всецело ему доверяла, — ухитрился, прорвавшись через кордоны полиции, секретаря и родных, войти ко мне в комнату. Это был старый приятель, он мог видеть меня в любом состоянии! И Бог свидетель, в тот день он увидел меня в состоянии полного физического и морального упадка. После непременных поздравлений и пожеланий он объяснил мне, зачем он здесь. Мне нельзя оставаться в осаде сотен фоторепортеров! Жильцы уже жаловались, а журналисты могли в любой момент ворваться в дом силой, чтобы заполучить наконец снимок века!

Он, Жером, если я не против, предлагал свои услуги, чтобы сделать серию фотографий Николя со мной и с Жаком. Мы просмотрим их вместе, отбракуем плохие, оставим только удачные, и он бесплатно раздаст их всем желающим, тем самым избавив меня от необходимости принимать тысячу фотографов одного за другим, без всякой гарантии качества снимков. Я лежала, измученная, некрасивая, грязная, мои простыни и волосы были еще липкими от пота, которым я обливалась, терпя ту чудовищную боль, — и я уже должна была платить дань своей славе: позировать фотографу!

Нет, что же это за профессия у меня! Я не на съемочной площадке!

Мама и Бабуля попытались уговорить Жерома. Надо подождать немного, день или два! Но Жером недаром был профессионалом! Злоба дня превыше всего! Если я не сфотографируюсь, может разразиться скандал: какой-нибудь паршивец рано или поздно найдет способ проникнуть ко мне, сделает черт знает какие снимки и пустит их в продажу.

Скрепя сердце я согласилась.

Мама помогла мне дойти до ванной, а тем временем Бабуля, Ивоннетта, моя горничная, и Дада превращали мою спальню в покои королевы. Сухой шампунь распушил мои слипшиеся волосы, и я долго расчесывала их щеткой. Принять ванну было нельзя, я обошлась очень горячим душем и сразу почувствовала себя отдохнувшей. Мама принесла мне прелестную ночную сорочку, голубую, шелковую с кружевами. Я кое-как подкрасилась и подобрала самые непослушные пряди моей шевелюры, соорудив небрежную, но очаровательную прическу, — она послужила

основой так называемой «кислой капусты», модной в последующие годы.

Жером сделал сотни фотографий этой молодой женщины и ее младенца! Снял он и несколько кадров с Жаком. Повсюду были цветы, на простынях тоже — голубые. Эти снимки облетели весь мир, появились на обложках всех крупных журналов, на первых полосах всех газет и осчастливили каждого, кто их видел.

Кристина Гуз-Реналь не могла иметь детей.

Я выбрала ее в крестные. Она подарит Николя преданную и надежную любовь, заменит ему мать на время моих отлучек и обеспечит воспитание в строгости, но не без юмора.

Пьера Лазареффа можно было назвать моим отцом в области прессы. Ведь именно благодаря многочисленным обложкам и фотографиям в «ELLE» я сделала свои первые шаги в кино! Крестным отцом я выбрала его. Он подарит Николя знания, мужество, житейскую мудрость, размах и, быть может, успех в жизни. Но Пьер был евреем, оказалось, что ему нельзя держать Николя над купелью, и Алену пришлось заменить его. Католическая религия не перестает удивлять меня своими запретами. Ей не хватает великодушия, снисходительности, подлинной широты.

Сейчас, когда я пишу эти строки, мне 47 лет, и у меня есть мой чудный двадцатидвухлетний Николя, моя семья и моя опора. Я люблю его больше всех на свете. Я благодарю небо за этот дар и ни за какие сокровища не согласилась бы прожить свою жизнь заново без него — но тогда!

* * *

Вымотанные всеми этими событиями, мы с Жаком решили забыть о них в горах, в снегу. Николя оставили под бдительным оком Муси и Алена, зная, что Бабуля в новом качестве прабабушки присмотрит за всем и мама в новом качестве бабушки-наседки не упустит из виду ни единой мелочи. Мы уехали в направлении Альп, сами толком не зная, куда.

Избегая больших отелей, жаждущих рекламной шумихи, мы то и дело набредали на маленькие гостиницы-шале для спортсменов! После изрядного количества пересадок с одного подъемника на другой мы наконец обнаружили затерянный в горах маленький домик, увенчанный шапкой снега, уединенный и с виду такой тихий!

Канатные дороги кончали работать в 4 часа, и, когда мы поняли нашу ошибку, бежать было поздно. Мы оказались в

окружении оравы буянов-горцев. О, узнать-то они нас узнали! Но для них мы были такие же люди, как все! Хлоп! — я получаю звонкий шлепок пониже спины.

Бардо? Ну и что с того, что ты Бардо?

Мы любим горы, и видали мы всех этих Бардо в белых тапочках!

Бац! — дружеский тычок кулаком в спину! И тут же к нам лезут чокнуться полными стаканами какого-то «вырви-глаза»! И плевать все хотели на Бардо и Шарье, на Шарье и Бардо! Дети орали, взрослые топали по полу тяжеленными башмаками, громко разговаривали, грубо хохотали. Я робко осведомилась, где моя комната. «Да нет тут никаких комнат, все спят в общем зале!» Я посмотрела на Жака, как приговоренный к смертной казни на того, кто может его помиловать!

Эту ночь нам пришлось коротать в храпящей и скверно пахнущей тесноте, среди спортсменов, истосковавшихся по жизни бойскаутов. В 8 часов утра, оставив их с лыжами и воплями, мы бежали к канатной дороге и первой же кабиной вернулись к нашей машине, как в тихую гавань!

Мы отправились в Кордон, где маленькая гостиница «Рош-Флери» предлагала желающим тишину, прекрасный вид и спокойную семейную атмосферу — все, чего мы хотели.

Наш приезд стал событием. Рэн, хозяйка, побежала предупредить свою старушку мать, распоряжавшуюся на кухне, захлопала в ладоши, сзывая своих постояльцев. Под их любопытными и умиленными взглядами мы заперлись на два поворота ключа в нашей — только нашей! — комнате.

Мы чудесно провели время в «Рош-Флери».

Первое потрясение прошло, и мы жили бок о бок с простыми и милыми людьми, которые старались наперебой сделать мою жизнь приятной.

Я потом часто приезжала к Рэн, и всегда меня ждали там теплый прием без лишней пышности и та уютная семейная атмосфера, которую я всю жизнь искала, но нигде больше не нашла.

Однако нам пришлось уехать: Жак должен был встретиться с одним своим другом в Шамони. Мы остановились в отеле «Монблан», в самом центре города. Я ненавижу, сразу возненавидела Шамони, этот заснеженный город в слепящих огнях, грязь в водосточных канавах, толпу и гнетущие горы, которые мешают видеть и дышать. Где фермы, источники, лесопильни, так приятно пахнущие свежераспиленным деревом, где Кордон?

В окно было видно только здание напротив, поэтому я

закрыла ставни и легла в постель средь бела дня, твердо решив не вставать до самого отъезда. Чтобы скорее уснуть, я проглотила несколько таблеток снотворного. Жак, вернувшись, застал меня в бреду. Пришлось вызвать врача. Хозяйка отеля была просто чудо. Она выхаживала меня как родную дочь, говорила со мной, успокаивала.

Когда меня в очередной раз поставили на ноги, я, благодаря ей, познакомилась с самыми известными проводниками этих беспощадных гор. Это был удивительный, незабываемый вечер с настоящим фондю по-савойски. Я увидела грубоватых и каких-то очень настоящих людей, здоровых, широких душой, отважных и жизнерадостных.

Я попала в мир, совсем не похожий на мой, манящий мир, но и жестокий. Здесь все имело свою истинную ценность. Здешние женщины мирились с одиночеством, с преждевременным вдовством. Таков был суровый закон гор. Они подчинялись ему, но не как покорные рабыни, и хранили традиции с восхитительной безмятежностью. Я вспоминала, как пыталась бежать, укрыться от жизни, травясь снотворными. А вот они жили с высоко поднятой головой. Только морщины — следы пролитых слез, солнечными лучиками расходившиеся от глаз, — говорили о многом. Женщины с гор — воплощение мужества.

Укрепившись духом после этого наглядного урока человечности, я отправилась в Сен-Тропез.

Капи был так рад снова нас увидеть!

Пилар Фернандес, присматривавшая за моими владениями, все подготовила к нашему приезду, и дом хотел казаться уютным и приветливым, но все равно зимой оставался холодным среди потерявшего всю листву сада. Как по-разному выглядит «Мадраг» в разные времена года! Летом это тропики, буйная растительность, солнце вливается в комнаты потоками, и дом купается в теплом и ласковом свете. Зима же — сущее бедствие. Сад заполоняют водоросли, от брызг прибоя преют листья. Комнаты кажутся слишком большими, им не хватает уюта и тепла. Зимой здесь грустно, холодно, сыро, уныло.

Я решила построить «малый Мадраг», будущий дом Николя. Не стала утруждать себя оформлением разрешения на строительство, решила не связываться с архитектором. Большая комната с деревенским камином, широкое окно с видом на море, маленькая ванная, толстые балки, очень низкий потолок с наклоном под покатой крышей; все побелить известью — и готово дело!

Я наняла подрядчика и сама занялась планировкой, делая все измерения «на скорую руку», на глазок. А потом сама принялась

за дело, стащив у каменщиков водяной уровень и отвес: мне хотелось, чтобы стены были немного кривоватые — так дом будет выглядеть старым. Увидев на стыке стен острую грань, я проходилась по ней, в буквальном смысле слова сглаживая углы. Дел было по горло, и мне все это ужасно нравилось.

Я ходила купаться; вода в марте была еще ледяная, но это укрепляло мой растянувшийся живот.

Жак между тем проводил время с Жаном Орелем и Сесилем Сен-Лораном, которые задумали фильм с его участием.

Все трое походили на героя комиксов о Лодыре.

Они много пили, много говорили и мало работали!

С 11 часов утра они сидели за аперитивом, и выглядело все это не очень серьезно. Я присоединялась к ним в обед, перемазанная известкой от джинсов до волос. Потом я поняла, что они примеряли меня к главной женской роли их будущего шедевра, продюсером и героем-любовником которого должен был стать Жак. Они поведали мне историю, сочиняя ее на ходу, перемежая рассказ икотой и пьяноватым хохотом. Меня это позабавило, и только. Я прекрасно знала, что занята на ближайшие два года, однако, не желая их обижать, с самым серьезным видом кивала головой на все, что они говорили.

А они приняли это за чистую монету!

В результате у нас с Жаком снова появился повод для бурных сцен. Жак хлопал дверью и уходил, оставляя меня на всю ночь вдвоем с Капи. С обоими своими приспешниками он топил горькое разочарование в выпивке и злословии.

Наконец, оставив недостроенный дом каменщикам, а Капи под присмотром Пилар, я решила уехать в Париж.

* * *

У Николя были широко распахнутые голубые глаза.

Он походил на полковника Шарье, отца Жака — меня это привело в отчаяние!

На меня навалились привычные заботы, счета, налоги, всевозможные неприятности: горничная попросила расчет, Ален влюбился в певца с сомнительным шармом, меня, как всегда, осаждали со всех сторон! Радовала меня и веселила только моя Гуапа. Клоун был за городом: доктор Д. временно препоручил его своему знакомому мяснику. Мне рассказывали, что он живет там, как принц.

Жак не получил окончательного освобождения от военной службы, ему предстояло повторно пройти призывную комиссию.

Поэтому он пока не мог ни работать, ни вообще строить какие бы то ни было планы на будущее. Дата новой медкомиссии не была назначена, и Жак жил под дамокловым мечом. Мы ни с кем больше не виделись, только доктор Д. был вхож к нам. Он помогал Жаку как мог.

Мне снова стал звонить Рауль Леви. «Истина», похоже, должна была стать потрясающим фильмом и наделать много шуму. Клузо изъявил желание увидеться со мной, чтобы поговорить об актерском составе: он никого еще не пригласил. Ольга, наигравшись в мамашу-наседку, вернулась к прежней роли агента кинозвезды и стала очень деловой.

Жак не выдержал всего этого — нервы у него сдали.

Была ли это ревность мужа или актера?

Или ощущение своего бессилия перед человеком, который был, казалось, сломлен в самой сердцевине, но возрождался из пепла? Как бы то ни было, у него началась самая настоящая нервная депрессия. Доктор посоветовал мне почаще выезжать за город, чтобы Жак пришел в себя в тишине, на свежем воздухе.

Это было уж слишком. Я девять месяцев носила ребенка, родила его в адских мучениях, все заботы на мне, я готовлюсь к трудному фильму, в котором на карту будет поставлена моя карьера, и еще я должна нянчиться со впавшим в депрессию мужем, который становится мне обузой.

Нет уж, с меня хватит, хватит, хватит!

Тем не менее я взяла Жака под ручку и отправилась с ним за город. Мы гуляли по полям, обедали в дивных ресторанчиках, иногда ночевали в какой-нибудь сельской гостинице. Между нами установились отношения брата и сестры. Я твердо знала: никогда, никогда в жизни я больше не смогу заниматься с ним любовью. Пережитая травма навсегда сделала меня фригидной! Я уже пожаловалась доктору Буане; он успокоил меня, сказав, что это со временем пройдет.

Глаза Николя стали карими! Муся с восторгом рассказывала, что он прибавил 20 граммов после последнего кормления, на что я озадаченно пожимала плечами.

Жака вызвали на комиссию.

Я одна тащила на себе все — семью, дом, «мозговой трест». Ален совсем не помогал мне. Сердцем и мыслями он был далеко от меня, со своим певцом. Только этого не хватало! Ивоннетта ушла. К счастью, рядом была Муся, всегда готовая взяться за дело.

Как раз в этот момент, когда мне совсем заморочили голову, Кристина Гуз-Реналь сообщила об официальной премьере в Лисабоне фильма «Женщина и паяц». Мы были приглашены на

уровне глав государств. Португальское правительство предоставляло мне усиленную охрану: моторизованных полицейских, личных телохранителей. Не сказать, чтобы я особенно гордилась этим фильмом, но меня привлекла возможность отвлечься на 48 часов.

Я нашла в «Реале» роскошное платье, великолепный костюм для поездки, и мы — Жак по правую руку, Кристина и ее муж Роже Анен по левую — полетели в Лиссабон.

Всем уже известно: я всегда панически боялась самолетов. В тот день мне было особенно страшно, и это вызвало сильнейшее кровотечение. По времени оно примерно соответствовало первой послеродовой менструации.

Мы все предусмотрели, кроме этого!

Это была катастрофа!

Меня уложили в кабинке стюардесс. Все бумажные салфетки, все ватные тампоны для снятия макияжа ушли на эту течь, такую страшную и так не вовремя открывшуюся. Я запачкала юбку, жакет, как же мне теперь выйти из самолета перед всеми журналистами, официальными лицами, фоторепортерами? Стоило мне встать, я чувствовала, как моя жизнь вытекает между ног.

Я была на грани обморока.

Я повернула юбку так, чтобы пятно было спереди, и держала перед собой большой шарф, который дала мне Кристина. Жак набросил на меня свой пиджак, чтобы скрыть пятно на спине моего жакета, и я вышла из самолета в лиссабонском аэропорту, где меня торжественно, под звуки оркестра, встречали председатель муниципального совета, мой партнер Антонио Вилар и ревущая толпа! Мы поспешили в отель в сопровождении эскорта из четырех мотоциклистов впереди и четырех позади — ни дать ни взять президентский эскорт.

Не будь я в таком плачевном состоянии, я бы наверняка оценила оказанный мне бесподобный прием. Я сидела на пиджаке Роже Анена, чтобы не запачкать сиденье «мерседеса-600», который вез нас по дивному и незнакомому мне краю — Португалии. Потом, когда приехали в отель, — новые формальности, бесконечные речи и тосты в мою честь, музыка, народные танцы, а я держу шарф спереди, сумочку сзади и думаю только о том, как бы поскорее лечь, сгорая со стыда, измученная, выпотрошенная.

Предоставленные мне апартаменты в отеле были роскошны. Огромная, изумительно убранная спальня для меня, гостиная, достойная английской королевы, еще одна спальня, такая же красивая, для Роже и Кристины, повсюду цветы, фрукты, подарки,

сувениры. Оставшись наконец одна, я рухнула на кровать и через телефонистку отеля попросила вызвать врача!

— Какой врач вам нужен, мадам?

— Гинеколог, мадам, и срочно!

Журналисты узнали об этом звонке раньше, чем сам врач! Когда же он осмотрел меня, то самым серьезным образом порекомендовал двое суток никуда не выходить и не вставать с постели. Он сделал мне уколы, чтобы остановить кровотечение, потом успокоительные, массу каких-то уколов, от которых я совершенно отупела!

Но премьера-то должна была состояться в тот же вечер!

Кристина в отчаянии пыталась встряхнуть меня, заставить подняться, они с Жаком даже попробовали натянуть на меня вечернее платье, но я была как ватная, не держалась на ногах, и из меня непрерывно текло.

И все же, несмотря ни на что, я присутствовала на премьере «Женщины и паяца».

Я сидела в ложе, полной цветов, чувствуя себя прескверно. Потом был изысканнейший ужин, на котором собралась в мою честь вся знать, все сливки португальского общества. Целый город чествовал меня, ждал, поднимал бокалы за меня и за фильм — лучшего лечения нельзя было придумать. Студенты устроили мне «почетную стезю», положив на землю свои плащи, это было грандиозно и трогательно, это был триумф.

XVI

Мой час «Истины» близился.

Я сделала пробы с несколькими молодыми актерами. Я заново осваивалась в студии, училась играть и каждому из оцепеневших от испуга юношей давала шанс. Клузо заставил меня целый день повторять одну и ту же сцену — с Жан-Полем Бельмондо, Югом Офрэ, Жераром Бленом, Марком Мишелем, Жан-Пьером Касселем и Сэми Фреем.

Это была любовная сцена!

Я сжимала их в объятиях и чувствовала их дрожь, их пот, их страх. Я говорила им всем одни и те же слова с одинаковым пылом, а они отвечали мне каждый по-своему.

Жан-Поль Бельмондо был слишком самоуверен, хоть его сердце и билось очень сильно у моей груди. Жан-Пьер Кассель не подходил по внешности! Жерар Блен оказался ниже меня ростом! Юг Офрэ чересчур нервничал, я даже испугалась, что он потеряет сознание в моих объятиях. Марк Мишель не обладал достаточной индивидуальностью, был слишком «как все», да еще страх мешал ему быть самим собой! А Сэми Фрей был именно таким, как надо — отчужденным и родным, суровым и нежным, влюбленным и проникновенным. Он и был приглашен на «Истину» вместе с Шарлем Ванелем, Полем Мёриссом, Луи Сенье, Мари-Жозе Нат и Жаклин Порель.

Вернувшись домой, я узнала от доктора Д., что Жак находится в частной клинике где-то за городом: его окончательно признали негодным к воинской службе. Это было победой и поражением одновременно. Ален, совсем потерявший голову от любви, давно не появлялся. Почты накопилась гора, горничная ничего не делала. Только верная Муся оставалась на своем посту, надзирая за Николя.

Я устала, страшно устала. Мне хотелось другой жизни, с надежным человеком, который был бы всегда со мной, взял бы мою ношу на себя, я больше не могла! Я примеряла костюмы с Таниной Отре, делала фотопробы с Арманом Тираром. 2 мая 1960 года я снималась в первой сцене у Клузо, на студии в Жуанвиле.

По вечерам я навещала Жака в клинике. Он был совершенно не в себе. Я плакала о нем, о себе, о нас!

Когда я возвращалась домой, на меня наваливались проблемы: кефир для Николя, Ален со своей любовью, хозяйственные вопросы. Сколько надо было иметь энергии, чтобы все это вынести. Каждое утро я уезжала, меня ждал утомительный день, и я не знала, что еще будет уготовано мне вечером. Жак

вернулся домой, но ему пришлось еще много дней лежать в постели.

Актриса днем, сиделка ночью — вот какая была у меня программа.

* * *

Однажды Жан-Клод Симон явился ко мне в уборную с тремя фотографиями. На них были запечатлены великолепная плакучая ива, прелестный домишко, маленький пруд. Эта дача в Базоше близ Монфор-л'Амори продавалась. В воскресенье я поехала с Жан-Клодом посмотреть ее. Это была моя мечта: крытая соломой старая овчарня, холмы, столетние деревья и водоем.

Я купила без промедления!

Я бы с удовольствием осталась в этом домике, но надо было сниматься. Я сказала ему «до свидания», твердо решив укрываться здесь всякий раз, когда появится возможность.

Мои отношения с Жаком стали просто невыносимыми!

Он выздоравливал после болезни, уж не знаю, насколько мнимой, я же действовала, трудилась, боролась. Да еще и снималась!

Клузо был деспотом.

Он хотел, чтобы я принадлежала ему безраздельно, и чувствовал себя надо мной полным хозяином. Если он говорил мне «плачь», я должна была плакать. Если приказывал хохотать, я должна была немедленно повиноваться. А ведь нет ничего тяжелее для актрисы, чем плакать или смеяться по команде.

Однажды мне надо было сыграть трагическую сцену. Клузо отвел меня в уголок и тихо говорил со мной о грустном, о страшном, стараясь вызвать во мне эмоции, которые заставили бы меня заплакать. Потом он оставил меня, чтобы я сосредоточилась. На съемочной площадке стояла гробовая тишина. Все ждали моих слез. Закрыв лицо руками, я думала о родителях, о том, какой трагедией была бы их смерть. Сквозь пальцы я видела, как рабочие сцены поглядывают на часы, слышала чей-то кашель. И вдруг я осознала, до чего все это смешно, залилась нервным смехом и никак не могла остановиться.

Съемочная группа так и ахнула.

Клузо подбежал и в ярости влепил мне пару звонких пощечин. Не раздумывая, я тотчас дала ему сдачи.

Он остолбенел! Никто никогда не позволял себе так с ним обращаться!

Вне себя — его смертельно оскорбили, унизили при свидетелях! — он со всей силы наступил мне на ноги своими каблуками. Я была босиком. Я взвыла и разрыдалась от боли. Он тут же скомандовал «мотор!» — ему-то только моих слез и надо было, чтобы снять сцену. Но я, хоть и хромала на обе ноги, покинула площадку с видом оскорбленной королевы и, вернувшись в свою уборную, потребовала вызвать судебного исполнителя.

Когда тот официально засвидетельствовал, в какое плачевное состояние привел Клузо пальцы моих ног, я уехала домой, заявив, что не появлюсь в студии, пока ноги не заживут, а Клузо не извинится.

В другой раз снимали сцену самоубийства.

Я будто бы наглоталась барбитала и должна была лежать в бреду, хрипло дыша. Мне эти вещи были, увы, хорошо знакомы... Я думала, что выгляжу в полукоматозном состоянии естественней некуда, но Клузо не нравилось. Клузо хотел, чтобы я обливалась потом, пускала слюни; гримеры наносили мне пену в уголки рта, глицериновую воду на лоб. У меня разболелась голова, не было больше сил без конца повторять эту тягостную сцену.

Я попросила принести мне стакан воды и две таблетки аспирина. Клузо сказал, что у него есть аспирин, и я проглотила две белые таблетки, которые он мне дал.

Я почувствовала себя странно: какое-то оцепенение сковало меня, глаза весили по тонне каждый, я слышала как сквозь вату... Двум рабочим пришлось нести меня домой на руках. Дедетта, перепугавшись, сообщила маме, что Клузо дал мне вместо аспирина две таблетки сильнейшего снотворного.

Я не могла проснуться 48 часов!

Зато сцена была снята с натуры и получилась более чем правдивой.

Таков был Клузо — он не отступал ни перед чем, если хотел добиться своего.

Перед Сэми Фреем я ужасно робела.

Он был очень сдержан, даже замкнут, так сказать, соблюдал дистанцию и смотрел на все ироничным, слегка насмешливым взглядом. В перерывах между сценами он читал Брехта, разговаривал мало, не откровенничал. Это был актер в самом глубоком смысле слова.

Он обожал репетировать каждую сцену множество раз, пытаясь сыграть лучше. Полная противоположность мне! Репетиции наводили на меня тоску, я выдавала все, на что способна, только в момент съемки. К чему выкладываться, повторяя одно и то же, какой в этом смысл?

Сэми был вежлив, но не более; насколько я понимаю, он сторонился той экстравагантности, которую я олицетворяла. Я знала, что он живет с Паскаль Одре, — и только. Это был очень скрытный человек. Его равнодушие и некоторая отчужденность смущали меня. Раздражало то, что я не могу ближе сойтись с человеком, который будет любить меня безумной любовью, играть со мной сцены бесподобной страсти. Он, должно быть, считал меня ограниченной и пустоголовой, может, и некрасивой, может, я вообще была ему противна. Когда он обнимал меня, я чувствовала, что краснею до ушей. Его взгляд становился удивительно нежным в любовных сценах. То, что он говорил мне, звучало так естественно, что на меня порой накатывало безумное желание в это поверить. «Снято!» Клузо падало как нож гильотины, безжалостно рассекая мир грез, в который я уносилась, а моя голова оставалась на плече Сэми чуть дольше, чем следовало бы после того, как сцена была закончена.

Я привязывалась к Сэми, а он ко мне — нет!

Однажды я пришла совершенно убитая.

Бурная ссора с Жаком доконала меня.

Мы с Сэми стояли за щитом и ждали, когда загорится сигнальная лампочка. Мы были одни, каждый в своих мыслях. Я силилась и не могла удержать подступавшие к глазам слезы. Сэми заметил это. Он не сказал ни слова, просто взял меня за руку, сжал крепко-крепко и не выпускал. Мне стало хорошо, я ощутила острое, как боль, счастье. С тех пор, стоило нам остаться вдвоем, Сэми брал мою руку или прижимал меня к своей груди, и его глаза говорили мне все, что невозможно было сказать иначе.

Как это прекрасно — влюбиться!

Как сразу переменилось все!

То, что происходило между мной и Сэми, озарило светом мое лицо и мою жизнь. Ради него я старалась раскрыть лучшее во мне, перестала отлынивать от репетиций, свой текст знала назубок, не капризничала и не заводилась понапрасну. Клузо не узнавал меня: я стала почти шелковой. Мои девочки что-то почуяли и тактично удалялись, когда подходил Сэми.

Мы хотели сохранить в тайне нашу новорожденную любовь из уважения к Паскаль и Жаку, а также чтобы избежать сплетен. Сэми потихоньку узнавал меня, совсем непохожую на ту, что он себе представлял. Мы раскрывались друг другу застенчиво, целомудренно. У нас было время, и мы не торопили его — мы полюбили друг друга надолго.

* * *

Возвращаться на авеню Поль-Думер было тяжко.

Там меня ждали одни проблемы.

Мама отыскала мне секретаршу среди своих знакомых. Мадам Малавалон, в высшей степени «комильфотная» дама, жена морского офицера в отставке, работала впервые в жизни.

И какая это была работа!

Разобрать почту, копившуюся два месяца, в которой письма попадались порнографические, а счета ужаснули бы самого министра финансов. Эта женщина неопределенного возраста, исключительного обаяния и такта, целыми днями краснела до корней волос и поведала мне, что за несколько месяцев своего секретарства узнала больше, чем за тридцать лет брака.

* * *

Муся сообщала мне, как растет и умнеет Николя, но протестовала всякий раз, когда я хотела взять его на руки!

Микробы! Вирусы!

У меня и так не был особенно развит материнский инстинкт — этого хватило, чтобы я не рвалась к сыну.

Только моя Гуапа дарила мне всю нежность, всю теплоту, всю бесхитростную привязанность, которых я так ждала. Жак, видя, как я ласкаю собаку, отпускал неуместные намеки: эта любовь, по его мнению, должна была бы достаться ребенку. Но Гуапе-то было наплевать на микробы, вирусы, инфекцию, я могла вдоволь насладиться ее теплом, телом, глазами, и никто не протестовал.

Сэми снял однокомнатную квартирку возле парка Монсо.

Первый этаж, темный, унылый, грязный! Боже, какие мерзкие квартиры бывают в Париже! Но для нас это была единственная возможность спокойно побыть вдвоем, уйти ненадолго от всего света — а нам так этого хотелось. Мы слушали концерт для двух скрипок Баха, концерт для кларнета Моцарта, Дворжака. Музыка окружала нас, раздвигая унылые серые стены повседневности.

Сэми был редким человеком — какой-то вулкан нежности, бездна тепла и глубины. Он был и останется мужчиной моей жизни, которого я, увы, встретила слишком рано — на десять лет!

В августе Сэми уехал на несколько дней с Паскаль Одре. Мы начали снимать сцены суда, в которых он не участвовал, так как я его убила.

Эти сцены давались особенно трудно.

За стенами павильона стояла прекрасная погода, август; хотелось каникул, простора, песка и солнца. А в «зале суда» было душно, пахло потом, раскаленной резиной и табачным дымом. Я

по-настоящему входила в роль. Мне уже казалось, что это суд надо мной. Речь шла о моей дурной репутации, о моем скандальном поведении, о моем непостоянстве и полном отсутствии нравственных устоев. Беспутная жизнь, сменяющие друг друга, как в калейдоскопе, любовники — все это было так же применимо к Брижит Бардо, как и к Доминике Марсо, героине фильма.

Клузо каждый день подливал масла в огонь, проводя отчетливые параллели между моей жизнью и жизнью моей героини. Я ведь оставила мужа и ребенка, а мой любовник на данный момент оставил меня. Я — олицетворение разврата, я всеми презираема, я одна, одна, одна! Подавленная, целыми днями в слезах, я терпела пытку этой двусмысленной ситуации. Мне предстояло произнести длинный монолог, очень искренний и трогательный. Это было мое последнее слово, последняя отчаянная попытка смягчить сердца присяжных.

Зал был битком набит статистами. Суд в полном составе, присяжные, адвокаты, полицейские, судебные исполнители.

Все ждали моего выхода!

Клузо подошел поговорить со мной.

Текст я знала назубок, но если вдруг что-то забуду, это неважно, надо продолжать, импровизировать, говорить своими словами, своим нутром. Он крепко сжал мои руки и сказал, что это будет лучшая сцена в фильме, что я должна им всем показать, на что способна, своей искренностью взять верх над их мастерством, и пусть утрутся все эти остолопы, что смотрят на меня.

«Мотор!» «Съемка!» «Пошла!»

Я помедлила секунду или две. Я смотрела на них, на всех этих людей, судивших меня за то, что я посмела жить!

Потом зазвучал мой голос. Надломленный, хриплый, сильный. Я им сказала, я им всем сказала все, что накипело на сердце. Я плакала, слабела от слез, мой голос срывался, но я договорила до конца и рухнула без сил на скамью, уронив голову на руки, во власти самого настоящего безысходного горя.

На мгновение воцарилась тишина, потом Клузо крикнул: «Снято!»

И тогда весь зал суда зааплодировал мне, судьи были взволнованы, присяжные потрясены. Это было одно из самых сильных переживаний в моей жизни. Я была опустошена, выложилась до донышка, но сцена получилась.

Я победила.

Клузо был доволен, Ванель горд мной, Дедетта роняла слезы в пуховку. Рабочие говорили мне: «Слушай, и впрямь пробрало, а

мы уж всякого насмотрелись!» Я не могла спасти жизнь Доминики Марсо, зато спасла свою репутацию актрисы.

А между тем я никогда не была актрисой. Я никогда не влезала в шкуру моих героинь — я натягивала на героинь мою шкуру. Существенная разница.

Потом снимали сцену самоубийства Доминики Марсо в камере женской тюрьмы «Рокетт».

Мое отчаяние достигло предела!

Клузо сознательно держал меня в состоянии глубокой депрессии. Жизнь лишена смысла, люди — чудовища, род человеческий — мразь, только смерть может дать долгожданный покой и отдохновение. Я разбивала зеркальце своей пудреницы и осколком вскрывала вены. Бледная, исхудавшая, полубезумная... я должна была изо всех сил надавить стеклом на левое запястье, одновременно сжав в руке резиновую грушу с гемоглобином. Я почувствовала, как липкая теплая жидкость течет по руке. Было полное ощущение, что я и вправду покалечила себя, и слезы сами брызнули из моих глаз, которые постепенно закатывались, и в конце эпизода мое безжизненное тело оставалось неподвижно лежать на тюфяке.

Вот в таком состоянии со знаком минус я снова встретилась с Сэми.

Он порвал с Паскаль Одре. Вернувшись, он нашел дома повестку и должен был в конце сентября отправиться в армию. Через год после Жака, день в день. Все правильно — он был на год младше!

Ну почему эта проклятая воинская служба так неотступно преследовала меня? Да потому что я, сама того не ведая, всегда выбирала мужчин моложе себя!

Жак почти не жил дома, то уходил, то приходил без всяких объяснений. Я их, впрочем, и не требовала.

Дани, моя дублерша в «Истине», жила в прекрасной квартире на бульваре Сен-Жермен. Она сама любезно предложила мне приютить нас с Сэми, чтобы мы могли спокойно побыть вдвоем.

Однажды вечером мы вышли из студии, собираясь ехать прямо к Дани, — и каково же было наше удивление, когда мы увидели Жака, поджидавшего нас у входа. Прямой удар в челюсть Сэми был его первым словом. Тут же как из-под земли появились репортеры, не меньше десятка, и защелкали фотоаппаратами! Жак схватил меня за руку выше локтя и не отпускал, а Сэми за другую руку тащил к машине. Двое мужчин разрывали меня на глазах у фотографов, которые уж отвели душу. Моя сумочка упала, Жак наклонился, чтобы поднять ее, а я, воспользовавшись этим, кинулась со всех ног к машине, оставив ему сумочку со

всеми документами, с деньгами, с письмами Сэми. Жак бросился за нами, еще раз ударил Сэми через открытое окно машины... Мерцали вспышки, толпа загородила нам дорогу. У Сэми текла кровь, заливала глаз, надо было ехать очень осторожно, чтобы не задавить кого-нибудь из падких до скандала зевак, теснившихся вокруг машины. Мы поехали прямо, куда глаза глядят. Свежий ночной ветерок обдувал нас, стало полегче.

* * *

Мы с Сэми мечтали об одном — умереть!

Только смерть могла стать нашей избавительницей. Мы были сыты по горло обществом с его законами и запретами. Мы любили друг друга наперекор всему и не находили себе места в этом обществе, которое отвергало нас.

Сэми пора было уезжать в армию!

Оставшись одна на Поль-Думере, я по-прежнему целыми днями спала, укрываясь от действительности. Мама, встревоженная моим подавленным состоянием, сказала, что мне нужно переменить обстановку. Она договорилась с Мерседес, подружкой Жан-Клода Симона, и отправила нас вдвоем в Ментону, в уединенный дом, который любезно предоставили в наше распоряжение друзья Мерседес.

Мама решила, что там мне будет спокойнее.

В доме не было телефона, не было горничной. Я дала себя перевезти, как мебель. Ничего не ела, ни на что не реагировала, не хотела видеть даже море, отворачивалась от солнца, лежала в постели, а время шло.

28 сентября, в день моего рождения, Мерседес вернулась из поселка без почты — никакой весточки от Сэми не было в почтовом ящике, который она абонировала на мое имя. Глядя в никуда, в пустоту моей души, я ждала, когда пройдет этот день, мой двадцать шестой день рождения. Часов в шесть вечера Мерседес откупорила бутылку шампанского и пожелала мне «много счастья в день рождения».

Мои слезы капали в бокал и поднимались пузырьками.

Мне хотелось остаться одной. Я устала, я лучше посплю...

Как только Мерседес уехала к своим друзьям, я прикончила шампанское, запивая каждым глотком таблетку имменоктала. Как раз хватило на всю упаковку. Я твердо решила умереть. Я вышла из дома, ночь была теплая. В правой руке я сжимала бритву, которой собиралась вскрыть себе вены. Я шла в темноте наугад и остановилась у загона для овец. От барашков хорошо пахло, они

тихонько блеяли. Я села на землю и изо всех сил прижала лезвие к одному запястью, потом к другому. Было совсем не больно. Я легла среди барашков и увидела над собой звезды. Мне стало хорошо и спокойно: сейчас я сольюсь с землей, которую всегда так любила.

Мерседес тем временем замучила совесть: она только выпила с друзьями стаканчик и уехала домой. Не найдя меня она пошла к ближайшим соседям, фермерам, спросить, не видел ли кто молодую светловолосую женщину. И тогда все семейство, вооружившись электрическими фонарями, отправилось искать меня по окрестностям.

Когда меня нашли, я еще дышала, но очень слабо — лежала в глубокой коме, вся перепачканная кровью и землей.

48 часов спустя в больнице Святого Франциска в Ницце сознание мало-помалу вернулось ко мне.

Я лежала, связанная по рукам и ногам, на реанимационном столе, вся в каких-то трубках; я приходила в себя, и с каждой секундой все невыносимее становилась боль. Я была одна, предоставленная самой себе в этой стерильной палате, и мои слабые стоны никому не были слышны. Врачи сочли меня сумасшедшей и препоручили психиатрам.

На меня надели смирительную рубашку!

Мне делали рентген черепа, электроэнцефалограммы... Я по-прежнему была привязана к столу пыток, все тело у меня ныло, и я билась, спасаясь от судорог и боли, которые бывают от долгого неподвижного лежания на железе. Приезд мамы положил конец этим мучениям. Я получила наконец право на нормальную палату, кровать и почти человеческое обращение. Однако меня запирали на ключ, а окно было зарешечено.

Пускали ко мне только маму. Часами она сидела у меня, и мы обе молчали. Я знала, какую боль ей причинила, но мне самой было так тяжело, что я не могла попросить прощения.

Я была наказана за попытку убить себя: меня заперли, со мной обращались как с помешанной, не признавая никаких смягчающих обстоятельств. Регулярно приходил психиатр и задавал мне безжалостные вопросы о том, что я сделала! Я очень скоро поняла, что следует во всем с ним соглашаться, иначе я рискую остаться здесь на веки вечные. Еще я узнала, что больница окружена фоторепортерами. Осада продолжалась с того дня, как меня привезли сюда, и мою палату запирали именно для того, чтобы кто-нибудь меня не щелкнул. Медсестры рвали друг у друга из рук «Франс-Диманш» и «Иси-Пари», где новость о моем самоубийстве красовалась крупными буквами на первых полосах. Меня подняли на смех — ведь у меня хватило наглости не

умереть.

Зачем я вернулась в этот мир?

Рауль Леви и Франсис Кон приехали помочь маме вызволить меня.

Под руку с Фран-Франом я покинула этот ад. Я едва держалась на ногах, а вокруг щелкали фотоаппараты всей мировой прессы. Рауль Леви отвез нас с мамой в Сен-Тропез, где должно было начаться мое долгое выздоровление под пристальным надзором. В домике на улице Мизерикорд я спала с мамой в ее постели: она не отпускала меня от себя ни на шаг, боясь, что я повторю свою попытку.

Мне всегда говорили, что тонущий человек, достигнув дна, обязательно всплывает. Я побывала на самом дне, глубже некуда, теперь я должна всплыть на поверхность, это неизбежно.

Приехал Жан-Клод Симон и привез мне письмо от Сэми. Он ждал меня в одном загородном доме недалеко от Парижа. Его комиссовали, это глубоко отразилось на его состоянии, физическом и моральном. В тот же вечер я уехала с Жан-Клодом на машине, невзирая на причитания мамы и вопли ее подружек.

Сэми, худой как скелет, еле держался на ногах, я была бледная, осунувшаяся, еще с повязками на запястьях. Мы обнимали друг друга, боясь сломать. Марселина и Жан-Клод полностью предоставили нас самим себе, купив запас продуктов и настоятельно посоветовав ни под каким видом никуда не выходить, чтобы никто не узнал, что мы здесь.

Телефона в доме не было, до ближайшей деревни — четыре километра.

Там, в полной изоляции, мы с Сэми вместе выздоравливали; с нами был огонь в камине, наши пластинки с классической музыкой и наша любовь.

Все, что не «мы», было нам абсолютно чуждо.

К нам приехала Марселина. Она привезла письмо от Ольги для меня, контракт для Сэми. В наш тщательно оберегаемый мир вторглись чужие.

Ольга очень деликатно напоминала мне, во-первых, о своем существовании, немного обиженная, что я не даю о себе знать, во-вторых, о необходимости озвучания «Истины» и о существовании контракта с Франсисом Коном на фильм режиссера Жана Ореля под названием «Отпустив поводья», съемки которого должны были начаться в январе. Я о нем совершенно забыла! Это Жак заставил меня встретиться с Орелем в Сен-Тропезе. Господи, только бы Жак не был продюсером картины или исполнителем одной из ролей! Ну зачем я дала втянуть себя в эту историю? Почему бы не оставить меня в покое!

Посеяла ветер — пожинай бурю!

Пришлось вернуться в Париж, к людям, на авеню Поль-Думер!

Жизнь входила в свою обычную колею. Счета, налоги, сломался пылесос, течет биде, соседи жалуются на постоянные хождения по площадке из квартиры в квартиру! Дел прибавилось, почта второй месяц ждала меня, дом в Базоше, где я так и не успела побывать, ограбили! Жак подал на развод... В «Мадраг» нужно то, другое, третье...

Мне безумно хотелось уйти куда глаза глядят, навсегда.

Ну почему, почему сплошь плохие новости, хоть бы что-нибудь приятное, веселое, положительное — так нет!

Сэми жил у Марселины Ленуар в Нейи. Там, вместе с Гуапой, я проводила ночи, растворяясь в нем, погружаясь в его любовь до утра.

Однажды вечером, вернувшись с озвучивания «Истины», я застала Жики. Он выглядел как нашкодивший кот, кружил вокруг да около, явно не решаясь заговорить о том, ради чего пришел. В конце концов он спросил меня, не продала ли я дом в Базоше и не разрешу ли ему съездить туда на несколько дней с одной девушкой, в которую он безумно влюбился. Я дала ему ключи.

* * *

2 ноября 1960 года фильм «Истина» вышел на парижские экраны. Меня, разумеется, на этот раз снова не было на премьере. Однако, несмотря на мое отсутствие, фильм был хорошо принят и имел огромный успех.

Ценой своей жизни я стала наконец титулованной актрисой?

По правде говоря, мне больше хотелось быть настоящей, искренней, быть самой собой, со щитом или на щите, чем называться «актрисой», которой я никогда не была!

Фильм получил награды на многих фестивалях, а я была признана в нескольких странах лучшей актрисой года.

Что ни говори, а приятно!

* * *

Я потихоньку обратилась мыслями к Николя и стала готовить для него первое в жизни Рождество. Увы! Жак предъявлял права на сына, и я неминуемо заставала его у кроватки Николя в любой час дня и ночи. У меня не было сил выносить эти встречи. Я

заходила все реже, просила Мусю предупреждать меня, когда территория будет свободна. Я разрывалась между Сэми, Николя и моей квартирой, такая жизнь не способствовала моему душевному равновесию. У меня на Поль-Думере — никакой семейной обстановки: Малавалон уехала, и по вечерам в доме было пусто и тихо.

От того, что мы с сыном жили в разных квартирах, пропасть между нами, естественно, увеличивалась.

В январе начались съемки фильма «Отпустив поводья»; моим партнером был Мишель Сюбор.

Мне так хотелось быть «другой», что я даже перекрасила волосы в каштановый, мой естественный цвет; это совсем не понравилось продюсерам, Жаку Ройтфельду и Франсису Кону. Но фильм все равно был идиотский!

Жан Орель, режиссер, мнил себя гением. Я же гениальности в нем не находила, можно сказать, даже искала, но тщетно. В нем была какая-то мягкотелость, нерешительность, и в то же время — самодовольство, весьма опасное для главы такого предприятия, как постановка фильма. По вечерам, просматривая отснятый материал, безнадежно серый, мы слышали одинокий смех Жана Ореля — он был в восторге, находя каждый кадр шедевром века...

Фильм, к которому я возвращалась каждый понедельник, мало-помалу становился самой большой клюквой века. Однажды я попросила продюсеров зайти ко мне в уборную и без обиняков заявила им: «Я — пас!»

Я пошла на риск — дело могло кончиться скандальным процессом, так, кстати, и случилось, — и поставила их перед дилеммой: или я просто-напросто прекращаю сниматься, или пусть приглашают другого режиссера. Я знала, что учу ученых: продюсеры сами за голову хватались при виде того, что за фильм получался. Они были просто счастливы, что вопрос об отставке Жана Ореля решила я.

Проблема была в том, чтобы найти замену. Нет ничего труднее, чем вот так, на ходу, включиться в начатый фильм! Однако Вадим — ради дружбы с Франсисом Коном, из симпатии ко мне и еще потому, что он глубоко презирал Ореля, — согласился помочь нам в этой исключительно щекотливой ситуации.

Вадиму пришлось перекроить сценарий на свой лад, пригласить нового автора диалогов — Клода Брюле, просмотреть весь отснятый материал и отобрать хотя бы минимум, чтобы не выбрасывать три недели работы в корзину.

В это же время меня вызвали в суд для примирения с Жаком! С ума они сошли, что ли, эти судьи, если думают, что я помирюсь

с Жаком?

Все эти формальности — дело ужасно грустное и удручающее. Каждый в сопровождении своего адвоката, мы избегали смотреть друг на друга, говорили вполголоса и стали еще более чужими, чем прежде. А ведь у нас было немало хорошего, были какие-то чувства, было согласие, мы произвели на свет ребенка, с нежностью сжимали друг друга в объятиях — все эти прекрасные картинки из книги, которую мы закрыли, терялись в нагромождении обид, печали, боли, непонимания.

Ну почему это невозможно сохранить?

Я вышла оттуда подавленная.

Бабуля неотлучно была при Николя.

Она обожала своего правнука и часами ползала на четвереньках, играя с ним. Ему только что исполнился год. День его рождения отпраздновали в семейном кругу, даже Жак принял участие в этом маленьком событии. Был и пирог, которого именинник в упор не видел, куда больше заинтересованный пламенем свечки.

Каждый раз, когда я приходила, он начинал вопить как резаный!

Я чуть не плакала...

Бабуля называла его «своим дорогим сокровищем» и всячески оправдывала. Муся, движимая чувством собственницы, изгоняла меня из их мира. Она пеняла мне, что ребенок из-за меня нервничает. Весело, ничего не скажешь!

* * *

Съемки «Отпустив поводья» возобновились с Вадимом.

Мы выехали на натуру в Виллар-де-Лан. Немного снега, атмосфера зимнего курорта должны были оживить картину. Сэми остался в Париже, и я, злая как собака, слонялась по гостиничному номеру, затянутому пыльными гардинами. Здесь было еще безобразнее, чем в Кортина-д'Ампеццо, хотя уж там-то!.. Снег казался грязным за грязными стеклами! Встав в семь утра, в полной темноте, и загримировавшись в восемь, при электрических лампах, я была отвратительно бледной в девять, когда мы начинали съемку на лютом холоде. От мороза у меня немело лицо, краснел нос, зеленела кожа. Дедетта с заледеневшей пуховкой, замороженными карандашами и застывшими румянами при всем своем таланте была бессильна.

Каждый был здесь при своей. Вадим притащил с собой семнадцатилетнюю брюнеточку, которая носила прическу, как у

меня, и одевалась, как я. Звали ее Катрин Денёв. Она выглядела этакой простушкой, чем иногда ужасно раздражала.

Однажды мы отправились снимать в «Мушротт» — затерянный высоко в горах приют, куда можно было добраться только по канатной дороге.

Гостиница, вся деревянная, но очень комфортабельная, с огромным камином и диванчиками из козьих шкур, наконец-то походила на то, что хочется увидеть в горах. Светило солнце, работать было приятно и легко. Когда идет съемка, никто не имеет права уходить до конца рабочего дня, даже в случае дождя или снега: продюсеры всегда надеются, что долгожданный солнечный луч проглянет и позволит доснять эпизод.

В результате в 6 часов вечера, когда нам объявили, что можно расходиться до завтра, директор гостиницы, витиевато извиняясь и сокрушаясь, объяснил, что из-за бурана канатная дорога не работает.

Уехать невозможно. Мы отрезаны!

Нет, это только со мной вечно что-то случается, и что за пакость эта «канатка» — чуть подует ветерок, и она уже не работает.

Меня бесило, что при мне нет зубной щетки и что я не могу предупредить Сэми — теперь он будет всю ночь названивать в отель и строить всякие догадки, почему я не вернулась. Без толку клясться и божиться, что я была отрезана в «Мушротте», высоко в горах, — он все равно не поверит.

Нас с Дани и Дедеттой устроили в прелестной маленькой спаленке, но спать нам не хотелось, и мы присоединились ко всей компании в общей комнате, которая походила на приют для беженцев.

Снаружи бушевала буря.

Внутри пламя камина и свечей освещало наши движения, когда мы стали играть в «посланников» — игра заключается в том, что надо сообщить своей команде какую-нибудь фразу, название фильма или книги без единого слова, только жестами, мимикой, ужимками и гримасами, и это то и дело давало повод к взрывам хохота.

Я сохранила чудесные воспоминания о приюте «Мушротт» и поклялась себе, что когда-нибудь приеду сюда отдохнуть.

Заканчивали съемки в Париже, в павильоне. Я танцевала полуголая — вероятно, чтобы подороже продать фильм. Вадим придумал сон Мишеля Сюбора, что давало простор всяким неправдоподобиям.

К реальной же действительности я возвращалась каждый вечер.

Она звалась Сэми, Николя, Муся, Малавалон, Гуапа! Дом на Поль-Думере походил на корабль, покинутый капитаном. И я решила вернуться в родные пенаты вместе с Сэми. В конце концов я развожусь, не требую никакого содержания, денежного или иного, с Жаком у меня не осталось ничего общего, и я имею право, если мне так нравится, спать в своей постели с мужчиной, которого люблю!

* * *

Всякий раз, выходя куда-нибудь вдвоем, мы с Сэми спускались по черной лестнице, чтобы случайно не столкнуться с Жаком. Но вот незадача — Жак, когда приходил повидать Николя, тоже предпочитал черную лестницу, чтобы не встретить нас! В результате мы натыкались друг на друга!

XVII

В марте 1961 года я проводила все воскресенья в Базоше, «у Жики и Анны». Домишко XVIII века стал моей тихой гаванью, где я обретала покой и простые радости жизни.

В субботу мы с Сэми выезжали сразу после работы и поспевали к обеду. Пахло тушеным мясом, деревней, дымком от камина. Шел снег, было бело и холодно, вечером у камелька я предавалась ностальгическим воспоминаниям о «Мушротте».

* * *

Я никогда не проявляла особого интереса к политике.

ФНО, ОАС — я уже слышала эти аббревиатуры, они не слишком пугали меня. По-настоящему я осознала серьезность ситуации, только когда апрельским вечером, возвращаясь из Базоша, увидела десятки танков, перегородивших мост Сен-Клу!

Так значит — война!

Это напомнило мне мое детство!

С большим трудом я добралась до авеню Поль-Думер. Сводки новостей по телевидению и радио были самые пессимистичные.

В Париже запахло жареным!

Я решила немедленно уехать в Сен-Тропез с Николя, Мусей, Сэми и Дедеттой. Там, по крайней мере, не было ни танков, ни военных кораблей, все как будто тихо. Было начало весны, «Мадраг» вновь обретал день ото дня свою тропическую пышность, и я могла бы там жить да радоваться с Капи, который был счастлив, что я приехала, и с Гуапой, которая была счастлива, что у нее снова появился воздыхатель. Так нет же — опять я столкнулась с массой бытовых проблем. Муся дулась из-за того, что я поселила ее с Николя в комнату для гостей, выходящую прямо к морю. Там-де неудобно, сыро, бедный малыш простудится насмерть!

Сэми тем временем дулся, потому что его раздражала Дедетта: она, видите ли, думает только о жратве!.. Что-нибудь вкусненькое на завтрак, блюдо по новому рецепту на обед, отведайте, такого вы никогда не пробовали!

Сэми не любил есть.

Я оставляла Сэми с его метафизическими проблемами, Дедетту с ее кастрюльками, Мусю с ее претензиями и бежала из собственного дома, надеясь за его стенами найти хоть немного веселья, хоть немного тепла!

Над пустынным еще портом пахло йодом и мокрым деревом; чайки с криком носились вокруг тралов, которые поднимались, полные рыбы. Франсуа и Феликс грелись на солнышке, потягивая анисовый ликер. Они говорили с теплым средиземноморским акцентом, они находили меня красивой и смешили до слез своими живописными рассказами.

С ними время проходило быстро, и мне было весело.

Когда же я в последний раз смеялась?

Я тащила на себе тяжкий, неподъемный груз, он омрачал мои дни, и я видела только темную сторону жизни. Мне было 26 лет, благодаря чуду из чудес я еще жила — но как же, если вдуматься, мало жила! Мне вдруг захотелось сбросить с себя весь этот незримый, но чересчур тяжелый груз, мешавший мне насладиться самым драгоценным, что было у меня в этом мире — молодостью!

В конце концов, имею я право пожить немного для себя!

Мои побеги из «Мадрага» не способствовали мирной жизни. Сэми решил вернуться в Париж, чтобы репетировать пьесу Брехта, которую ему предстояло играть в Театре-студии на Елисейских полях. Воспользовавшись его отъездом, я отправила домой Мусю, Николя и Одетту. Уф-ф!

На смену им заступили Кристина и Роже Анен.

Дом снова стал таким, каким я его любила.

С Франсуа мы теперь не расставались...

Он чудесно ладил с Кристиной и Роже: ее смешил до слез, а с ним состязался в рассказывании забавных историй, причем Роже говорил с алжирским акцентом, а Франсуа — с марсельским. Я купалась в безмятежном блаженстве, ничем больше не занимаясь. Франсуа освободил меня от всех забот.

В июне я должна была начать сниматься в фильме, продюсером которого была она, а режиссером Луи Маль. Картина называлась «Частная жизнь» — собственно, это была моя жизнь, представленная в виде романа под кинематографическим соусом. Кристина очень рассчитывала на успех этого фильма, чтобы заявить о себе как о продюсере.

«Истина» стремительно возвела меня в ранг настоящей трагедийной актрисы. Но следующая моя картина, «Отпустив поводья», своей серостью и пошлостью тормозила мой взлет к вершинам славы.

Кристина для своего фильма припасла сильный козырь: мужчиной моей жизни должен был стать Марчелло Мастроянни, звезда итальянского кино. Но у меня еще был контракт на начало мая: мне впервые предстояло встретиться с Аленом Делоном в одной из новелл «Знаменитых любовных историй», которые ставил Мишель Буарон. Новелла называлась «Агнес Бернауэр».

* * *

Я поручила Капи и «Мадраг» Жики и Анне, в очередной раз проклиная злосчастное ремесло актрисы, которое вечно заставляло меня покидать домашний очаг, чтобы зарабатывать на свою собачью жизнь!

Мы выехали на машинах в сумерки. Кристина и Роже — впереди, в их американском автомобиле с откидным верхом, мы с Франсуа и Гуапой — следом в его «ягуаре».

Наше путешествие было прекрасным сном.

Мы приехали в Париж; мне было тяжело расставаться с Франсуа у дома на Поль-Думере. Он тоже помрачнел. Любовь на каникулах — самая прекрасная, как поется в песне. Я вернулась к Сэми, поглощенному Брехтом и «Городскими джунглями». Он не мог говорить ни о чем, кроме этого шедевра, который ставил Антуан Бурсейе на Елисейских полях с ним в главной роли. Я слушала вполуха, думая о другом, и мне ужасно хотелось чаю с молоком после шампанского, которым мы накачивались на каждой остановке.

Николя, увидев меня, заревел. Муся тщательно закутала его, боясь рецидива ангины. Мала, как всегда, выложила мне гору счетов, хлопот и забот, накопившихся с моего отъезда.

Я с тоской думала о ча-ча-ча, о ночах в «Эскинаде», о глазах Франсуа, прищуренных, с тяжелыми веками, как у коккера, полных нежности, искрометного юмора, любви...

Мои съемки продолжались неделю. Фильм состоял из новелл, я блистала в нем вместе с другими замечательными актерами. Кроме Алена Делона, были приглашены Пьер Брассёр, Жан-Клод Бриали, Сюзанна Флон, Мишель Эчеверри, Жак Дюмениль. В других новеллах — Бельмондо, Дани Робен, Филипп Нуаре, Симона Синьоре, Пьер Ванек, Франсуа Местр, Эдвиж Фейер, Анни Жирардо, Мари Лафоре.

Всегда труднее справиться с небольшой ролью, если еще при этом приходится соперничать с другими актерами, так непохожими на тебя, чем играть без конкурентов роль, которая может быть очень большой, однако допускает некоторые слабости.

Делон раздражал меня донельзя.

Надо сказать, что в то время он был невыносим: на съемках думал только о своих голубых глазах и вовсе не думал о партнерше. Позади его я видела лиловые глаза, дивной красоты лицо, великолепное тело, принадлежавшие Пьеру Массими, который играл роль его оруженосца. Ален в любовных сценах никогда не смотрел на меня, он смотрел на софит, стоявший за

моей спиной, чтобы подчеркнуть голубизну своих глаз. Я делала то же самое — говорила слова любви, глядя через плечо Делона в глаза Пьера Массими, читая в них ответную страсть.

Это было потрясающе!

Делон объяснялся в любви прожектору, я — его оруженосцу! И кто-то еще удивляется, что новелла не удалась!

Коктейль Делон—Бардо получился невыразительным!

Жаль, потому что сегодня я считаю Алена Делона одним из самых красивых и самых правдивых французских актеров, одним из тех, кто способен занять место Габена и других великих. Его талант неоспорим, его наружность изменилась с годами, как и характер, он стал мужественнее, похорошел. Когда я думаю о нынешних героях-любовниках, то благодарю небо, что больше не снимаюсь.

* * *

Покончив со «Знаменитыми любовными историями», я уложила чемоданы, чтобы ехать в Женеву, где мы должны были начать «Частную жизнь».

Луи Маль когда-то ходил в воздыхателях моей сестры Мижану и не успел еще остыть от объятий Жанны Моро — он был одним из ее любовников во время съемок фильма с таким же названием. Этот фильм обскакал меня на фестивале 1958 года в Венеции. В общем, я оказалась среди старых знакомых. Луи Маль был холоден и исполнен нежности. Он стыдился выказывать свои чувства и прятал их под толстым панцирем сдержанности, который делал его неуязвимым.

Поначалу мы с ним не очень ладили.

Я — горячая, непосредственная, вся как на ладони, что на уме, то и на языке, — столкнулась с человеком вдумчивым, методичным, который пресекал всякую импровизацию, всякий порыв и добивался действий продуманных, взвешенных, отрепетированных, черт бы их побрал! Наше с Луи Малем несходство характеров трудно было преодолеть.

По вечерам я возвращалась с Кристиной на нашу роскошную виллу над озером и горько плакала. Еще толком не начали, а я была уже сыта по горло. Этот тип оказался полной противоположностью моему представлению о режиссере, который мне нужен. Опять я буду ни на что не похожа!

И вот тут-то Кристина преподнесла мне сюрприз.

Придя однажды вечером, как всегда в унынии, я кое-кого застала в гостиной. Франсуа!

Ах, Франсуа! Какое это было счастье — увидеть тебя в тот вечер! Дом стал прекрасным — раньше я этого просто не замечала; я вдруг обнаружила, как ласково лижет вода озера мои ноги, как хороша полная луна над головой. Как ни в чем не бывало я отвечала на звонки Сэми из комнаты Кристины! Я обманывала вас обоих, но делала это не со зла, я просто решила быть счастливой. Непрочное, недолговечное счастье, да, наверно, но все же это было счастье!

Назавтра я снималась поздно вечером с Мастроянни, Урсулой Кублер и Дирком Сандерсом. Мы выходили из пиццерии с пакетами всякой снеди, собираясь с друзьями на пикник. И вдруг — хлоп! — посреди съемки в трех сантиметрах от моей головы падает горшок с геранью. А потом поднялось настоящее «народное возмущение»: в нас швыряли помидорами, старыми ящиками, банками с водой.

Со всех сторон неслось: «Убирайся во Францию, шлюха!

Оставь Швейцарию в покое!

Пусть уж тогда откроют дома терпимости, чтоб она там снималась!»

Я даже не сразу поняла, что все эти цветистые речи адресованы мне. Всевозможные метательные снаряды летели прямо в меня. Я вдруг почувствовала, как чья-то рука схватила меня и потащила в тень, подальше от камеры.

Это был Франсуа! Он втолкнул меня в машину, и вскоре я оказалась в тишине нашего дома на берегу озера. Я ничего не понимала. Что я такого сделала? Я работала, больше ничего!

За что меня так ненавидят?

Почему называют шлюхой?

Чтобы мне опять захотелось бежать, умереть?

Я безудержно рыдала над глубоким озером в глубоком отчаянии.

Мы вернулись в Париж и продолжали съемки в павильоне, на студии «Сен-Морис». Был июль, погода стояла теплая и солнечная, я мечтала о «Мадраге», о море и южных закатах.

Я приезжала домой без сил, падая от усталости.

И подумать только, что мне завидовали! Ну конечно, я же «снималась в кино». А что делали тем временем задницы, которые не были международными секс-символами? Они покрывались золотистым загаром на солнышке, плавали в соленой водичке, которую я обожаю, их любили мужчины — у всех были каникулы!

А я — я снималась в кино!

Звездам со скандальной репутацией лета не полагается.

Моя роль была написана «под меня», но на самом деле это была не я. Меня порой всю переворачивало от стыда, когда

приходилось играть какое-то драматическое событие из моей жизни. В фильме от меня было все, что лежит на поверхности. Не было глубины, вопроса «почему?», метаний, подлинного страдания.

Я была счастлива снова увидеть Сэми.

Это может показаться глупым, но он был неотъемлемой частью меня. Франсуа остался прекрасным воспоминанием из определенного образа жизни. Сэми должен был вскоре сниматься с Милен Демонжо на Лазурном берегу, а мне предстояло в августе заканчивать «Частную жизнь» в Сполето! Не успели мы снова встретиться, как уже приходилось расставаться. Думаю, всем понятно, почему браки актеров недолговечны!

В Сполето, в красивом доме, днем и ночью окруженном «папарацци», я жила как в заточении, и мне захотелось поучаствовать в веселой жизни Лулу и его друзей. Однажды я вместе с Кристиной поднялась на террасу. Там были гитаристы, Антуан Робло, большой друг Луи Маля, Клод Дави, занимающийся связями с прессой, Марчелло Мастроянни, Жан-Поль Раппено, автор сценария, какая-то женщина, очень красивая и неразговорчивая. Были спагетти, такие, как я люблю, а мне хотелось есть. Светили звезды, было тепло, и я чувствовала себя почти счастливой, как вдруг со всех крыш окрестных домов нас ослепили тысячи фотовспышек.

Это была война. Холодная война, беспощадная, в которой мы были безоружны. Вспышки полыхали, как зарницы предгрозовым вечером. Луи Маль вежливо, но твердо попросил меня спуститься «к себе».

Причиной всей этой суматохи была я. Я испортила им вечер своим присутствием — а ведь я держалась такой скромницей, такой тихоней. Ничего не поделаешь, пришлось смириться с положением вещей.

Этот случай подсказал Луи Малю идею концовки фильма. Взаперти, за наглухо задернутыми шторами, я коротаю время в «нашей» комнате, открывая дверь только лучшему другу, Антуану Робло. Марчелло Мастроянни ставит «Катарину Хайльброннскую» Клейста; спектакль будет играться на площади Сполето, на которую мне в фильме нельзя выйти, как и в жизни. В вечер премьеры, желая во что бы то ни стало быть причастной к творению любимого человека, я пробираюсь на крышу, чтобы посмотреть. Меня видит Антуан Робло, наш друг-фотограф; он нажимает на вспышку, на мгновение ослепляет меня, и я теряю равновесие. Долго, бесконечно долго я падаю в пустоту под дивные звуки «Реквиема» Верди. Некоторые считают, что для моей героини это был единственный выход. Для меня тоже.

Как странно было столкнуться с истиной, от которой я хотела бежать навсегда.

* * *

Гораздо позже, после многих неудавшихся попыток к бегству, я нашла другой, совсем другой образ жизни, который примирил меня с ней: я облегчаю страдания тех, кому неизмеримо хуже, чем нам, — животных. Но об этом мы еще поговорим.

* * *

Приехав в Сен-Тропез, я была счастлива снова увидеть Капи и Гуапу, а также Жики и Анну, которые проводили каникулы на Лазурном берегу.

Но мой дом был окружен телеобъективами.

Я снова впала в депрессию.

Однажды я загорала, свернувшись клубком в уголке между воротами и причалом, где меня не было видно, и вдруг заметила в воде презабавную американку, которая плыла, толкая перед собой деревянный ящик. Я решила, что это американка, потому что на голове у нее красовалась пестрая купальная шапочка, на которой были изображены все существующие на свете цветы — только американки способны напялить на себя такое.

Анна и Сэми спали на солнышке. Я еще глубже забилась в угол, мельком подумав, почему эта курортница купается с ящиком и что это она плывет прямо на нас. Собаки яростно залаяли, и вдруг американка встала на ноги, в одно мгновение вытащила из ящика фотоаппарат и общелкала меня в упор суперпрофессиональным объективом.

Поздно, я попалась в собственном убежище, зажатая в угол. Жики молнией метнулся, заслонив меня и осыпая американку отборной руганью, а та сняла свой шутовской колпак — и мы узнали Жоржа Калаэдита, одного из самых опасных фоторепортеров желтой прессы.

Ловко, ничего не скажешь.

В своей работе он проявил поистине дьявольскую фантазию. Они с Жики хохотали как безумные: выдумка казалась им очень смешной. Но я не смеялась. Опять меня затравили, загнали в логово, как дикого зверя, не давая ни минуты отдыха. Для них это стало игрой. Ну-ка, кто сумеет? Кто продаст за бешеные деньги ничем не примечательный снимок несчастной молодой женщины,

съежившейся в самом укромном уголке прелестного дома?

Да чем же я провинилась перед Господом Богом, что он так меня наказывает? Наверно, то же самое думают животные, когда их убивают на сафари или ловят живыми, чтобы пополнять зоопарки.

Однажды Жики в половине третьего открыл ворота, чтобы пойти прогуляться. Прямо за воротами стоял огромный автобус, набитый немцами. Ничего не понимавшего Жики тотчас со всех сторон обступили туристы.

— Ах-х! Наконец-то фи откривайт, ми уше час штём экскурсии ф том Пришит Пардотт.

Ошарашенному Жики стоило немалого труда не дать им войти. Он быстренько запер ворота и попытался разобраться, в чем дело. Это была якобы экскурсия от Средиземноморского клуба. Билеты с корешками действительно были напечатаны на бланках Клуба. Жики, вне себя от ярости, позвонил в Клуб и обругал их последними словами. Увы! У них украли билетную книжку, и негодяй, продавший за бешеные деньги экскурсию в «Мадраг» группе немецких туристов, скрылся в неизвестном направлении.

Мое терпение лопнуло, и однажды, окруженная со всех сторон, я решила, что буду защищаться, как могу. Я взяла ящик петард для фейерверка и бросала их всякий раз, стоило мне увидеть мелькнувшую тень, чью-то ногу, фотоаппарат, нос, голову, руку. Это отлично подействовало. Взрывы петард было не отличить от ружейных выстрелов. Но эта война совершенно меня вымотала.

Я вернулась в Париж, проклиная свою судьбу и фильм, съемки которого должны были начаться в первые дни 1962 года — «Отдых воина». Сэми уже играл «В городских джунглях» Брехта на Елисейских полях. На премьере я не была, но потом не раз приходила посмотреть на него и поаплодировать из-за кулис или из литерной ложи в те вечера, когда она пустовала.

* * *

Со мной случилось нечто невероятное.

Я получила письмо. Привожу его текст полностью:

«Настанет день, когда все французы, от Дюнкерка до Таманрассета, воссоединившись, вновь обретут радость жизни».

В этой цитате из выступления генерала армии Рауля Салана, главнокомандующего ОАС, 21 сентября 1961 на волнах «Радио-Франс» — суть борьбы, которую мы ведем против власти

господина Де Голля, представляющей собой последний этап перед захватом страны коммунистами.

ОАС — последний шанс Франции. Это наш оплот против коллективизма; она сражается одновременно на нескольких фронтах: против государственной власти, против коммунистов и против фронта национального освобождения. Ее мощь растет день ото дня, но необходимы большие жертвы: ежедневно люди отдают нашему делу свои жизни.

Наша задача нелегка. Нам нужна поддержка всех французов.

В связи с вышеизложенным ОАС постановила, учитывая Ваше материальное положение — актриса, дочь Луи Бардо, члена правления «Сосиете», — взыскать с Вас сумму в 50000 новых франков. Инструкции по поводу передачи указанной суммы будут Вам сообщены позднее. Просим Вас иметь в виду, что со дня получения настоящего письма Вы должны быть готовы вручить указанную сумму лицу, которое представится от имени господина Жана Франка.

Предупреждаем Вас, что:

1) Указанная сумма будет учтена и возмещена Вам при первой же возможности.

2) Невыполнение данного распоряжения повлечет за собой действия со стороны специальных подразделений ОАС.

От имени и по поручению генерала армии Рауля Салана, главнокомандующего ОАС — Ж. Ленуар, начальник финансовой службы.

12 ноября 1961”.

Я остолбенела!

Как? У меня вымогают деньги? В животе заныло! Я не знала, что делать! Это было очень опасно. Я уже слышала о взрывах в квартирах Франсуазы Жиру и Мишеля Друа, которые не дали положительного ответа на призыв Салана.

Тем временем весь дом на Поль-Думере умирал от страха.

Но не в моем характере было склонять голову.

Вот и на этот раз я решила дать отпор. Филипп Грумбах, муж Лилу Маркан, близкой подруги Вадима, был главным редактором «Экспресса». Я позвонила ему, объяснила, в чем дело, и попросила предоставить две страницы газеты для открытого ответного письма Салану и его мозговому тресту. Он согласился. В то время для этого требовалось известное мужество. Вот что я написала:

«Господин главный редактор!

Посылаю Вам письмо, полученное мною от ОАС. Я передаю его в Ваши руки, чтобы Вы использовали его наилучшим образом в Вашей борьбе против этой организации.

Сообщаю Вам также, что я, через моих адвокатов, подала жалобу на попытку шантажа и вымогательства. Я убеждена, что авторы подобных писем и те, кто за ними стоит, будут быстро обезврежены, если натолкнутся на решительный и ставший достоянием гласности отказ со стороны всех людей, которых они пытаются запугать своими угрозами и покушениями.

Лично я не пойду ни на какие уступки, потому что не хочу жить в нацистской стране.

Примите, господин главный редактор, заверения в моем искреннем уважении.

Брижит Бардо».

Я всегда сражалась в одиночку, подвергая себя порой огромному риску. Этот ответ — тому пример. В конце концов, себя и только себя я подставила под удар. Николя спокойно жил в Швейцарии с Мусей! Сэми съехал на несколько дней, пока все не уляжется! Папа и мама были достаточно далеко от дома 71 по авеню Поль-Думер, чтобы взрыв бомбы мог угрожать им непосредственно... А я сидела, насмерть перепуганная, на восьмом этаже, не зная, у кого просить помощи.

Нашлось одно частное детективное агентство, которым руководил бывший сотрудник «Пари-Матча», приятель Вадима, Жоэль Ле Так. Он прислал двух своих детективов в штатском — один дежурил у моей двери, другой у черного хода. Меня надо было охранять двадцать четыре часа в сутки. Каждый пост стоил мне целое состояние. Но моя жизнь стоила дороже.

В то время я получала много подарков, а тогда, перед Рождеством, особенно. Консьержке было дано указание звать охранника с восьмого этажа, от парадной двери, когда приходили посылки или письма. Он вскрывал все на улице, потом отдавал то, что находил безопасным, мадам Аршамбо, а та относила все мне.

* * *

Клод Боллен и Жан-Макс Ривьер решили, что я должна петь. Они не отступились, пока не одолели мою робость.

Жан-Макс был чародеем слова, гитары и дружбы. Боллен — асом оркестровой адаптации.

И вот я стою перед микрофоном и лепечу слова под дивную музыку. День ото дня мой лепет становился все музыкальнее, все больше походил на пение, и фальшивые ноты тушевались перед известным нахальством, постепенно бравшим верх над болезненной робостью моего растреклятого характера. Мне даже

понравилось петь.

* * *

Как раз тогда, перед Рождеством, когда в моей жизни царила полная кутерьма в связи со всеми этими событиями, я получила поразительное и трогательное письмо. Оно пришло из больницы в Ларибуазьере, от одной старой женщины, которая была совсем одна на свете и умирала от рака горла. Липкой лентой к листку бумаги было приклеено обручальное кольцо, единственная ее драгоценность — она дарила его мне по выбору своего сердца, даже не зная лично, она назначала меня наследницей.

Я была тронута до слез.

Письмо было написано фиолетовыми чернилами, в очень изысканных выражениях. Она ни о чем меня не просила, не жаловалась, принимала свою судьбу с большим достоинством. Она только хотела, чтобы это кольцо, связанное для нее со столькими воспоминаниями, не попало в неизвестно чьи руки. Если я приму его, она умрет спокойно.

Не долго думая, я купила портативный телевизор, украшенную елочку, шоколадные конфеты, халат из пиренейской шерсти и, нагруженная всем этим скарбом, явилась на следующий день в больницу с Мала и шофером киностудии, которого я с перепугу позвала на помощь.

Мой приезд стал сенсацией.

Мог ли кто-нибудь ожидать, что Брижит Бардо собственной персоной явится, навьюченная, как папский мул, всевозможными свертками для мадам Сюзон Пеньер, умирающей в двести восемнадцатой палате? В сопровождении всего персонала отделения я постучалась и вошла. Крошечная женщина, лежавшая на кровати, увидела меня, всхлипнула и от потрясения лишилась чувств!..

Тут началось нечто невообразимое, настоящая боевая тревога. Спешно вызванный доктор быстро навел порядок, посоветовал мне впредь не волновать так людей в подобном состоянии и поблагодарил за то, что я своим присутствием подарила Сюзон надежду на выздоровление, в которое он уже не верил.

Малышка-мышка Сюзон плакала от радости!

Ей полностью ампутировали голосовые связки, и она не могла произнести ни слова, но ее глаза говорили больше, чем любые речи. Она взяла меня за руку, увидела свое кольцо, которое я с тех пор не снимала, и ее взгляд сказал, что мне

принадлежит ее жизнь, ее любовь и безграничная нежность.

Ей исполнилось 64 года, росту в ней было метр пятьдесят пять сантиметров.

Благодаря мне она выздоровела, покинула Ларибуазьер и вернулась в свою мышиную норку в Ла-Фертэ-су-Жуарр.

Все двадцать лет, что она прожила с того дня, когда мы с первого взгляда полюбили друг друга, я была ее семьей, ее единственной опорой и надеждой.

Я любила Сюзон как неотъемлемую часть себя. Эта маленькая женщина, умная, мужественная и здраво мыслящая, порой язвительная и даже коварная, была моим талисманом, моей первой названой бабушкой. Родные мало-помалу покидали меня, а моя Сюзон давала мне поддержку, совет, житейскую мудрость.

* * *

Настал 1962 год.

Жан-Поль Стеже, мой юный друг и защитник животных, нанялся мясником на скотобойню в Виллетт. Тайком он сделал ужасающие снимки несчастных животных, которых приносили в жертву самым бесчеловечным образом. Жан-Полю было тогда 20 лет — какое же надо было иметь мужество, чтобы взять на себя подобную работу с единственной целью добыть документы, чтобы показать всему свету жестокость и гнусность французских боен.

Животные уже стали смыслом моей жизни, но что я в этом понимала? Говорило только мое сердце! Я не имела ни малейшего представления о том, что законно, а что нет. Но я горько сетовала всем своим существом, что ради благополучия людей ежедневно творится столько скрытых от глаз мерзостей.

Когда однажды январским вечером 1962 года Жан-Поль пришел ко мне на авеню Поль-Думер со снимками и подробным рассказом о трех неделях своего пребывания на бойне, я пришла в бешенство. Как может человечество принимать, терпеть и даже одобрять подобные действия?

А что же делает правительство? Закрывает глаза, как всегда.

Мне стало плохо, физически плохо — от омерзения, от сознания собственного бессилия, от боли. Я тут же позвала горничную и строго-настрого наказала ей: «Больше никакого мяса, никогда, ни на завтрак, ни на обед, ни на ужин! Никогда! Слышите — ни для меня, ни для вас».

Потом я долго плакала над фотографией, где маленький теленок с переломанными ногами и перерезанным горлом лежал весь в крови, распятый на козлах, — это было страшнее самых

страшных пыток средневековья! Что ж, раз ни у кого не находится мужества или возможностей, чтобы разоблачить это чудовищное кровавое смертоубийство, — я это сделаю!

Я не спала, не ела, ничего не могда делать целую неделю. Франсис Кон, продюсер «Отдыха воина», съемки которого должны были начаться 5 февраля, встревожился не на шутку. Я не примеряла платья, забыла о пробах грима и прочей подобной чепухе, нужной мне как прошлогодний снег! Я ходила по квартире из угла в угол, пытаясь найти решение больного вопроса. В конце концов, по совету Жан-Поля, я попросила Мала, мою верную секретаршу, добиться для меня приема у Роже Фрея, министра внутренних дел.

* * *

Роже Фрей согласился принять меня в Министерстве внутренних дел, на площади Бово в Париже. Я, разумеется, сказала об этом Жан-Пьеру, и он дал мне несколько образцов пистолетов, предназначенных для забоя крупного скота, — хотя бы самых тяжких мучений, когда животное в полном сознании медленно умирает, истекая кровью, в большинстве случаев можно было избежать благодаря выпущенной в мозг стреле, парализующей нервные центры.

Я ничего не стану от вас скрывать — знайте же, что мясо съедобно, только если животному выпустят всю кровь. А для этого нужно, чтобы сердце билось как можно дольше. То есть просто убить животное нельзя. Оно должно жить с перерезанным горлом, пока кровь не вытечет до последней капли.

Вот против этой пытки я и воевала.

Поэтому оснащение боен такими специальными пистолетами было для меня вопросом человеческого достоинства.

Я приехала в Министерство внутренних дел — одна, оробевшая, растерянная, с полной сумкой пистолетов. Очень элегантный, внушительного вида привратник усадил меня в приемной. Я напоминала себе Глупышку из комиксов! Двое строгих мужчин в штатском ходили взад-вперед мимо меня.

Один из штатских, глядя очень подозрительно, пожелал меня обыскать. Таково правило для всех, кто входит к министру. Моему возмущению не было границ. Как он смеет оскорблять меня подобным образом, да знает ли он, кто я такая? Будь я хоть Папой Римским, ему необходимо посмотреть, что у меня в сумке.

Хороша же я была! Хоть раз моя популярность могла сослужить мне службу — так нет же, эти типы, заподозрившие во

мне террористку, видимо, никогда не ходили в кино и редко читали скандальную хронику в газетах. Слава Богу, Роже Фрей услышал нашу перепалку, открыл дверь своего кабинета и поспешил ко мне с распростертыми объятиями.

В тот день я поняла, что при беседе с министром улыбка может оказаться действеннее, чем море слез. Вот только улыбаться, показывая орудия убийства, казалось мне нелепым. Однако я сдержала слезы, улыбнулась и попыталась заговорить на одном языке с сидевшим напротив меня человеком. Его куда больше интересовала моя карьера в кино, чем та трудная миссия, что привела меня к нему. Мы пошутили, поболтали о разных пустяках, но я упорно возвращалась к проблеме, которая так волновала меня.

До чего же я, наверно, его раздражала!

Какое дело министру до страданий тысяч животных? Все же он пообещал мне рассмотреть этот больной вопрос, только не теперь, когда он очень занят ОАС и ее угрозами. Я, воспользовавшись случаем, рассказала ему о шантаже, которому подвергли меня, и о том, как я тщетно искала защиты у правительства. Его это очень позабавило: я одна оказалась столь гордой жертвой.

О! Франции следовало бы взять с меня пример!

Время, отпущенное для визита, истекло, и я ушла, оставив на столе министра три образца пистолетов. Десять лет спустя они были одобрены и введены в эксплуатацию на всех французских бойнях, включенных в систему социального страхования.

После таких бесед я сознавала свою бесполезность, ничтожность, никчемность. Зачем мне нужна эта пресловутая мировая слава, если я не могу добиться обещания более легкой смерти для животных на бойнях?

Выполнив свою миссию, я готовилась уйти на три месяца в киномонашескую жизнь: мне предстояло сыграть с Робером Оссейном в «Отдыхе воина», ставил картину Вадим. Об этом знаменитом романе Кристианы Рошфор много говорили: свобода языка и нравов шокировала тех, кому хотелось бы поступать так же, да только они не смели. Таких было много! Я знала: тот факт, что я сыграю Женевьеву Ле Тей, даст лишний повод вылить на меня ушаты грязи.

Я по-настоящему устала от всего этого. Но я не могла не сняться в этом фильме: контракт был подписан почти два года назад. Два года — большой срок! То, чего хотелось тогда, может со временем стать невыносимым. Это был тот самый случай. Что делать, я очень хорошо относилась к Вадиму. Я не хотела осложнять ему работу и жизнь, но душа у меня к этому фильму

уже не лежала.

Больше подписанных контрактов, слава Богу, не было, и я решила, что это будет моя последняя картина. «Отдых Брижит» был самым дорогим моему сердцу замыслом на долгие годы вперед. Решение казалось мне окончательным и бесповоротным, и я объявляла его всем и каждому. Под впечатлением ада скотобоен я была подавлена, и вообще человечество мне опротивело.

Поскольку мне всегда в этой жизни приходилось сражаться в одиночку, я решила преподнести себе роскошный подарок к Новому году. Если сама себя не порадуешь, то кто тебя порадует? Я влюбилась в фильм Алена Рене «В прошлом году в Мариенбаде», где Дельфина Сейриг играла сногсшибательную роль в платье от «Шанель», которое запало мне в душу в десять раз глубже, чем «Номер 5»! Я решила, что должна носить точно такое же платье, и отправилась к «Шанель», где меня приняла Мадемуазель Коко собственной персоной!

Робко ступив в эту святая святых, на заповедную территорию на последнем этаже, куда не имел доступа никто, кроме прославленной законодательницы мод, я увидела перед собой Коко — вполне доступную, земную, очаровательную и, разумеется, элегантную! Она говорила мне о том, как ей ненавистна расхлябанность, как она борется за то, чтобы женщины всю свою жизнь оставались ухоженными и были как можно привлекательнее. Она терпеть не могла домашних тапочек, пеньюаров, халатов, если только они не были роскошными и элегантными. Она сказала, что женщина должна выглядеть безупречно и быть красивой в любое время дня и ночи!

Мне стало немного стыдно.

А ведь я специально для нее навела красоту! Я объяснила ей, что хочу точно такое же платье, как у Дельфины Сейриг! Она приказала снять с меня мерки. И подарила мне платье!

Спасибо, Мадемуазель Шанель, за этот незабываемый подарок.

XVIII

В феврале я встретилась на студии в Бианкуре с Вадимом и с воином, чьим отдыхом мне предстояло стать — Робером Оссейном.

Я не очень довольна этим фильмом.

Мне не удалась роль мещаночки, которая превращается в вульгарную девку ради прекрасных глаз Рено. А в Робере Оссейне было так мало от воина, что всякий поединок — будь то кулачный, словесный или любовный — приводил его в панику. Плохо подобранный дуэт, тусклая экранизация — всему этому не хватало живого дыхания, размаха, безумия. Высушенный фильм.

Я вновь вернулась к Сэми. У него были свои приключения на театральном и кинематографическом поприще. Пропасть между нами ширилась, вопреки нашей воле, вопреки подлинности и силе страсти, которая связывала нас. Ужасно быть так далеко друг от друга из-за работы, а потом с таким трудом возвращаться в прежнюю колею.

Вилла «Мадраг» протянула нам руки.

Я все-таки любила Сэми наперекор всему, и он меня тоже. Он навсегда останется для меня символом любви — любви глубокой и разрушительной, как все слишком абсолютное. Мы родились под одним знаком — Весов, и наша неуравновешенность увлекала нас в бездну всеотрицания, где мы терялись, отчаянно цепляясь друг за друга. Мы оба слишком остро чувствовали, слишком ясно видели и поэтому жили как будто с содранной кожей. Мы почти нигде не бывали, жили затворниками, нам хотелось как можно дольше побыть вместе, запастись друг другом впрок, чтобы легче было смириться с мыслью, что очередные съемки, гастроли, моя и его работа снова разлучат нас.

Дом был наполнен дивной классической музыкой — Бах, Моцарт, Вивальди, Гайдн. Я разучила с Сэми адажио из концерта для кларнета Моцарта. Только Жики и Анна, жившие на вилле «Малый Мадраг», допускались в наше уединение.

5 августа — я тогда пыталась позагорать, укрывшись от нескромных взглядов любопытствующей публики, которая заполонила причал и осаждала нас, — я узнала новость, всколыхнувшую весь мир: Мерилин Монро покончила с собой! Я была потрясена. Как эта женщина могла дойти до столь глубокого отчаяния?

На меня нахлынули мучительные, такие еще свежие воспоминания. Значит, и она тоже! Но почему? Ей удалось умереть. Мне — нет.

Что за странная сила толкала нас к самоубийству — ведь в глазах всех мы были существами исключительными и имели все, что нужно для счастья. Наверное, это не так, потому что, как ни прискорбно, еще немало женщин-знаменитостей наложили на себя руки: Роми Шнайдер, Эстелла Блен, Мари-Элен Арно, Джин Сиберг, Жаклин Юэ и, увы, многие другие.

Бедная малышка Мерилин с глазами потерянного ребенка, такая хрупкая и чистая. Она останется единственной и неповторимой, сколько бы ни делалось позорно грубых попыток подражать ей.

Осенью этого года Эдит Пиаф через Кристину Гуз-Реналь изъявила желание познакомиться со мной. Эта женщина, которой я так восхищалась, женщина, которая стала символом французского народа, его глашатаем, его рупором, оттеняя цвета нации своим неизменным черным платьем и своим огромным талантом, — эта женщина хотела меня видеть! Не может быть!

Почему именно меня?

Я была приглашена на обед в ее квартиру на бульваре Ланн, где она жила со своим мужем Тео Сарапо. И я приехала! Не знаю точно почему, но только не из любопытства и не из жалости. И что же я увидела? Лишь тень ее тени, как выразился бы Жак Брель! Уже тяжело больная, худая до жути, наполовину лысая, в шерстяном халате, она казалась отсутствующей, но присутствие духа сохраняла.

Я часто вспоминаю слова песни, которую напевали в дни моей юности, — они так ей подходят: «Где все мои любимые, все те, что так меня любили?!» Ее, столь щедро одаренную женщину, оставили наедине с собой, с болезнью, с горем, с одиночеством души, и только один мужчина был с нею и помогал ей умереть. Этот мужчина, Тео Сарапо, через некоторое время тоже умер, и сколько же ядовитых насмешек было отпущено в его адрес!

Сколько мерзости в душе человеческой!

Я решила больше не сниматься долго-долго... отдохнуть «на седьмой год», но оказалось, что я уже как бы запрограммирована. Жизнь, не подчиненная строгим графикам и работе, забавляла меня только первое время.

Потом я заскучала.

Николя и Муся вернулись наконец на Поль-Думер, но тот факт, что трехлетний малыш долго жил вдали от своего дома, нашему сближению не способствовал. Я не отличаюсь терпением, и чем больше он орал, тем сильнее я раздражалась. Я уже не решалась зайти поцеловать его, удивляясь: казалось бы, он должен быть мне необходим. Тогда я не знала, что это я ему необходима, а не наоборот.

Сэми был по-прежнему поглощен Брехтом, «Городскими джунглями», у него было свое окружение, в которое я не входила: я-то ведь звезда! Жан-Макс Ривьер и Клод Боллен соблазняли меня новыми песнями. Еще я познакомилась с композитором, написавшим для меня «Игральный автомат». Звали его Серж Гейнзбур...

Безделье начинало тяготить меня, хотя я чудесно провела время в Мерибеле — в этом заповедном местечке снег еще был чистый, никаких туристов, дивные маленькие шале и пустые лыжные трассы.

24 февраля Мижану и Патрик Бошо, этакий неотразимый Грегори Пек, наполовину швейцарец, наполовину бельгиец, телеграммой сообщили мне о рождении дочери Камиллы. Я обрадовалась и встревожилась. Мижану была дикаркой, жила богемной жизнью, ее муж пробовал себя в кино модного интеллектуального направления. Достанет ли у них средств, чтобы вырастить эту девочку? По собственному опыту я знала, что воспитание ребенка предполагает определенные обязанности, порой обременительные, с которыми я, например, справлялась плохо. И все же тот день в шале в Мерибеле стал праздником: родилась маленькая Камилла.

Благодаря Патрику Бошо в начале этого года я имела честь встретиться с Жан-Люком Годаром и его шляпой. Он являл собой полную противоположность моему миру, моим взглядам. Когда я принимала его у себя на Поль-Думере, мы не обменялись и тремя словами. В его присутствии я цепенела. А он, должно быть, был от меня в ужасе. Однако он не отказался от своего намерения и непременно хотел снять меня в «Презрении».

Он был ключевой фигурой «новой волны», я — звездой классического образца.

Какая гремучая смесь!

* * *

Я обожала книгу Моравиа и знала, что она будет безнадежно испорчена режиссурой и диалогами, идущими вразрез с оригиналом. И все-таки я согласилась. Я как будто заключила пари с самой собой, зная, что могу много проиграть, но выиграть — еще больше. И я пустилась в одну из самых немыслимых авантюр в своей жизни. В первых числах апреля я, оставив Гуапу и Николя на попечении Муси, выехала с Дедеттой, Дани, Жики и Анной в Сперлонгу, деревушку на юге Италии, где должны были начаться съемки. Моими партнерами в этой игре были Мишель

Пикколи и Джек Паланс, американский актер, похожий на мартышку, который ни слова не знал по-французски.

Отель был из самых простых, безликий, как все на свете отели, с комнатами, одинаковыми, как близнецы. Годар, в своей неизменной шляпе и темных очках, вяло пожал мне руку и пробормотал какие-то приветственные слова. Я была не в духе, мне было страшно, я трусила перед первой съемкой и хотела домой.

Когда в моем номере зазвонил телефон, я так и подскочила. Это оказался Раф Валлоне! Он был в Сперлонге и пригласил меня поужинать с ним. О да, конечно, как я рада!

Я чудесно провела с ним вечер и вернулась рано: съемка была назначена на 7 часов утра. Войдя в свой номер, я решила, что ошиблась дверью.

Пусто! Моя комната была пуста!

Ни кровати, ни чемоданов, ни мебели, ни лампы — ничего. Что за шутки? Было около полуночи, в отеле царила мертвая тишина, за стойкой портье — никого. Единственное, что я обнаружила в своем номере, — приколотую к стене фотографию мартышки с нежным признанием за подписью Джека Паланса.

Я рвала и метала: где я буду спать?

Какая скотина ухитрилась вынести всю мебель, все вещи, вплоть до туалетных принадлежностей? Я улеглась в ванне, а под голову вместо подушки подложила свои свернутые брюки. Всю ночь я не сомкнула глаз, проклиная съемки, натуру, путешествия, все на свете съемочные группы и недоумков, способных на такие идиотские розыгрыши.

К утру я просто кипела от злости.

Одетта, придя меня гримировать, вскрикнула от изумления при виде пустыни Гоби, в которую превратился мой номер! На съемку я шла как на бойню. Никто, разумеется, ничего не знал, но Жики хитро косил глазом. Не кто иной, как он, с помощью Пикколи, сыграл со мной эту шутку. Что же до Джека Паланса, он смотрел на меня умильным взглядом. Если не считать фотографии мартышки с его объяснением в любви, я его никогда в жизни не видела. Но я все поняла, когда он достал из кармана мою фотокарточку с нарисованным на ней сердечком и моей подписью, искусно подделанной Жики.

С этого дня съемки превратились в нескончаемую череду шуток и розыгрышей. Чего только мы ни вытворяли на Капри, в великолепном отеле, где нас поселили: были и ведра с водой над дверью, и натянутые перед входом в номер веревки, и всевозможные предметы в постели, и многое другое.

В Риме я сняла «Палаццо Веккиарелли» — роскошный

особняк, расположенный в двух шагах от замка Сант-Анджело и прямо напротив монастыря. В нашем распоряжении был целый штат прислуги во главе с отменно вышколенным дворецким по имени Бруно, который на работе не снимал белых перчаток.

Все они лебезили передо мной, сообщая, что «синьора контесса» (владелица дома) имела обыкновение завтракать в этой комнате... пить кофе там... а аперитив здесь... Жить в анфиладе мрачных раззолоченных комнат было невозможно: я бы шевельнуться не смогла в этих роскошных и неподъемных кандалах в стиле рококо. Я решила расположиться в спальне и смежной с ней комнате — это было что-то вроде прихожей «синьоры контессы», и, по счастью, там имелся подъемник для подачи блюд прямо из кухни.

Дедетта, Дани, Кристина в качестве пресс-атташе, Жики и Анна поделили остальную территорию — комнаты в этом дворце, с кариатидами, лепными завитушками и тяжелыми портьерами, украшенными золотым шитьем, напоминали дорогие бордели начала века.

Презрение — именно тогда я ощутила его на себе в полной мере.

Моя комната выходила, как почти во всех домах старого города, на очень красивую террасу. Там стояли вазоны с цветами, а как раз напротив находилась такая же терраса, принадлежавшая священникам, которая сразу же стала смотровой площадкой для всех римских газетчиков. Большущие, как базуки, телеобъективы были постоянно нацелены на нас, поэтому мы очень скоро приучились передвигаться на четвереньках. Это стало условным рефлексом. Каждый, кто входил ко мне, опускался на четыре конечности, чтобы не стать мишенью фотографов.

Один только Бруно, дворецкий, стоически оставался на ногах, в белых перчатках и с изумленным лицом. Представляю, какое у него с тех пор сложилось мнение о мире кино.

Та же комедия повторялась и на террасе. Приходилось ползать и прятаться за вазонами с геранью.

Однажды мама приехала меня навестить.

Ее реакция была такой же, как у Бруно: она решила, что мы слегка повредились умом. Чтобы показать ей, как на нас охотятся, я насадила один из моих париков на длинную палку и медленно приподняла ее: тотчас защелкали фотоаппараты, замерцали вспышки — противник открыл огонь из всех батарей. Это смешно, если рассказывать как анекдот. А на деле было далеко не так забавно. И все же, несмотря на постоянную осаду, мы здорово веселились в этом старом и мрачном римском дворце.

Как-то вечером нам особенно не терпелось избавиться от

Бруно, который, со своей безупречной выучкой, убирал со стола часами. Мы быстренько составили на подъемник все вперемешку — венецианское стекло, расписной фарфор XVIII века, столовое серебро с гербами, скатерть, салфетки — и вдруг услышали оглушительное: крак! Бум! Трах-тарарах! Подъемник не выдержал тяжести, и все рухнуло вниз, в кухню.

О ужас! Но как же мы хохотали!

Упал не только подъемник — мы тоже окончательно упали в глазах Бруно: с тех пор он больше не надевал для нас белых перчаток, что для него, вероятно, было выражением глубочайшего презрения.

Ах, да, в промежутках между взрывами веселья еще и съемки шли своим чередом. Это было далеко не так смешно! Годар в шляпе набекрень работал мозгами, или наоборот — Годар в шляпе работал мозгами набекрень. Кому как больше нравится.

Мы с Пикколи и Жики прекрасно спелись, разыгрывая всех, кого только можно, но Годар неизменно сохранял серьезный вид. Он с ним вообще никогда не расставался, как и со шляпой. Ну а Джек Паланс, наверно, до сих пор не может понять, какого черта его занесло в этот фильм.

Однажды Годар сказал, что меня будут снимать со спины: я должна идти прямо, удаляясь от камеры. Я репетировала, ему не нравилось. Я спросила почему. Потому что, сказал он, моя походка не похожа на походку Анны Карины.

Ничего себе, отмочил!

Чтобы я подражала Анне Карине — этого только не хватало.

Сняли дублей двадцать, не меньше. В конце концов я заявила: пусть приглашает Анну Карину, а меня оставит в покое.

В этом фильме мне не грозило влюбиться в партнера! Мишеля Пикколи я обожаю, но он мужчина не моего типа, и к тому же на голове у него постоянно была нахлобучена шляпа, даже в ванне! Вот она — «новая волна». А о бедняге Палансе и говорить не хочется.

На Капри снимали в доме Малапарте[3] — это что-то вроде рыжевато-красного бункера, прилепившегося к скале, сюрреалистическое и холодное орлиное гнездо, откуда нам открывался потрясающий вид на море. Яростные волны, пенясь, разбивались у наших ног. На этом фоне, величественном и безумном, Годар, с помощью Фрица Ланга, замыслил своеобразнейшую «Одиссею» на свой манер. Я всегда чувствовала себя несколько чуждой этому фильму. Я не вложила в него ничего из глубины своего «я». Все что я делала — исполняла указания Годара.

Жак Розье снимал «второй план» фильма: «папарацци»,

итальянцев, которые зачастую бывали несносны, говорили мне гадости или делали непристойные жесты; снимал тревоги Годара, его противоречия и сомнения. Вся эта мешанина имела огромный успех — я так и не поняла почему!

Когда за мной приехал Сэми, нам пришлось бежать с этого острова в шторм на суперсовременном катере продюсера Карло Понти. Больше я никогда там не бывала. Для меня с Капри было покончено. Въезд запрещен. Я увезла с собой воспоминание о недолгом времени, полном веселья, жизни, друзей, — это был как будто конец каникул, вернувший мне желание жить, смеяться, вдыхать полной грудью живительный воздух моих двадцати восьми лет.

* * *

Летом я познакомилась с Бобом Загури, другом Жики.

Вся полнота жизни, все веселье и беззаботность Бразилии пришли в «Мадраг». Боб танцевал как бог, у него были бархатные глаза, белые длинные зубы...

Слишком долго я жила, погрязнув в проблемах и сомнениях; меня вдруг словно прорвало, и вся жизненная сила, дремавшая во мне, выплеснулась наружу. Дом наполнился друзьями, жизнь превратилась в нескончаемый праздник, я играла на гитаре с бразильцами, танцевала в объятиях Боба. К чертям злые языки и досужие сплетни! Я на все плевала и ничего не скрывала.

Моя новая идиллия заняла все первые полосы, скандальная хроника распространила ее с молниеносной быстротой.

Сэми был в Париже. Он узнал обо всем из газет.

Это была трагедия.

Я всегда хотела иметь все сразу: и сливки снять, и денежки выручить. Боб мне очень нравился, с ним было легко и весело, наш роман не отличался глубиной, но в этом и была его прелесть. С Бобом мне было спокойно. Но потерять Сэми я не хотела ни за что на свете.

Мне нужны были они оба.

Я звонила Сэми, говорила, что люблю его, только его, я приеду завтра же, мы больше никогда не расстанемся, он — моя любовь, моя совесть, моя опора, моя последняя надежда, моя жизнь, моя смерть, время и бесконечность. Я плакала, проклиная себя за то, что изменила ему, я чувствовала себя грязной и мерзкой.

Между тем появлялся Боб, веселый, обаятельный, влюбленный, нежный, неотразимый. Он губами осушал мои

слезы, нашептывал ласковые слова, утешал. Он говорил, что увезет меня в Бразилию, покажет мне ее красоты, чистые и дикие, похожие на меня, он никогда меня не покинет — даже если мне придется сниматься на Камчатке, он поедет со мной. Я его девочка, его маленькая, его единственная, он хочет, чтобы я была счастлива, мне не идет плакать, я такая красивая, когда улыбаюсь. Он согревал мне сердце.

Я убирала дорожную сумку и наводила красоту для Боба.

Жики и Анна поджидали нас за стаканчиком вина на причале. Мы шли ужинать, танцевать, веселиться до поздней ночи. И я забывала о Сэми. Мне было так хорошо с Бобом: в нем было столько обаяния, он умел делать столько всяких вещей, которые я любила, он кружил мне голову, с ним не было проблем.

Это лавирование продолжалось недолго.

В один прекрасный день Сэми не подошел к телефону. Он покинул квартиру на авеню Поль-Думер. Вот тогда-то я по-настоящему осознала, что разрыв неизбежен.

Мне было очень больно: ведь я так любила его.

Я вдруг разозлилась на Боба: это он был виноват в том, что я причинила боль Сэми. Моя совесть была нечиста. Я пыталась найти в Бобе все то, что любила в Сэми.

Разумеется, не нашла! И он стал меня раздражать.

Он не способен на глубокие чувства. Но как послать его к чертям, я ведь останусь совсем одна? Этого я не могла даже вообразить.

* * *

«Очаровательную идиотку» я прочла еще зимой, в Мерибеле. Книга показалась мне очень смешной.

По правде говоря, история-то глуповатая, но мне в то время немного было надо, чтобы влюбиться во что угодно и в кого угодно. Ничего не поделаешь: я сказала однажды, просто так, в пространство (теперь я боюсь этого как чумы!), что книга прелестна — и все продюсеры, у которых я снималась, передрались за право экранизации. Победу одержал «Бель-Рив». В партнеры мне достался Энтони Перкинс, «недостижимый идеал» каждой женщины.

И вот я пустилась в очередную киноавантюру — отнюдь не блистательную. Хотя Эдуар Молинаро, модный тогда режиссер, проявил все свои таланты, Энтони Перкинс пустил в ход все свое обаяние, а я выглядела как нельзя более идиоткой и, по чистой случайности, очаровательной, этот фильм остался для меня

ошибкой юности, из разряда «лучше б я сломала ногу».

В Лондоне 250 журналистов и фоторепортеров оказали мне такой прием, что я начала сожалеть о Капри, о «папарацци» и об итальянцах, хотя, видит Бог, те были невыносимы!

* * *

Как ни старались продюсеры, снимать на улицах Лондона было невозможно, и они решили воссоздать столицу Англии в Булонской студии — там будет спокойнее.

Мы с Бобом вышли через кухню отеля, замаскировавшись под старичка и старушку. Я смогла час походить по магазинам, купить себе непромокаемый плащ, волынку и «морган», машину моей мечты, современную копию «бугатти», ручной сборки — роскошную игрушку, какой во Франции не найти. С доставкой через год... и то только потому, что это я!

Возвращение в Париж было нерадостным.

Как я и предвидела, горничная заявила, что уходит.

Оставалась, правда, секретарша, которая заменила мою заболевшую Мала, но эта женщина «из общества» только вскрывала мою почту, не осмеливалась вторгаться в мою личную жизнь и, вообще, знала разве только, как меня зовут, — и все!

Я никогда не умела обращаться с прислугой, даже в те времена, когда обслуживание еще что-то значило. Я не смела командовать, каждую свою просьбу заворачивала в шелковую бумажку. Я целовала их, поверяла им мои горести и радости, даже если была с ними знакома каких-нибудь полчаса. А потом, не будучи по натуре ни терпеливой, ни снисходительной, ни великодушной, могла вдруг закатить ужасающую сцену из-за пустяка! И тогда мне швыряли передник в лицо, и я сразу же сожалела о своей вспыльчивости, сознавая свое зависимое положение. Люди, которым я платила за то, чтобы они меня обслуживали, всегда судили меня без снисхождения: они меня не уважали и не стеснялись говорить в глаза все, что обо мне думают.

Мои горничные держали меня в страхе.

На сей раз предлог был следующий: она всегда работала в порядочных домах, где был один «месье» на протяжении всей ее службы. Она не потерпит, чтобы ею командовал новый «месье».

Эта женщина была права, я не должна была бросать Сэми, но я не могла позвать его обратно — слишком поздно. У Сэми тоже появилась новая подруга, я прочла об этом в газетах и чуть с ума не сошла от ревности. Но что за бред: возвращаться к любовнику,

с которым порвала несколько месяцев назад, ради того чтобы удержать горничную.

Я призвала на помощь маму, Бабулю, мою Дада и всех святых. Тогда и вошла в мою жизнь мадам Рене, вошла и осталась на пятнадцать лет. Рене Мари была незаметной и незаменимой свидетельницей многих событий в моей биографии. Она больше походила на служанку кюре, чем на домоправительницу кинозвезды. На нее я смогла наконец всецело положиться и доверить ей руль моего домашнего корабля. Даже когда менялся капитан (а за пятнадцать лет это случалось не единожды...), она не покидала своего поста.

Боб, со своей стороны, навел порядок в моих делах и подыскал мне секретаршу, достойную так называться, — она тоже оставалась со мной больше пятнадцати лет. У Боба не было определенной профессии, он занимался тем, что ему нравилось, то в Бразилии, то за ее пределами, играл в покер, курил огромные сигары «Давидофф», однако все его уважали. В нем чувствовалась какая-то основательность, наверно, она-то меня и покорила: мне было с ним надежно.

Но мои родители восприняли его совсем иначе...

Кто он такой, этот проходимец? Жиголо, заокеанский авантюрист, да еще и картежник-профессионал к тому же! Стыд и срам!

Счастье еще, что Мижану вышла за юношу из очень хорошей семьи, красивого, образованного, прекрасно воспитанного, — это немного подняло престиж семьи Бардо.

На мои подвиги как на кинематографическом, так и на любовном поприще смотрели очень косо, и мне нечем было гордиться перед папой и мамой.

* * *

Как бы то ни было, я проводила время с Бобом и моими подружками Пиколеттой и Линой Брассер в их опустевшем ресторане в тот день, 11 октября 1963-го, когда по телевидению сообщили сразу о двух смертях — Эдит Пиаф и Кокто.

Эта новость сразила нас наповал. Мы остолбенели, не веря своим ушам.

Как могло случиться, что в один и тот же день два великих человека встретились, чтобы вместе пойти по пути, ведущему в бессмертие? Тогда я еще не знала, что они останутся единственными и никто никогда их не заменит, сколько бы ни старались все те, кто тщетно пытался занять их место!

Мне посчастливилось знать их лично, и я думала о них, поневоле сознавая, что теперь, после их кончины, стану звеном в цепи и, чтобы эта цепь не порвалась, должна буду говорить о них, помнить их, пытаться донести их живые голоса до тех, кто придет после меня. Увы, мой голос потонул во множестве глупостей, в шуме, от которого нет ничего хорошего и в котором не слышно того, кто хочет сказать что-то хорошее, не поднимая шума. Но я ношу их в себе, и, пока я жива, как ни краток мой срок на этой земле, будут жить и они.

В том же октябре в мэрии Нейи под наши умиленные взгляды Анна де Миолли стала мадам Жислен, Гектор, Нестор, Жан-Батист, Огюст Дюссар — церемония сопровождалась дружным хохотом; даже в глазах мэра, Ашила Перетти, плясали искорки веселья. Что поделаешь, имена своих предков не выбирают.

Боб сразу вписался в мою жизнь.

В субботу вечером, после съемок, он заезжал за мной на студию, и мы отправлялись в Базош с Жики, Анной и компанией друзей.

Все столы в доме были реквизированы для покера. Зеленое сукно и фишки убирали только на время еды, которая тоже была сущим удовольствием: каждый готовил свое фирменное блюдо. Гараж переоборудовали в сторожку, и жена сторожа Сюзанна взяла на себя уборку, мытье посуды и покупки. Ее муж пытался хоть немного привести в порядок запущенный сад, но я-то люблю, чтобы все росло вперемешку, как Бог на душу положит.

Анна, которая ждала ребенка и была уже на солидном сроке, радовалась, что больше не приходится жить в гостиной. Моя бывшая спальня на первом этаже, обтянутая розовой набивной тканью, превратилась в комнату для гостей. Мы с Бобом уже подумывали о том, чтобы снести перегородку между столовой и кухней: получится просторная гостиная. Тогда в нынешней гостиной придется оборудовать кухню. В общем, мы строили далеко идущие планы, но какой же бордель нас ожидал!

Я всегда испытывала неописуемый ужас перед работами, превращающими дом — жилой, теплый, полный милых сердцу мелочей — в грязную строительную площадку, где растения вянут, забрызганные известкой, рушатся стены, а безобразные блоки громоздятся, как для сооружения противоатомного бомбоубежища.

В тот уик-энд, 22 ноября, когда мы строили очередные воздушные замки и смотрели телевизор, сообщили о гибели Джона Кеннеди. Трудно было поверить, это не укладывалось в голове. Будто кошмарный сон. Смерть «напрямую», заснятая десятками кинокамер, запечатленная на тысячах снимков.

Боб устроил наш отъезд в Бразилию.

Я еще никогда в жизни не пересекала Атлантику. Мне предстояло расстаться с самыми близкими мне людьми, с моими привычками, со всем, что давало мне уверенность.

Прости-прощай, строительство, шум, Муся, Гуапа, милые сердцу привычки, мои будни, мой Николя.

Как Христофор Колумб XX века, я отчалила январским вечером 1964 года на небесной «каравелле» в Рио-де-Жанейро.

Я никогда не любила всецело зависеть от спутника, но и одна бы в случае чего не справилась, будучи пленницей своего образа и своей известности, поэтому меня сопровождали Жером и Кристина Бриерр, директор «Юнифранс-Фильм» и «паблик-рилейшн» моих фильмов. Мало ли что! Путешествие предстояло долгое, и я, зная, что встречать меня завтра соберутся все бразильские фоторепортеры и что мне нужно быть красивой, нарядной и фотогеничной, напялила на голову темный парик: в отличие от моих длинных волос он не будет выглядеть растрепанным после четырнадцати часов полета.

Короче говоря, я вышла из самолета в Рио, еле держась на ногах, чуть не плача, растерянная в незнакомом месте, усталая, — и после кондиционированного воздуха меня будто окатили расплавленным свинцом. Мой парик был как меховая шапка, и я чуть не потеряла сознание от жары, а вспышки между тем мерцали, вопросы сыпались, и люди смотрели на меня, не узнавая: я оказалась брюнеткой! Преследуемая по пятам ревущей толпой и машинами, полными фоторепортеров, я не помня себя влетела в квартиру Боба на «авенида Копакабана».

И столкнулась с ватагой его дружков, которые жили здесь же, на паях, со своими бразильскими подружками. Вся эта братия говорила только по-португальски. Я совсем растерялась, расстроилась, я была чуть жива от усталости. Не зная, как быть, я отчаянно цеплялась за Жерома и Кристину.

Мне хотелось немедленно уехать домой.

* * *

Пока все газеты и телевидение кричали обо мне, Боб без лишнего шума увез меня в Бузьюс.

В Бузьюсе не было ничего.

Ни электричества, ни телефона, ни холодильника, ни водопровода — только море, небо, уютный деревенский домик, мягкий золотой песок да несколько разноцветных суденышек, на которых выходили в море местные рыбаки.

Я наконец открыла настоящую Бразилию и обрела настоящий покой: никто здесь обо мне и не слыхал, никто не мог меня узнать. Из ада цивилизации я перенеслась в еще не тронутый ею рай. Я говорю «еще», потому что после моего пребывания это место превратилось в бразильский Сен-Тропез. Мне кажется, будто я повсюду приношу с собой разрушение.

Но не будем забегать вперед.

Вечерами, под защитой москитной сетки, раскинутой над кроватью, как фата новобрачной, я открывала для себя Симону де Бовуар, читая ее книгу «Второй пол». Парадоксально, но это так.

Мы не выбираем мест, где читаем те или иные книги. Главное — прочесть их, понять или отринуть, но узнать. Только так можно определиться в своих мыслях и в жизни.

Всему на свете приходит конец.

Увы! Пришлось и мне покинуть сказочный сон и вернуться в реальный мир: снова аэропорты, люди, Париж и профессинальные обязательства.

Я была еще вся пропитана солнцем и негой, в ушах у меня еще звучал тягучий и чувственный бразильский выговор, и я поспешила записать пластинку на 45 оборотов с одной из самых красивых моих песен «Мария Нинген», имевшей успех в узких кругах. Это медленная боса-нова, спеть которую мне стоило немалого труда: я совершенно не знаю португальского, и Боб записал мне слова в фонетической транскрипции. Я не понимала ни словечка из того, что говорила, но говорила с убеждением. Когда мне случается слушать эту пластинку, я нахожу, что неплохо справилась.

Я пела по-французски, по-английски, по-испански и по-португальски — на четырех языках, это уметь надо!

* * *

Тем временем Луи Маль вынашивал революционный замысел и хотел столкнуть меня с Жанной Моро в очень зрелищном и очень дорогом фильме, который он собирался снимать в Мексике: «Вива, Мария!».

О-ля-ля! Это шанс моей жизни, говорила мама Ольга, я смогу наконец доказать всем, что я не просто красивая, что я лучше, чем шаблонный образ, растиражированный газетами. Я должна была поднять перчатку, сыграть с Жанной Моро и стать равной ей в глазах публики.

Решиться было нелегко.

Дух соревнования во мне не силен, но я ненавижу

проигрывать. Надо было играть наверняка. Я сильно рисковала. На одной чаше весов были моя беспечность, некоторая лень и стремление идти легким путем, которое порой доминирует во мне, на другой — гордость, желание победить, показать и доказать, какая я на самом деле многогранная, и безумная надежда, что непревзойденному таланту и сильной личности Жанны Моро меня не затмить. Сниматься предстояло в Мексике.

И все-таки я согласилась, к великому облегчению всех, кто, затаив дыхание, ожидал вердикта.

28 сентября 1964 года мне исполнилось 30 лет!

Это было событие, я ушам своим не верила: я перешла в клан зрелых женщин, как во времена Бальзака! Для меня самой ничего не изменилось. Я всматривалась в зеркало, искала то необратимое, что должен был оставить на моем лице возраст. Ничего особенно ужасного я не разглядела. «Пари-Матч» прислал ко мне одного из своих самых знаменитых репортеров и лучшего фотографа. Меня допросили с пристрастием, выпытали всю подноготную, сфотографировали во всех ракурсах, и событие стало достоянием мировой прессы: «Б.Б. 30 лет!»

Это был маленький скандал, оскорбление величества.

Секс-киска, секс-бомба, женщина-вамп, неотразимая, взрывоопасная — старела...

Пока эту новость на все лады комментировали газеты всего мира, я спокойно пила шампанское в окружении близких в славном ресторанчике моей подруги Пиколетты в Гассене.

Я получила единственный и самый лучший подарок — осленка по имени Корнишон. А потом Боб увез меня «навстречу осени, в город под дождем, я не открыла никому мою печаль, она была со мной, как старый друг». Всем известные слова этой дивной песни «Мадраг» лучше всего иллюстрировали состояние моей души.

На Поль-Думере я бродила как неприкаянная, мне было не по себе. Николя и Муся остались у Жака. Мне предстояло уехать на несколько месяцев, у отца ребенку будет лучше, чем в пустом доме. Конечно, кто спорит! Но я чувствовала себя как-то странно, думая об опустевшей квартире за дверью напротив.

Боб по вечерам уходил: ночи напролет он играл в покер почти как профессионал и возвращался на рассвете при больших деньгах или с пустым карманом, в зависимости от везения. Я же прижимала к себе мою маленькую Гуапу: спать одна я не в состоянии и поэтому делила постель с собакой.

Потом меня замучили примерками костюмов для «Вива, Мария!», я учила мелодии и слова песен, которые должна была петь с Жанной, и наконец познакомилась с ней.

Жанна оказалась безыскусной, манерной, душевной, твердокаменной — в общем, такой, как я ее себе представляла, с ее поразительным даром обольщения, за которым ясно виделся характер, выкованный из закаленной стали. Она не показалась мне красивой, но это бы еще полбеды — она была опасной. Мы прорепетировали нашу песню, обняв друг друга за талию, как две девчонки. Мой голос срывался, ее — звучал в полную силу. Она ласково улыбалась мне.

Я понимала, почему мужчины от нее без ума.

Поскольку я уезжала далеко и надолго, Боб предложил мне провести Рождество в Бразилии, а уж оттуда отправиться в Мексику. Несколькими днями больше, несколькими днями меньше, в конце концов, почему бы и нет?

Потом я простилась со всеми, кого любила: с папой и мамой, с Бабулей и Дада, с Гуапой, которая оставалась на попечении мадам Рене. Ехать так ехать. В сопровождении моих десяти чемоданов, Боба и Жики в качестве личного фотографа звезды я отбыла в Рио.

Парик я на этот раз не надела: я должна была выступить в своей роли с открытым забралом.

* * *

Этот небольшой крюк пошел мне на пользу: в Бразилии было чудесно.

Меня ждали веселые дружки Боба, та же квартира, все такая же грязная, но уже знакомая, Пения — славная толстая негритянка, добродушная и мудрая мамаша всего этого странного семейства. Жоржи Бен, признанный король боса-новы, пришел к нам поиграть на гитаре, чтобы доставить мне удовольствие. Знаменитая песня «Brigitte Bardot, Bardot, Brigitte Bejo, Bejo...» звучала на всех углах. Мужчины и женщины, встречая меня на улице, посылали воздушные поцелуи: «Oh Brizzi, Brizzi, me gusta tu voze». Это значило: «Мы тебя любим».

Мне хотелось танцевать вместе с ними, кружиться в искрометном вихре их жизнерадостности, затеряться в этой пестрой, улыбчивой толпе. Бразильцы — просто прелесть.

Это и было бы счастье!

Рождество мы провели в Бузьюсе, у Рамона Авелланеды, аргентинского консула в Бразилии, и его жены Марселлы.

В сочельник мы нарядили вместо елки пальму — шары, гирлянды и тепло укутанные деды-морозы грустно свисали с веток вместо кокосов. Мы наполнили всевозможными подарками

наши туфли — вернее, резиновые шлепанцы и сандалии — и вместо полуночной мессы всей компанией пошли купаться.

Я сохранила странное воспоминание о единственном в моей жизни Рождестве, «не похожем на другие», о Рождестве наоборот, наперекор всем традициям, с этой жарой и обстановкой, являющей собой полную противоположность всему, что символизирует Рождество. Через несколько дней — я этого почти не осознала — 1964 год кончился.

XIX

В Рио меня ждали Жики, мои чемоданы, мое имя, мой статус, фоторепортеры и мое предназначение.

Я отбыла в Мексику с помпой, подобающей особе моего ранга.

Когда мы приземлились в Перу, в Лиме, я умолила стюардессу разрешить мне остаться в самолете, не выходить со всеми пассажирами. Было невыносимо жарко, а у трапа меня поджидала толпа. Коренастый человек с раскосыми глазами, чистокровный индеец, поднялся ко мне в самолет. Он говорил мне что-то на непонятном языке, отчаянно жестикулируя. Я ничего не понимала. В конце концов мне объяснили, что это не то мэр, не то какой-то видный депутат, и он хочет подарить мне что-нибудь на память о Перу. Я должна только сказать, что бы мне хотелось, и он распорядится немедленно это доставить.

Я была тронута.

Мне редко что-нибудь дарят, ничего не требуя взамен. Все эти люди были на вид бедными и очень простыми, а мой собеседник, поставивший себя в зависимость от прихоти звезды, казался искренне взволнованным нашей встречей. Мне вдруг вспомнилось приземление, сушь, пыльно-серый цвет растрескавшейся земли, однообразная скудная равнина, какой-то лунный пейзаж овеянной мифами страны. И я попросила у этого человека горсть перуанской земли: это будет самый лучший подарок.

Наверное, он счел меня сумасшедшей!

Я видела, как он спустился по трапу, крича: «Она хочет немного земли, где мы ее найдем?»

И правда, мудрено было найти эту самую землю на бетонных дорожках аэропорта и в сувенирных лавочках, где ждали покупателей куклы, полудрагоценные камни и изделия местных кустарей. Но он вернулся, весь в поту, запыхавшийся, на грани апоплексического удара, с маленьким мешочком в руках — там была земля Перу.

Я сохранила этот единственный в своем роде, такой странный сувенир. Иногда я смотрю на него и думаю о далекой стране, откуда я увезла немного земли январским днем 1965 года.

Прибытие в Мехико было сущим безумием, но я этого ожидала.

Директора фильма, ассистенты и Луи Маль собственной персоной встретили меня у трапа. Красная ковровая дорожка была расстелена до здания аэропорта, и я прошла по ней в адской

какофонии и несусветной давке.

Первой остановкой в моей долгой мексиканской авантюре стал отель «Лума». Там меня ждали Дедетта, ее сын Жан-Пьер, мой парикмахер и еще несколько знакомых лиц, в том числе мама Ольга — я уцепилась за них, как утопающий за соломинку.

Я не смогу, не смогу жить здесь, мне одиноко, все вокруг чужое, я устала, издергалась вконец. Я плакала, говорила, что хочу домой, что уплачу неустойку...

Боб заставил меня выпить отлично смешанный «банана-дайкири», заказал легкий ужин. Я с удовольствием приняла ванну и уснула как убитая, даже не подумав о том, что надо бы переставить мебель...

Съемки начались только через несколько дней.

Сначала пришлось знакомиться со всеми актерами и персоналом, примерять костюмы, пробовать грим и прически на студии в Мехико. Нам надо было притереться друг к другу и приспособиться к непривычной высоте, 2250 метров, от которой порой перехватывало дыхание. За исключением нескольких французов — в их числе Полетта Дюбо, чью доброту и поддержку на протяжении всех этих нелегких съемок я никогда не забуду, — все роли исполняли мексиканцы, да еще Грегор фон Реццори, немецкий актер, который играл моего тестя в «Частной жизни» и тоже стал мне прекрасным и надежным другом.

В Мехико мы надолго не задержались.

Настоящая наша штаб-квартира находилась в Куэрнаваке, где для меня сняли великолепную асьенду. Я еще не видела Мексики, знала только один маршрут: отель — студия и студия — отель.

Я с восторгом открывала для себя потрясающий мир — Мексику. В Куэрнаваке я сразу влюбилась в асьенду, ставшую моим пристанищем.

Это было орлиное гнездо, прилепившееся прямо посреди городка, защищенное высоченными каменными стенами, которых не было видно под пышной зеленью. Огромная калитка, деревянная, окованная железом, выходила в переулок, замощенный булыжником, как в старину; по обеим сторонам в стену были вделаны бронзовые кольца, чтобы привязывать лошадей. Патио, внутренний дворик, был полон цветов и экзотических деревьев — гибискусов, авокадо, апельсиновых, — которые окружали старинный дом в колониальном стиле.

Я познакомилась с Марикитой и ее дочерью Марией — это были две чудесные индеанки с длинными, черными, блестящими от масла косами ниже пояса. Они прислуживали мне и оказались единственными по-настоящему работящими, добрыми, честными, верными и преданными людьми, которых мне довелось встретить

в жизни.

Я всегда обожала читать, я просто жить не могу без книг, это как будто вторая жизнь, способ уйти от действительности в мечту, в иллюзию. Среди множества ненужных вещей в моем багаже нашлось несколько томов «Анжелики». Я в свое время, даже не заглянув в книгу, отказалась сниматься в экранизации. Теперь я готова была локти кусать! Буду знать впредь, как выносить скоропалительные и категоричные решения. Я знаю за собой этот недостаток, он преследовал меня всю жизнь, виной тому — смесь лени, равнодушия и беспечности, сыгравшая со мной не одну злую шутку.

И вот, пока Жанна Моро учила роль, репетировала сцены, выстраивала по камушку силу и профессионализм своей игры, я пускалась очертя голову в захватывающие приключения вместе с несравненной Анжеликой, которую блистательно сыграла Мишель Мерсье. Низкий ей поклон! И браво!

Мы трое — Жанна Моро, Луи Маль и я — жили в сказочных домах в окружении необходимых нам советников. Каждый мнил себя центром вселенной и всевозможными ухищрениями старался привлечь к себе как можно больше внимания.

У Луи все мужчины ходили с оружием и стреляли по мишеням, по бутылкам и просто в воздух в ознаменование различных событий, по мексиканскому обычаю.

У Жанны пили шампанское, лакомились белыми трюфелями. Пьер Карден регулярно присылал ей лучшие платья из своей последней коллекции.

У меня был полон дом друзей, гитара, карты, игры, единственная одежда для всех — набедренные повязки, много смеха и танцы до поздней ночи под музыку мариачис. Ален и Натали Делоны погостили несколько дней в нашей богемной компании.

* * *

В один памятный январский день мы приступили к съемкам.

Фургончики с кондиционированным воздухом, служившие нам уборными, грузовики, электрогенераторы, столовая на колесах и прочее заполонили маленькую площадь. Целой армией, подобно опустошительным полчищам саранчи, мы вторглись в мирную деревушку Куаутла, нарушив ее покой.

Это был старт, первый шаг по длинной и коварной трассе, только начало ожесточенной схватки, в которую, не подавая пока виду, готовились вступить две урчащие тигрицы, две чемпионки,

два лидера и претендентки на победу в финале — победу, которую ждал весь мир. Международная пресса, осточертевшая, но необходимая — еще как! — всякому дорогостоящему фильму, общелкивала в упор зазывно-томную Жанну и лукаво-сексапильную Брижит.

Это был только первый день!

А нам предстояло работать... почти до середины года!

За время этих съемок мне довелось увидеть недоступные заповедные места, куда еще не ступала нога туриста. Я была зачарована, открыв для себя чистое и непокорное сердце великой и жестокой цивилизации. Величественные пейзажи, бескрайние горизонты, пустыни, грозно ощетинившиеся множеством кактусов, ошеломляющие контрасты: сушь, избыток влаги и вечные снега. А над этим ландшафтом вечная угроза — Попокатепетль восседал как мудрый и строгий дед, спокойно покуривая.

За пышностью природы скрывались нищета, голод, смерть. Не сосчитать, сколько раздавленных собак, мертвых лошадей и ослов, погибающих от истощения животных видела я на наших дорогах!

Иногда, если я была не слишком вымотана, я ездила посмотреть на пирамиды Луны и Солнца. Жики запечатлел наши встречи с этими поразительными свидетелями прошлого. История манит меня, и, глядя на эти великолепные снимки, я до сих пор еще мечтаю.

Остатки древних цивилизаций глубоко взволновали и потрясли меня. Я могла часами смотреть на них, трогать их камни, пытаясь проникнуть в их загадки, в их историю.

Слава Богу, в Мексике не было «папарацци», и я могла почти спокойно любоваться диковинками, которые мне удалось посмотреть в немногие свободные часы.

Я побывала в разных странах, но больше всех я полюбила Мексику. В Мексику мне хотелось бы вернуться, о Мексике я храню самое глубокое и самое прекрасное воспоминание.

Пока Жанна в объятиях Джорджа Хэмилтона снималась в немногих любовных сценах фильма, которые она, говорят, основательно прорепетировала вне съемочной площадки, я поспешила в Хочимилько, мексиканскую Венецию, где гондолы, полные цветов, пьянящих своими красками и ароматами, скользили по воде каналов в густой тени, под звуки оркестров мариачис, разместившихся там и сям перед ресторанчиками.

Это была причудливая симфония дивного звука и света народной поэзии. Зрелище для туристов — да, несомненно, но в нем сохранилось что-то кустарное и архаичное. Я смотрела во все

глаза, запасалась впрок незабываемыми воспоминаниями. Я жила.

Съемкам не было видно конца, я от них уже устала, а между тем это были еще цветочки.

Как Жанну, так и меня постоянно окружал шумный и назойливый мозговой трест. Гримерши, парикмахеры, костюмерши, импресарио, пресс-атташе, фотографы, друзья и дружки — целая армия болельщиков, готовая грудью встать за «свою».

Мы обе стали их собственностью, и они пускали в ход все средства, чтобы выжать из каждой максимум возможного в ущерб другой. Когда мы обе были заняты в сценах, наши гримерши, как тренеры боксеров, не только припудривали нам носы, но и нашептывали на ушко, указывая на мелкие недочеты в игре или в движениях. Наставлял нас Луи Маль, но тонкости исполнения на протяжении всех съемок подсказывала каждой ее гримерша: зная нас лучше, чем кто-либо, они помогли обеим избежать многих ошибок.

На войне как на войне.

У меня имелось перед Жанной преимущество в возрасте и во внешности. Я была моложе, красивее, лучше сложена, умела двигаться и инстинктивно играла на своей естественности, которая всегда с лихвой восполняла мои недостатки — лень и слишком вольные манеры.

Жанна брала своим отточенным умом, своим талантом опытной актрисы и играла на своих чарах, беспощадных и неотразимых. С рассчитанным профессионализмом она умела использовать любую ситуацию так, чтобы максимально блеснуть своими козырями. Играла она и на том факте, что у нее был с Луи бурный роман во время съемок «Любовников».

Даже если Луи и питал некоторую нежность ко мне, когда снимал меня в «Частной жизни», в его жизни я не занимала такого места, как Жанна. Правда, Луи собирался вскоре жениться на Анн-Мари, замечательной женщине, чистой, строгой, светской и прямолинейной, что должно было положить конец всем этим двусмысленностям.

Самые лучшие фотографы из самых знаменитых газет всего мира тянулись чередой на съемочную площадку. Все хотели эксклюзивной съемки, портретов, репортажей о нашей домашней жизни. Мне и без того хватало: съемки с утра до вечера, целый день гримироваться, причесываться, надевать все эти шляпы, корсеты, сапоги, я работаю до изнеможения, валюсь с ног от усталости, так пусть хоть в воскресенье мне дадут расслабиться, искупаться, поспать, погулять, поездить по стране.

Пусть меня оставят в покое!

И вдруг в один прекрасный день явилась мама Ольга. Она прилетела прямо из Парижа и в ярости потрясала пачкой газет с Жанной на всех первых полосах. Повсюду красовалась одна только Жанна, все писали только о Жанне, по-английски, по-французски, по-немецки, по-итальянски и даже по-японски.

Ох, мамочка! Кровь застыла у меня в жилах!

Затем Ольга рассказала мне, что Жанна уже торжествует победу. Что она видела в Париже отснятый материал, и все преимущества на стороне Жанны. Она сумела выгодно подать свою роль, особенно любовную сцену с Хэмилтоном, а я лишь оттеняла ее.

Ох, мамочка! Моя кровь закипела!

С этого дня для меня было вопросом чести выиграть пари, которое я заключила сама с собой, согласившись сниматься. Пусть Жанна вырвалась вперед на старте, уж на финише я возьму свое, как в покере. Беспечности моей как не бывало, я рвалась к победе, самолюбие и гордость двигали мной, удесятеряя мои силы. О! Они у меня увидят, то ли еще увидят, эти паршивцы-фотографы!

И они увидели. И весь мир увидел и видит до сих пор.

Сколько я фотографировалась — и вечером, и в 5 часов утра, едва проснувшись, и в воскресенье! Я открыла им двери: прошу, я вся ваша, дерзкая и порочная, улыбающаяся и надутая. Во всех ракурсах, во всех видах, со всех сторон. Я играла им на гитаре, пела для них, танцевала, вся такая задорная и чувственная, — в общем, я им выдала сполна.

На съемках я больше не капризничала по пустякам. Я догоняла поезд и карабкалась на ходу, перепрыгивала с вагона на вагон по крышам. Я рисковала сломать шею, ужасно трусила, но я это сделала. Я переходила вброд илистую реку, черную, вязкую, с пиявками, крабами и какими-то вонючими длинными водорослями. Вода доходила мне до подбородка, меня тошнило, я боялась ступать в этой мерзкой клоаке, но я это сделала. В Теколутле мне пришлось купаться в устье реки, где кишмя кишели акулы; рабочие били вокруг меня в барабаны, чтобы их отпугнуть. Один лишился там ноги.

Я умирала от страха, но я это сделала.

Мама Ольга не могла нарадоваться новому обороту событий и подарила мне на Пасху двух утят — они были совсем маленькие, пушистые, желтенькие, беззащитные и растерянные.

А у меня в то время уже жила собачка, которую я подобрала. Эта маленькая Гринга растрогала меня, когда, вместо того чтобы наброситься на оставленную для нее кость, прыгнула за мной в машину.

Трагедия разыгралась, когда один из утят, которого я прижимала к груди, выскользнул у меня из рук и упал в траву. Гринга моментально схватила его и разорвала в клочки. Я, пытаясь спасти утенка, в смятении упустила и второго. Сколько было крика и плача, какое горе! Гринга, терзая свою маленькую окровавленную добычу, второго утенка не заметила. Она получила хорошую взбучку и была заперта в моей комнате, пока мы, оплакивая крошечные останки, тщетно искали пропавшего братика. Все мои домочадцы ползали на четвереньках, обшаривая каждый уголок сада и дома.

Утенок как сквозь землю провалился!

Нашла его Марикита, поздно вечером, когда хотела подмести кухню: он дрожал, съежившись под метелкой из перьев в самом дальнем углу чуланчика, где хранились щетки и тряпки. С этой минуты мой прелестный малыш, крошечный и слабенький, стал считать меня своей матерью.

Мы были неразлучны. Он спал в постели у меня под мышкой, я брала его с собой на все съемки, ел он со мной за столом, мы вместе купались и в бассейне, и в море.

Когда пришло время окончательно покинуть Куэрнаваку и отправиться в далекие края, где должны были сниматься следующие эпизоды фильма, я оставила Грингу Мариките, но утенка взяла с собой.

Папа присоединился ко мне еще в Мехико.

Наверное, пригласив папу в Мексику, я сделала ему один из лучших подарков в его жизни. Эрудированный, любознательный, неравнодушный к красоте и к истории, он зачитывал мне из путеводителей, с которыми не расставался, исторические подробности, связанные с памятниками, которые мы осматривали. Так, Жики запечатлел нас, типичных туристов, на фоне легендарной пирамиды Тахина, в которой 365 ниш, по числу дней в году, и в каждой находится каменная статуэтка бога — кажется, Майя, — посвященная своему дню.

Затем вся съемочная группа, уже порядком уставшая после четырех месяцев работы, медленно двинулась дальше, к тропической жаре и нестерпимой духоте, в городок под названием Теколутла, а папа отправился в Камерон, поклониться мемориалу героев Французского иностранного легиона — это было 24 апреля 1965 года[4].

В Теколутле комфорт был сведен до минимума.

Не было даже гостиницы — только мотель, где стены от сырости так и сочились теплыми грязными каплями. Дряхлый, скрипучий вентилятор, облепленный дохлыми насекомыми, распространял свое зловонное, обжигающее дыхание. Удобства —

омерзительный умывальник в углу и стенной шкаф, кишащий тараканами.

Телефона не было. Все пахло затхлостью, смесью перегноя с морской солью: бушующие волны океана, подернутые смолистым налетом, с оглушительным гулом разбивались на множество сверкающих капелек в нескольких метрах от кокосовых пальм, окружавших это странное и мрачное место. Чистя зубы, мы полоскали рот «кока-колой», чтобы не глотнуть воды; даже принимать душ надо было с большой осторожностью.

В общем, я хотела уехать немедленно. Не могло быть и речи о том, чтобы сниматься в таких условиях, тем более что — вот невезение! — снимать предстояло эпизоды боев и партизанской войны, где были мои самые важные сцены, а Жанна почти не появлялась.

И все-таки никуда я не делась.

Съемка на следующий день — это было нечто.

Хуже смертной казни. Загримироваться невозможно: все текло. Причесаться невозможно — все слипалось. Одеться — это и вовсе была трагедия: я задыхалась в шерстяной юбке, в корсаже с накрахмаленным стоячим воротничком и галстуком и в высоченных, до колен, ботинках на шнуровке. Ноги мне обрызгали каким-то составом от насекомых: среди тропических паразитов могли оказаться опасные. Инсектицид плюс жара и пот — и несколько дней я ходила с ожогами на ногах и на ляжках. В общем, я пребывала в плачевном состоянии!

Луи Маль положил себе на голову пузырь со льдом и нахлобучил сверху шляпу! Счастливчик. У всей съемочной группы началась «болезнь туристов». Меня она тоже не миновала! Мы все просто подыхали. Даже у моего утенка был понос!

У Жанны так упало давление, что она слегла на несколько дней. Врач-мексиканец, сопровождавший съемочную группу, день и ночь оказывал нам помощь и пичкал лекарствами. Единственной пищей, которой нас здесь потчевали, были крабы и ванильное мороженое: Папантла, столица ванили, находилась неподалеку.

Какая гадость!

Прости-прощай, серебряная посуда, белые трюфели, ужимки и кривлянья — теперь мы все были на равных и боролись, чтобы выжить в этом аду, снявши маски и штаны — по разным причинам. Мы увидели друг друга такими, какие мы есть. Зрелище было не из приятных, ох, не из приятных.

* * *

В этой изнуряющей жаре мои силы были на исходе, но на исходе была и война, и съемки тоже. Я победила крепости и вражеские армии, я захватила — и какой ценой! — пулеметы противника, скоро, скоро я смогу вернуться в цивилизованные края.

Следующая остановка предстояла недолгая.

А потом — потом для меня съемкам конец! Свобода!

Директор отеля, самодовольный, надутый тип, смотрел на меня сальными глазами, когда я явилась с моим утенком.

У них в саду было что-то вроде маленького зоопарка, где розовые фламинго, утки, гуси, ибисы, самые разные птицы с грехом пополам привыкали жить общей стаей, что по природе им не свойственно. Дело в том, что уехать с утенком я не могла. Во-первых, я неминуемо должна была задержаться еще на несколько дней в Мехико. А потом — перелет с посадкой в Нью-Йорке, всякая живность и растения под запретом. Полетта Дюбо и Дедетта посоветовали мне на пробу оставить моего утенка на одну ночь в стае!

С болью в сердце я оставила его в эту первую ночь за решеткой, такого потерянного среди других птиц, абсолютно чужих ему. Он плакал, звал меня, натыкаясь на железную проволоку, которая впервые в жизни стала на его пути. Я до утра не сомкнула глаз, терзаясь угрызениями совести, горюя, тоскуя без моего чудесного маленького друга.

На другой день я нашла моего утенка догола ощипанным, но еще живым. Он подвергся нападкам и насмешкам всей стаи, не умел постоять за себя, он был такой слабенький и не понимал своего нового положения. Я лечила его меркурохромом, целовала и ласкала, потом с тяжелым сердцем пошла на съемку. Еще целую неделю я держала утенка при себе, врачуя его раны.

Затем настало время уезжать.

* * *

Дома все показалось мне тесным, смехотворно маленьким, жалким и пошлым. Я побывала в мире величия, просторов, бескрайности, и теперь мне не хватало места в Париже, я задыхалась на авеню Поль-Думер, мне был мал французский дух, так непохожий в своей узости и ограниченности на возвышенную и страстную натуру людей, которых я только что покинула, чьим духом еще была пропитана. Зато моя Гуапа радовалась моему приезду.

Я помчалась в Базош.

Дом, оправившийся от работ, был великолепен — как будто по взмаху волшебной палочки, он преобразился в одно мгновение.

Был даже бассейн, точь-в-точь как в Куэрнаваке! Я в свое время послала план и фотографию — теперь, если я прищурю глаза, мне будет казаться, что я снова там. Еще я велела вырыть маленький пруд на болотистом лугу — он полностью изменил пейзаж, кроме того, собирал воду всех окрестных ключей, и стало не так сыро. Глядя на пруд с плоскодонкой и почти совсем закрыв глаза, я представляла себе плавучие сады Хочимилько. Я думала о моем милом утенке — как хорошо было бы ему здесь, добейся я разрешения взять его с собой.

Реадаптация далась мне трудно еще и потому, что на меня свалились неожиданные проблемы.

Жак решил полностью поручить Николя заботам своей сестры Эвелины. Мать многочисленного семейства, она сумеет лучше меня обеспечить ребенку правильное воспитание в здоровой, незагрязненной среде, близ Монпелье. Я долго размышляла, прежде чем согласиться с этим категоричным и бесповоротным решением.

Имею ли я право воспротивиться воле отца ребенка?

Есть ли у меня желание, время, терпение, чтобы посвятить три четверти жизни воспитанию сына?

Когда горничная уходит, потому что не знает, кого ей называть «месье», — это еще куда ни шло. Но если ребенок будет травмирован на всю жизнь тем, что его мать меняет любовников, как перчатки, в зависимости от погоды и настроения, от ссоры или случайной встречи, — это дело другое, гораздо серьезнее. Не зная, как быть, я дала согласие, фактически отказавшись от своего единственного ребенка и лишившись счастья, которое знает каждый, у кого есть дети.

Сегодня я не убеждена, что решение, на котором настаивал Жак, было верным. Николя носит в себе глубокую рану. Наши отношения, хоть мы и близки с сыном уже много лет, страдают от недостатка повседневной близости, взаимопонимания, всего того, что соединяет людей и укрепляет кровные узы.

XX

Жики и Анна встретили меня в «Мадраге», и — о чудо! — я обнаружила там тех же сторожей, что и в прошлом году. Я не верила своим глазам. Капи, грозный пес, радовался моему возвращению на свой манер, чуть не отхватив мне полруки от избытка чувств. Без меня его баловали, и он стал менее агрессивным.

Благодаря новеньким стенам, отныне и навсегда оградившим мои владения от соседних пляжей, я надеялась, что в эти каникулы на мою долю выпадет меньше стрессов, чем обычно. После многочисленных просьб и поклонов властям мне удалось добиться, в порядке исключения и очень дорогой ценой, разрешения на постройку защитных дамб, вдающихся в море на десятки метров. Еще и сейчас, тридцать лет спустя, эти стены, о которых тогда кричали все газеты, остаются предметом ядовитых нападок. А ведь если бы не они, я давным-давно была бы вынуждена расстаться с «Мадрагом».

Жики, Анна и их годовалый сын Эмманюэль по-прежнему жили на вилле «Малый Мадраг». Им стало там тесновато, тем более что жилая комната — прекрасная, но единственная — служила Жики еще и мастерской: там он писал, там же и хранил свои полотна, рисунки, эскизы. Когда они сказали мне, что подыскали дом в Гримо и скоро переедут, меня это убило. Жики был моим страховочным тросом, моим буфером, моим советчиком, другом, братом, а Анна — моей единственной подругой, наперсницей, сестрой!

Что я буду делать без них?

Конечно, со мной останется Боб, но это совсем другое.

* * *

Я приступила к озвучиванию фильма «Вива, Мария!».

Я ненавижу сидеть в темном, плохо пахнущем, похожем на могилу зале и повторять с поправками слова, которые я произносила в действии, в ситуации. Даже вздохи нужно записывать заново! Перед тобой без конца прокручивается один и тот же кадр с плохим звуком, потом внизу появляются субтитры — слова, которые надо механически проговаривать, как только они доходят до контрольной черты. Полсекундой раньше или позже — будет уже не синхронно. Приходится повторять снова и снова, до полного изнеможения, сохраняя нужную интонацию:

гнев, лукавство или решимость — это так глупо, когда сидишь перед микрофоном и твердишь одно и то же, как попугай!

Я преклоняюсь перед актерами, для которых это профессия, перед всеми теми, кто озвучивает иностранные фильмы, причем поразительно талантливо.

Были, правда, и смешные моменты. Например, кадр, где я, вся запыхавшаяся, в поту, взбегаю на вершину холма, размахивая винтовкой. В оригинале я рычала: «Пропади пропадом эта дерьмовая профессия, мне жарко, вы все мне осточертели!» В диалогах этой фразы не было, я произнесла ее по вдохновению! А Луи Маль в этом месте вложил в мои уста следующий текст: «Мы одолели их, одолели, наша взяла! Да здравствует революция!» Все-таки озвучание бывает иногда необходимо!

А потом мне сообщили, что я должна присутствовать на премьере фильма «Вива, Мария!» в Нью-Йорке и Лос-Анджелесе! Я отказалась: я наконец-то свободна и спокойна, разделавшись со всеми профессиональными обязательствами, я хочу отдохнуть, пусть едет Жанна Моро!

Но Жанна как раз поехать не могла!

Я ни разу в жизни не была в Соединенных Штатах. Хотя прославилась я именно благодаря американцам. И я смирилась.

Итак, 16 декабря 1965 года я вылетела в Нью-Йорк на самолете «Эр Франс», переименованном в «Вива, Мария!», в сопровождении внушительного эскорта: со мной были Боб, Жики, моя портниха Элен Важе, моя гримерша Дедетта, мой парикмахер Жан-Пьер, Ольга, Луи Маль, Франсуа Райхенбах, армада пресс-атташе и толпа фотографов и журналистов, удостоившихся чести лететь в «моем» самолете. Я была во всей красе, одетая, наманикюренная, подмазанная, причесанная и обутая в совершенстве. Все казалось мне нереальным, как будто я раздвоилась.

Полет прошел под непрерывные интервью, фотографирование, шампанское, тосты. Я чувствовала себя смертельно усталой и в то же время была лихорадочно возбуждена.

Прибытие в Нью-Йорк было чрезвычайно впечатляющим.

Я вышла на трап, как бык выходит на арену: вот она я! Мерцали вспышки, сыпались вопросы, толпа ревела. Медленно, как в «Казино-де-Пари», я спустилась по ступенькам. Полиция пыталась сдержать оголтелую толпу, но меня хватали, пихали, толкали, повсюду были огни, повсюду руки, повсюду люди, меня окружили, теснили, я задыхалась. И улыбалась. Я во что бы то ни стало должна была улыбаться, быть сильной, выдержать, выдержать, Боже ты мой!

Меня втолкнули в огромный зал — ожидала пресс-конференция. Огромный стол, уставленный микрофонами, афиша «Вива, Мария!» на стене, множество журналистов, фотографов, телевидение...

Мне представили человека справа от меня. Это оказался Пьер Сэлинджер, бывший личный пресс-секретарь Кеннеди и Белого дома. К нашим услугам были его знания, его чувство юмора, его опыт и ум.

Из множества заданных мне вопросов, которые я парировала то по-французски, то по-английски, очень коротко и забавно, мне запомнились самые нахальные:

— Ваша первая таблетка?

— Таблетка аспирина.

— Самый счастливый день в вашей жизни?

— Это была ночь.

— Самый глупый человек, которого вы встречали?

— Тот, кто задал мне такой глупый вопрос.

— Ваш любимый фильм?

— Следующий.

— Ваше любимое украшение?

— Красота, потому что ее нельзя купить.

— Что вы любите делать?

— Ничего не делать.

— Что вы думаете о свободной любви?

— Я вообще не думаю, когда занимаюсь любовью.

— Что вы надеваете на ночь?

— Объятия моего любимого.

(Когда этот вопрос задали Мерилин, она дала незабываемый ответ: «Шанель номер пять».)

— Что вас больше всего прельщает в мужчине?

— Его женщина.

— Чем, по-вашему, вы обязаны вашей славе?

Я встала и, бросив им: «Смотрите!», быстро скрылась.

Меня засунули в роскошный двенадцатиместный «линкольн» с открытым верхом, потом протащили через холл отеля «Плаза» и, наконец, впихнули в королевско-президентские апартаменты, в которых было не меньше семи комнат!

Назавтра я не могла выйти из отеля, осаждаемого толпами журналистов; пришлось провести день взаперти. Я мерила шагами семь комнат вдоль и поперек, пока почти все мои друзья гуляли по улицам Нью-Йорка, который мне уже стал поперек горла. Мои двери охраняли полицейские в штатском, никто не мог войти или выйти, не сказав пароль.

Я заказала ужин «для узкого круга» на двенадцать персон.

Когда метрдотель подавал нам мой любимый сырный пирог, явился рабочий в спецовке, со стремянкой на плече и сумкой с инструментами под мышкой: дирекция прислала его проверить электропроводку. Мы продолжали ужинать, болтали обо всем и ни о чем, обсуждали свежие газеты, в которых только и говорилось, что о вчерашней пресс-конференции, преимущественно с похвалой, пытались поймать по телевизору какие-то отрывки, фрагменты с моим участием. Мы чувствовали себя совершенно непринужденно, а парень между тем, то ползая на четвереньках, то взбираясь на стремянку, все проверял и проверял, в порядке ли проводка.

На другой день я обнаружила детальнейшее описание нашего вечера в одной из самых желтых нью-йоркских газет. Электрик оказался опытнейшим и опаснейшим журналистом падкой до сенсаций американской прессы.

Настал день Х.

День моего первого появления собственной персоной в «Астор», одном из прославленных бродвейских кинотеатров.

От Сорок четвертой улицы до Бродвея народу было столько, что мы с огромным трудом добрались до места, несмотря на охрану полиции и дорожного патруля, достойную главы государства.

Луи Маль, Пьер Сэлинджер и все остальные помогли мне выбраться из машины. Полицейские, стоя плечом к плечу, не могли сдержать напор ревущей толпы. Я боялась за мое платье, которое могло лопнуть по швам в любую минуту. И вдруг нас буквально подхватил, оторвал от земли и понес людской шквал невероятной силы!

Что-то ударило меня прямо в лицо.

Потом в трех сантиметрах от моего правого глаза сверкнула вспышка, вызвав отслойку сетчатки. Полуослепшая, оглушенная, насмерть перепуганная, на нетвердых ногах, я вошла наконец в холл, уцепившись за Луи Маля, и рухнула на первый же стул. Многие в тот вечер пострадали, и вой сирен «скорой помощи» странно вплетался в диалоги фильма. У меня остались от премьеры леденящее душу воспоминание, неизлечимая травма моего единственного здорового глаза и окончательная убежденность в том, что эта страна мне не подходит.

В больших черных очках я отправилась в Лос-Анджелес в сопровождении все того же шума и того же окружения, усталая, безропотная, зная, что там все начнется сначала.

В вечер премьеры, затянутая в платье телесного цвета, я выглядела голой, будучи одетой, а мои длинные волосы, усмиренные и уложенные волнами, придавали мне вид типичной

американской кинозвезды. Меня вывели на подиум, откуда я отвечала на вопросы. Выставленная напоказ фотографам, но недосягаемая для толпы, я осталась целой и невредимой, и все были очарованы. Я надела темные очки и твердо решила смыться как можно скорее.

От этих безумных поездок мне запомнились только роскошные апартаменты, в которых я была заперта.

В пустом — был канун Рождества! — самолете вместе с нами летели Пьер Сэлинджер и его жена Николь, прелестная, обворожительная француженка! Они собирались провести 1 января у друзей в Париже, куда намеревались вскоре окончательно переселиться. В полночь, когда родился младенец Иисус, я выставила свои туфли в проход... Мы чудесно поужинали, выпили шампанского, а наутро, когда прилетели в Орли, я нашла в туфлях много маленьких подарочков.

Спасибо, «Эр Франс», за это незабываемое Рождество в небесах.

Через несколько дней мне позвонил Ален Делон. Он умолял взять к себе его собаку Чарли, великолепную немецкую овчарку.

Я решила взять Чарли. Мое жилище на Поль-Думер было маленькое, миленькое, комнаты на разных уровнях, лесенки, ступеньки. Гуапа царила там полновластно! Чарли пришлось подчиниться.

Нас с ним было не разлить водой. Это была любовь с первого взгляда, и с его и с моей стороны. До него у меня никогда не было немецкой овчарки — как, впрочем, и после него.

Этому псу не хватало ласки. Я дала ему то, в чем он нуждался, и он вел себя просто изумительно, порой даже чересчур бурно проявлял свою любовь: он все-таки был великоват для моей квартиры. Когда мы с Чарли выходили на прогулку, никто не смел ко мне приблизиться. Он никого не подпускал, с ним было так спокойно, просто потрясающе.

* * *

Как раз когда я вернулась после американской эпопеи, мне доставили наконец мой великолепный «морган», выкрашенный в английскую зелень, двухдверный, с откидным верхом, собранный вручную, пахнущий кожей и розовым деревом.

«Морган» был моей любимой игрушкой, моей страстью, моим капризом. Но отнюдь не идеальной машиной для тех, кто желает ездить с комфортом.

У Жанны Моро был «роллс-ройс»; на меня он произвел

огромное впечатление! Сколько ни тверди, что ты не отличаешься снобизмом, привыкла жить, как Бог на душу положит и плюешь на показную роскошь, но «роллс» — это хоть кому утрет нос.

Чем я хуже?

Мишель, моя чудо-секретарша, которая оставалась при мне на протяжении пятнадцати с лишним лет, провернула для меня сделку века, отыскав новенький «сильвер-клауд», серый с металлическим блеском, с раздвижными стеклами между водителем и задними сиденьями, маленьким баром с графинчиками из хрусталя и серебра, в безупречном состоянии. Роскошь, красота, комфорт, высочайший класс и прочее за 20 000 франков. Я так и села! «Роллс» за двадцать штук!

Я купила его немедленно.

Фирма «Роллс» доставила мое приобретение из Леваллуа со всеми почестями, подобающими особе моего положения. Его припарковали за «морганом», на автобусной остановке. Ключи и документы доставили мне на восьмой этаж и долго рассыпались в благодарностях, когда Мишель по моей просьбе вручила чек. Я смотрела в окно на эту махину, игравшую в паровозики с «морганом», сомневалась, сумею ли я ее водить, и ломала голову, где мне ее держать. Долго я не раздумывала: позвала маму с папой, Бабулю, Дада, Биг, тетю Помпон, загрузила всю онемевшую от восхищения компанию в «роллс», села за руль и с бесконечными предосторожностями сделала круг по кварталу.

Я гордилась собой, но почивать на лаврах было рано.

Припарковывать машину пришлось папе: я с перепугу не справилась с ее колоссальными, по сравнению с «морганом», размерами. Через некоторое время я освоилась и водила ее сама, невольно став причиной множества уличных происшествий. Люди изумленно таращили глаза, узнавая меня за рулем «роллса», врезались друг в друга, а я невозмутимо ехала своей дорогой, вызывая все новые столкновения, что меня несказанно веселило.

Но мне стало не до веселья, когда я подсчитала, в какое количество штрафов обходится мне эта машина. Полиция закрывала глаза на маленький «морган», но огромный «роллс» на автобусной остановке трудно было не заметить. А у меня нет ни гаража, ни места на стоянке! Очень скоро сумма штрафов сравнялась с ценой машины.

Наконец-то получив возможность жить, как мне хочется, свободная от контрактов и прочих обязательств (хорошенького понемножку), я сняла шале в Мерибеле.

Этот маленький поселок, тогда еще заповедный и не затоптанный, щедро дарил всем, кто любил его, неповторимую красоту окружавших его гор: на высоченных, но совсем не

страшных заснеженных вершинах трасса делала длинные изгибы, по которым можно было совершать головокружительные спуски без малейшей опасности.

* * *

Я была далеко не чемпионкой по лыжам и съезжала чаще на пятой точке, чем на ногах. Чарли неизменно сопровождал меня. Вот в такой, не самой выгодной для меня позиции я и познакомилась с Валери Жискар д'Эстеном.

Началась многолетняя дружба, продолжавшаяся и после того, как я отдала ему свой голос на выборах в 1974 году.

Валери приходил расслабиться в мое маленькое шале в Мерибеле, удирая из своего снобистского, претенциозного и безобразного Куршевеля, где он, должно быть, смертельно скучал за бешеные деньги!

* * *

Франсуа Райхенбах, используя в качестве посредников Боба и Ольгу, уговаривал меня сделать новогоднее музыкальное шоу на телевидении. В это же время Серж Бургиньон, чья картина «Воскресенья в Виль-д'Авре» имела большой успех, предложил мне роль в фильме под условным названием «Две недели в сентябре»; натурные съемки в Шотландии, партнер — Лоран Терзиефф. Я колебалась.

Тем временем Боб загорелся идеей поставить вместе с Райхенбахом пресловутое шоу, которое смотрят и по сей день. А поскольку у него не было ни гроша за душой, он попросил меня дать ему необходимые на постановку 20 000 франков. Я дала Бобу эту сумму, чтобы сделать ему приятное и чтобы он от меня отвязался.

По поводу Бургиньона я не питала радужных надежд, к тому же мне очень нравилась одна книга, которую я прочла — «Форель» Роже Вайяна, которую хотел поставить Джозеф Лоузи... Вот этот проект меня по-настоящему интересовал: я предпочитала «Форель» Бургиньону![5]

Потом «Форель» сама собой рассосалась, и я подписала контракт, пересмотрела и поправила сценарий. Я дала фильму название «С радостным сердцем» — названием я была очень горда, а вот фильмом горжусь меньше.

Но все это было еще впереди!

XXI

В конце мая 1966 года я чувствовала себя не лучшим образом.

Боб не был мне большим подспорьем, он был поглощен своей новой ролью «Продюсера»... непрерывно курил сигары, играл в покер, у него были бесконечные встречи!

Я хотела уехать в Сен-Тропез, не желая пока и переступать порога в Базоше!

Вдруг обо мне вспомнил Филипп д'Эксеа, мой давний друг. Ему пришла в голову идея взять «роллс-ройс» и отвести меня в Сен-Тропез. Он был весельчаком, закоренелым холостяком, авантюристом, немного маргиналом, но прежде всего Филипп был аристократом до мозга костей и к тому же красавцем! Филипп знал всех. Филиппу было на всех наплевать. У Филиппа никогда не было ни гроша, но жил он на широкую ногу.

Гуапа под мышкой, Филипп за рулем — «роллс» тронулся по великолепной автостраде, за нами ехали Серж Бургиньон и Май, сестра Боба.

Радость жизни Филиппа победила мою меланхолию.

Он никогда не был моим любовником. Он был моим сообщником, моим братом, моим прибежищем.

Я открываю аварийный клапан, описывая свою личную жизнь, столько раз оболганную и перевранную. Все эти взгляды сквозь замочную скважину, телеобъективы, лезущие в душу, коммерческое использование моего «я» ранили меня, нанесли мне вред, испачкали.

Это важное отступление я сделала для того, чтобы сказать, что в ту пору некоторые люди лгали о наших отношениях. И таких людей было много!

Я не говорю уже о тех, кто с заговорщицким видом уверял, что они мои любовники, только их скромность не позволяет им... Несчастные болваны, кому я лишь пожимала руку, но фотография была сделана именно в этот момент.

Вернемся к моему рассказу. Мы приехали в Сен-Тропез, и я предложила отправиться поужинать в Гассен в ресторан моих подружек Пиколетты и Лины (бывшая жена Пьера Брассера).

Ресторан «Бон Фонтен» был для меня почти тем же, что и «Мадраг».

Я была здесь как у себя дома. Здесь я оживала, позволяла ухаживать за собой, любить себя, лентяйничать; две очаровательные женщины, которые много значили в моей жизни, принимали меня как сестру.

В тот вечер в ресторане было много народу. Я позвонила в «Мадраг», чтобы предупредить о нашем приезде и попросила приготовить кровати в комнатах для гостей.

И в этот момент я увидела Гюнтера Сакса!

Он сидел за столиком в компании прелестных девушек и красивых парней. Они смеялись, пили, веселились, флиртовали.

Филипп представил нас друг другу. Он устроил взрывоопасную встречу двух священных чудовищ. Выйдя из-за своего стола, покинув друзей, девушек, Гюнтер уселся с нами со стаканом виски в руках. Его синие глаза со стальным оттенком не отрываясь смотрели на меня. От него исходила странная завораживающая сила. Это был повелитель!

Его виски с сединой, великолепные непослушные волосы, хотя и немного длинные, волевое загорелое лицо, внушительная фигура и неопределимый акцент, которым он играл, изъясняясь на богатом и тонком французском языке, быстро развеяли все мои возможные сомнения.

Любовь с первого взгляда родилась мгновенно и взаимно.

Я знала многих мужчин, любила, испытывала страсть, но в тот вечер у меня выросли крылья. Эта ночь принадлежала нам. Я больше не чувствовала усталости, готовая пойти за этим мужчиной на край света. На край света он отвез меня позже, а пока мы решили пойти потанцевать в «Папагайо». У Гюнтера был такой же «роллс», как и у меня! Той же формы, того же цвета, все одинаковое!

Странное совпадение. Мы полюбили друг друга на равных. Мне предстояло прожить самый сумасшедший отрезок моей жизни, ее самое экстравагантное отступление. Мое самое призрачное счастье и самое глубокое горе. Мы вернулись в «Мадраг» к тому часу, когда добропорядочные люди отправляются на работу.

Я вновь увидела Гюнтера.

Этому предшествовала свадьба Жерара, моего ныряльщика за амфорами, и Моники. Невеста в белом бикини с венком из апельсиновых цветов и тюлевой вуалью на голове была восхитительна. Я прибыла на катере с механическим пианино, игравшим старинные мелодии, а Гюнтер появился на водных лыжах, которые тянул за собой его великолепный «Аристон». При этом он был во фраке и с прекрасным букетом цветов — триумф был ему обеспечен.

Затем с вертолета на «Мадраг» обрушился дождь из красных роз.

Потом был незабываемый вечер в «Пирате» в Ментоне, где цыганские оркестры играли для нас до зари, а шампанское лилось

рекой.

Позже мы, босоногие, появились в казино Монте-Карло, где Гюнтер выиграл три раза подряд, поставив на 14.

В полнолуние Гюнтер, управляя в одиночку своим чудесным катером «Аристон», в смокинге и черной накидке с красной подкладкой, похожей на крылья какой-то хищной птицы, забрал меня с понтона «Мадрага», чтобы полюбоваться луной в открытом море.

Наконец появился Боб!

Я с трудом вернулась к действительности. Боб со своей сигарой, своими друзьями Жан-Максом Ривьером и его женой Франсиной, с контрактами, которые надо подписывать, проектом телевизионного шоу, поставленного Райхенбахом, будущими песнями, Боб-бизнесмен, такой чужой на пляже, такой далекий от моего нового мира, ничего не подозревающий... Филипп устроил так, чтобы Гюнтер не появлялся в течение нескольких дней. Это было тяжелое испытание. Мой возлюбленный бесился, как дикая лошадь, а я куксилась и увядала, как цветок без солнца.

У меня было три дня на решение всех проблем.

К вечеру третьего дня Гюнтер должен был ждать меня один всю ночь в ресторане «Бон Фонтен», у Пиколетты. Если я не приду, значит, свой выбор я сделала. И он больше никогда не увидит меня.

Казалось, Боб решил провести здесь все лето.

Он разложил все свои шмотки, не торопился, был в хорошем настроении от того, что дела у него ладились.

Боб заставил меня подписать контракт, который я даже не прочитала. Вот почему все последующие тридцать лет я связана по рукам и ногам его несуразными условиями, продав за пригоршню фиников мировое использование своих фильмов — и это пожизненно! Но я подписала бы что угодно, лишь бы избавиться от присутствия Боба, которому я сделала таким образом королевский подарок на прощание.

Я позвонила Райхенбаху и сказала, что подписала контракт и Боб должен вместе с ним подготовить все для съемок, а я присоединюсь когда выполню профессиональные обязательства, то есть после фильма Бургиньона.

Нам пришлось приложить немало труда, чтобы убедить Боба вернуться в Париж вечером в воскресенье, расстаться с солнцем, пляжем и ничегонеделаньем. Ведь ты же продюсер! Он сел на самолет, и билет у него был в один конец.

Почему я не поговорила с ним? Может быть, из трусости, из страха перед скандалом, драмой, может быть, боясь выпустить синицу из рук ради журавля в небе, оказаться между двух стульев.

Это был один из редких ужинов, когда Гюнтер и я были в одиночестве.

В тот вечер он подарил мне три браслета и три кольца, синие, белые и красные, из сапфиров, бриллиантов и рубинов от Картье. Я не снимала их, пока жила наша страсть. Взволнованные Пиколетта и Лина присутствовали при заключении этого скороспелого, но, как тогда казалось, прочного союза.

В ту ночь в «Мадраге» Гюнтер попросил моей руки.

С этого момента я была на облаках, на седьмом небе, а Гюнтер тем временем взял в свои руки устройство нашего будущего.

На «Капийа», вилле, которую он снимал, известие о нашей свадьбе произвело настоящий фурор! Слуги называли меня «мадам», отвешивали поклоны, а секретарь Гюнтера, его доверенное лицо и правая рука, Самир, закупил оптом обратные билеты на всех девиц, которые путались под ногами. Остались лишь самые близкие и необходимые люди, всего около двенадцати человек! Мне надо было привыкнуть к постоянному общению с теми, кого я называла «тенп Гюнтера»: Серж Маркан, Жерар Леклери, Жан-Жак Маниго, Самир Сибай, Мишель Фор, Петер Нотц, Кристиан Жанвиль и их подружки или жены...

Гюнтер решил, что наша свадьба состоится 14 июля в Лас-Вегасе!

В Лас-Вегасе? Я жутко удивилась!

14 июля? Почему, Боже мой?

А я-то мечтала о маленькой деревенской мэрии, к тому же я ненавижу 14 июля. Но так решил Гюнтер. Приготовления шли в страшной тайне, бомба должна была взорваться не раньше назначенного дня. Я была символом Франции, на пальце и на запястье я носила цвета ее флага, поэтому и вести себя я должна была соответственно. Время поджимало. Самир занимался всеми необходимыми бумагами, а Гюнтер организовывал вместе с Тедом Кеннеди брачную церемонию у судьи, резервировал для нас бунгало для долгих или коротких остановок, а также частные реактивные самолеты, на которых нам предстояло летать.

Пока я была в Сен-Тропезе, на своей вилле, рядом со мной были мои подруги, Гуапа, мои родители, я храбрилась, чувствуя себя неуязвимой. Но что станет со мной на другом краю света? Да и выходить замуж вдали от тех, кого я люблю, казалось мне невозможным.

С Гюнтером никогда нельзя вернуться назад, идешь только вперед или подыхаешь!

Мой будущий муж решил захватить с собой Сержа Маркана, Жерара Леклери, Петера Нотца, Филиппа д'Эксеа и одного

молодого английского кинооператора. Перед каждым из них стояла четкая задача: Серж будет снимать, молодой англичанин помогать ему, Филипп займется фотографиями, Петер — спонсорством, Жерар — координацией, а Гюнтер — собственной женитьбой.

13 июля 1966 года мы отправились в аэропорт Орли каждый на своем «роллс-ройсе». Филипп вел мой автомобиль, Гюнтер вез с собой компанию друзей. Билеты мы купили на выдуманные имена: месье Схар и мадам Борда.

Самолет приземлился в Лос-Анджелесе глубокой ночью. Месье Схара и мадам Борда все еще ждала толпа фотографов.

На Гюнтера навалилась в зале аэропорта пресса. Он пытался пустить всех этих охотников до чужой жизни по ложному следу, рассказывая им, что мы сняли бунгало в «Беверли-Хиллз-отеле» (что было правдой, но лишь на следующий день), что мы приехали из Сен-Тропеза в поисках мечты, в страну, где сбываются все мечты. А в это время частный реактивный самолет Теда Кеннеди нетерпеливо ожидал нас чуть дальше на взлетном поле, чтобы отвезти в Лас-Вегас.

* * *

Но никогда не нужно терять чувство юмора.

Оставив журналистов, которые ринулись в «Беверли-Хиллз-отель», мы через тридцать пять минут приземлились в аэропорту Лас-Вегаса, откуда два черных «кадиллака» отвезли нас в городскую мэрию, чтобы получить брачное свидетельство. Не было видно ни одного журналиста. Было без четверти двенадцать пополуночи, 13 июля.

Пока мы были у судьи, очень милого человека, который предоставил в наше распоряжение комнату, где мы смогли наконец помыться, переодеться, поцеловаться, посмотреть друг на друга и пообещать друг другу вечную любовь, наступило 14 июля, когда мы вошли в зал для новобрачных.

Мы оба были страшно взволнованы, пьяны от счастья и от усталости, все происходило как во сне. Волнение достигло апогея, когда судья по-английски спросил меня, хочу ли я взять в мужья Гюнтера Сакса. Я дрожащим голосом ответила «Йес», американец поправил «Ай ду».

Гюнтер в свою очередь ответил «Ай ду», и я стала мадам Гюнтер Сакс. Был 1 час 30 минут ночи 14 июля 1966 года. Он был немцем, я француженкой, брачная церемония шла на английском языке на американской территории.

Гюнтер попросил судью повторить церемонию, чтобы увековечить ее в фотографиях Филиппа и в фильме Маркана. Просьба слегка удивила меня! Но это было только начало, моему удивлению суждено было расти и расти!

Утром 14 июля на мир нахлынула волна наших фотографий, они были на первых страницах всех газет!

Пока мы спали, мир бушевал, удивлялся, умилялся или возмущался! Я, самая французская из всех француженок, осмелилась выйти замуж за немца! Какой стыд!

Другие читатели, сильные в математике, подсчитали, что я выхожу замуж каждые семь лет! 1952-й: Вадим, 1959-й: Шарье, 1966-й: Сакс. Они с нетерпением ожидали 1973 года!

На двух самолетах Теда Кеннеди мы добрались до бунгало № 1 «Беверли-Хиллз-отеля» в Лос-Анджелесе, где я проспала весь день, пока Гюнтер принимал визиты местных деятелей, включая и Вадима! Поздравительные телеграммы хлынули потоком, на всех языках и отовсюду, включая глав государств и министров...

Странная и удивительная страна Соединенные Штаты, я только прикоснулась к ней, но каждый раз покидала ее со вздохом облегчения.

Мы улетели на Таити.

Слащавые, словно сделанные из ячменного сахара, таитянки украсили нас ожерельями из местных цветов, пахнувших ванилью и запретным плодом. Я вдыхала полной грудью этот драгоценный и дикий воздух, экзотический запах края света, который я, потрясенная, открывала для себя, а тем временем полуголые танцоры и музыканты околдовывали нас бешеными ритмами полинезийских танцев. Потеряв голову от счастья, босоногая, наконец оказавшись в своей стихии, свободная, с волосами, украшенными цветами, с поющим сердцем, я слышала аплодисменты, которыми приветствовали меня, как языческую королеву, похожую на белокурую сирену.

Когда на лагуну опускались сумерки, окрашенные в апельсиновый цвет, Гюнтер брал меня на руки, а Филипп снимал эту идиллию на пленку. Мой муж был прекрасен, набедренная повязка сидела на нем так же, как смокинг, он удивлял меня своей способностью приспосабливаться к обстоятельствам, чувством юмора, умом и культурой.

Я была влюблена, безумно влюблена, заворожена, загипнотизирована. А главное — я была горда, что я его жена!

* * *

Гюнтер решил продолжить наше свадебное путешествие в Акапулько, на снятой им чудесной гасиенде.

Вилла «Вера» принадлежала одному миллиардеру.

Там нас встретили безупречно вышколенные слуги, невообразимая роскошь, куча скорпионов, пауки-птицееды на клумбах и змеи в ванных комнатах.

Такова Мексика, с ее преимуществами и ее неудобствами!

Акапулько представляют как какое-то чудо, но я не нашла там ничего особенного. Это Мексика под американским соусом! Благодаря фильму «Вива, Мария!» я узнала подлинную мексиканскую глубинку. По мне, Акапулько не имеет колорита, скорее он уродливый и нелепый!

Зато в городе было казино! И быстроходные корабли, и ночные заведения, и международные миллиардеры, и весь высший свет, без которого не обойтись. Гюнтер по уши окунулся в омут светской жизни, которую я избегала.

Тогда-то до моих ушей дошла история о том, что он женился на мне из-за пари, заключенного с друзьями. Зная его характер, страсть к игре, к риску, я сочла это правдоподобным.

Я переговорила с Филиппом, единственным другом среди всеобщего смятения. Его встревоженность лишь подтвердила мои сомнения. Он даже посоветовал мне отправиться в Рино[6]. Таким образом, дело будет решено, и больше об этом не будут говорить! Увы, я поздно поняла, что, слишком сильно желая Гюнтера, я тем самым отдаляла его! Только когда я начала обманывать его, выведенная из себя его равнодушием, он вспомнил обо мне и попытался снова заполучить... но поздно, слишком поздно.

* * *

Возвращение в Париж было хмурым и угрюмым, чему способствовали усталость, недоверие, разочарование!

Гюнтер хотел, чтобы я переехала на авеню Фош, но об этом не могло быть и речи! Я посоветовала ему прибраться, убрать из шкафов все вещи, а из рамок все фотографии, связанные с чужим женским присутствием. Лишь тогда можно было бы подумать над его предложением. В любом случае, сейчас, в начале августа, остановка в Париже будет короткой, так как мы все отправимся в Сен-Тропез! В конечном счете, я вышла замуж не за одного мужчину, а за шестерых. Эти шесть дружков вдруг показались мне совершенно неуместными, смехотворными и очень назойливыми!

Мой любимый дом превратился в муравейник, здесь шла совсем другая жизнь.

Телефон беспрестанно звонил: герр Гюнтер Сакс, ...герр Гюнтер Сакс... герр Гюнтер Сакс!

На обеде у моих родителей в «Пьер Планте» я наконец представила им Гюнтера в качестве моего мужа. Они уже знали его как квартиросъемщика, который все ломает, но отношения были вежливыми и милыми. Папа, говоривший по-немецки, с радостью вел беседы на этом языке, мама была очарована новым поворотом в моей жизни, она была лишь слегка огорчена тем, что узнала о нашей свадьбе из газет, но очень гордилась, что ее зять не еврей, не сумасшедший, не коммунист! Он был немцем, но этот порок не казался ей неустранимым. Мы принадлежали к одному социальному кругу, у нас было одинаковое образование — и это главное.

13 августа Гюнтер уехал в Париж, сумбурно объяснив мне, что у него срочная встреча с доверенным лицом из Германии, важные проблемы, требующие немедленного решения, и так далее и тому подобное...

Через два дня, после безуспешных попыток дозвониться до Гюнтера, я решила немедленно вылететь в Париж вместе с Филиппом в полной тайне от остальных рейсом из Ниццы в 7 часов.

В Париж мы прилетели в 8.30, взяли такси и в 9 часов звонили в дверь дома 32 по авеню Фош! Ключей у меня не было, я лишь раз была в этой квартире, формально числившейся моей, но для меня такой же чужой, как и любая чужая квартира.

Нам открыл метрдотель.

При виде меня он принялся что-то блеять. Оттолкнув его, — Фи-Фи следом за мной — я прямиком направилась в спальню Гюнтера, к счастью, я помнила туда дорогу...

Пусто! Квартира была пуста. Спешно разбуженный личный секретарь, ливанец Самир, огорошенный моим вторжением, принялся плести невесть что, но я не слушала его, лишь повторяя, как рефрен: «Где Гюнтер? Где Гюнтер? Где Гюнтер?»

Около десяти часов я услышала звон ключей у входной двери, я не пошевелилась... Появился взъерошенный Гюнтер с несессером под мышкой, эта деталь окончательно решила его судьбу в моих глазах. Он пустился в путаные объяснения, что у него-де была ранняя деловая встреча (ну да, 15 августа, и на нее надо было брать свой несессер!).

Я смеялась над ним, а Гюнтер путался во лжи.

Затем, так же быстро, как я ворвалась сюда, не разводя лишних церемоний, я покинула Гюнтера, его секретаря, метрдотеля, эту квартиру, авеню Фош и Париж. В половине третьего уже были на вилле «Мадраг». Кошмар длился всего

несколько часов, но он оставил несмываемое пятно на нашей короткой совместной жизни.

Во мне что-то навек сломалось, меня безбожно предали. Мои возмущение и грусть смешались с диким отчаянием. Я стала игрушкой в дьявольской игре, меня одурачили, мной вертели, меня использовали.

Я была ставкой в грязном пари, я осталась в дураках в бесстыдной и отвратительной игре, эта рана никогда не заживет.

Мои амазонки, никогда не принимавшие этот брак всерьез, добавляли масла в огонь. Я пережила прекрасное приключение, сон наяву, который вдруг превратился в кошмар. Теперь я должна была проснуться и взять себя в руки.

Гюнтер вернулся на вертолете, сбросил чемоданы в воду, затем спрыгнул сам. Он приехал, чтобы попытаться склеить осколки нашей совместной жизни. Он говорил, что нельзя устраивать скандал из ничего, лучше продолжать играть роль прекрасной незаурядной пары, ведь мы принадлежим к расе господ и должны соответственно вести себя! Наверное, на меня отрицательно подействовал Филипп.

Филипп был удален из моего окружения и вконец разругался с Гюнтером! Да и Сен-Тропез в августе стал невыносим! Нам надо было уехать подальше от этого цирка, туда, где поспокойнее.

Гюнтер предложил свое поместье в Баварии и попросил меня последовать за ним, чтобы представить своей семье, в частности, матери. Чтобы я не чувствовала себя совсем одинокой вдали от родины, он посоветовал мне пригласить также папу и двух приятельниц.

Шарм Гюнтера сработал и на этот раз.

Изменил он мне или нет, но я уступила, и, к общему восторгу, самолет доставил нас из Ниццы в Мюнхен! Внезапно мы очутились в сырости и тумане, столь дорогих сердцу Людовика II Баварского, впрочем, этот климат и свел его позже с ума! Поместье оказалось очаровательным домиком, с окнами в цветах, уютными комнатами, фаянсовыми печами, но, к сожалению, салон был украшен охотничьими трофеями — чучелами разных животных, набитыми соломой... У меня забегали мурашки при виде этих несчастных ланей, кабанов, оленей-семилеток, хищных зверей. Они пристально смотрели на меня своими стеклянными, бесконечно мертвыми глазами, требуя отмщения, в котором им невозможно было отказать.

Разве Гюнтер был охотником?

Я устроила скандал по поводу этой наглости... И ему хватило смелости привезти меня на это кладбище чучел в своем баварском поместье! Мое возмущение было временно прервано

появлением его матери.

Свекровь была внушительной дамой! Явно не у нее я могла найти ту нежность, которой мне так недоставало в общении с ее сыном! Смерив меня суровым взглядом, она сказала Гюнтеру несколько слов по-немецки. На моих глазах он вновь превратился в маленького мальчика, уличенного в шалости. Внушительная и нетерпящая возражений мать властвовала над ним. Она не говорила по-французски, мы обменялись какими-то банальностями по-английски, и на этом наше общение закончилось. Позже я узнала, что она выговаривала Гюнтеру за то, что я одета не по-баварски!

На следующий день портниха сняла с меня мерку и в рекордно короткий срок сшила мне нужную одежду: маленький белый корсаж с вышивкой, поверх которого одевается юбка на бретельках, кружевную нижнюю юбку, а также сапожки, вроде русских! Мои подруги получили такую же форму, а Гюнтер явился к ужину в коротких кожаных штанишках, тирольских башмаках и носках и в охотничьей шляпе с перышком!

Выглядели мы гротескно, но так требовала традиция!

Только папа, учитывая его возраст и то уважение, которое внушала его элегантность, избежал этого маскарада.

Я была покорена этим новым миром, таким далеким от того, который я покинула. Это спокойствие, безмятежность, нерушимые традиции, умение жить! Здесь Гюнтер не был международным плейбоем, дающим пищу светской хронике. Он был хозяином, господином, пользующимся уважением целого народа, владельцем сотен гектаров угодий, наследником колоссального состояния, и титул «фрау Сакс» придавал мне такую же власть!

Имя Брижит Бардо было забыто.

Я ощущала себя по-настоящему иностранкой, горько сожалея о том, что не могу вмешаться в непринужденный разговор, прерываемый радостным смехом. Папа был счастлив и горд, я принадлежала всецело ему, а он был нужен мне! Внезапно мы оказались очень близки друг другу, как звенья семейной цепи, семьи, которая тоже могла гордиться крепостью и традициями.

Конец этому безмятежному отдыху положила мама Ольга.

Я снова была вынуждена окунуться в тяжелый мир шоу-бизнеса, кино, моих профессиональных обязательств. Фильм «С радостным сердцем», переименованный по моему настоянию, должен был начаться в Шотландии 10 сентября. Меня ждали на примерку костюмов, пробы, для решения последних неотложных деталей.

XXII

Я едва успела вернуться в «Мадраг», закрыть дом, поцеловать маму и вернуть ей папу, схватить в охапку Гуапу, оставить Капи на сторожей — и вот я на авеню Поль-Думер.

Но куда же запропастился Гюнтер? Он пропал, но у меня не было времени задавать себе слишком много вопросов.

Вихрь этого поспешного возвращения увлек моих амазонок и Монику, невесту в белом бикини. Взяв на себя моральное обязательство этого временного расставания, я поклялась мужу всеми богами, что его жена ничем не рискует, что она обязательно вернется к нему, а временная разлука лишь укрепит их брак! Сама того не желая, я стала инициатором развода, произошедшего раньше моего!

А пока я разместила Монику в квартире на авеню Поль-Думер, и, поскольку она была высокой блондинкой с хорошей фигурой, я наняла ее как дублершу в фильме «С радостным сердцем». Чтобы приглушить ревность Свевы, я наняла ее как личного фотографа звезды: ей удавалось сделать очень красивые фотографии, когда она не забывала снимать заглушку с объектива!..

Съемки фильма не дали ничего ни уму ни сердцу.

Но у меня в памяти навсегда сохранились волшебные воспоминания о маленьком рыболовецком порте, затерянном в суровой Шотландии.

Я не имела вестей от Гюнтера, несмотря на все мои отчаянные попытки дозвониться до него, как вдруг он появился однажды утром, без предупреждения, со своим секретарем Самиром, высадившись из вертолета прямо перед входом в отель!

Из-за работы мы виделись очень мало. Я была взволнована, в быстром темпе отыгрывала свои сцены, думая о том, как бы нам встретиться в перерыве между съемками. Я нервничала из-за внезапного появления Гюнтера, и мое состояние передавалось всей группе.

Когда наконец съемки закончились и я смогла посвятить себя мужу, он заявил мне, что должен уехать в тот же вечер.

Вот это и есть небольшой пример из нашей жизни. За два года замужества я видела Гюнтера в общей сложности три месяца.

После этих съемок мы вернулись в Париж.

Здесь ситуация осложнилась!

* * *

После работы в студии я возвращалась домой. Вместе с Гуапой, мадам Рене, Моникой, Биг мы выпивали по бокалу шампанского, мне хотелось расслабиться после трудового дня, дать себе волю, часами лежать в ванной, слушая любимую музыку, зажечь свечи, наполнить квартиру ароматом экстракта морских водорослей, благовониями фимиама и сандала... Нет, едва я переступала порог, как звонил Самир, что он выслал «роллс» с шофером, чтобы отвезти меня на авеню Фош. Сегодня вечером ожидается ужин на пятнадцать персон, будут Сальвадор Дали, Ги и Мари-Элен де Ротшильд и т. д. И мне надо было снова приводить себя в порядок, причесываться, переодеваться!

На мой день рождения Гюнтер хотел устроить настоящий праздник, но мне по душе был простой ужин двух влюбленных, с глазу на глаз, и, после нескольких бурных скандалов, я добилась своего! В русском ресторане под звуки балалайки и цыганских скрипок я праздновала наедине с моим мужем, последний раз в жизни, первую годовщину мадам Сакс! А на авеню Фош его дружки и мои подружки вовсю веселились в нашу честь!

Вот тогда-то Моника и познакомилась с Самиром.

Она потихонечку съехала с авеню Поль-Думер и устроила свое гнездышко на авеню Фош! Она поступила лучше всех! Я спала у себя, а Моника отныне — ведь она была хорошей дублершей — выполняла мои функции на авеню Фош под официальным прикрытием мадам Самир. А тем временем ее муж неустанно звонил мне из Сен-Тропеза, угрожая страшным скандалом, если его жена немедленно не вернется домой!

Не обязательно быть звездой, чтобы попасть на страницу светской хроники...

* * *

В киностудии, где никак не кончались съемки фильма «С радостным сердцем», я снова встретилась с Жан-Полем Стеже, молодым человеком, посвятившим себя делу защиты животных, активистом Ассоциации в защиту животных (АЗЖ).

В Женневилье, в старом, сгнившем, непригодном для жилья, ужасном приюте для животных под названием «Радушный прием» умирали сотни брошенных собак и кошек. Муки зверей были невыносимы. Жан-Поль позвал меня на помощь, умоляя сделать что-нибудь, чтобы положить конец этому страшному положению вещей.

Я быстро приняла решение: в следующее воскресенье я отправлюсь в этот приют, пусть об этом узнают, пусть позовут

прессу, радио, телевидение, пусть мое присутствие послужит хоть чему-нибудь!

Впервые в жизни я согласилась на сотрудничество с АЗЖ.

Боже мой, в какую нищету, в какой лагерь смерти я попала! Эти сырые и темные клетки, где десятки облезлых, больных, иногда умирающих собак пытались глазами, лапами, визгом привлечь к себе внимание, чтобы вырваться из ада, уйти от неминуемой смерти!

Я плакала вместе с ними!

Я хотела взять их всех, увезти с этой свалки. Я высказала свое возмущение прессе, постаралась взять на руки как можно больше шелудивых собачонок, чтобы их забрали к себе зеваки, сгрудившиеся вокруг меня. Я не знала, что делать. Я умоляла людей... А им был нужен только мой автограф! Им было наплевать на собак, им подавай только мою роспись.

В ветпункте было еще хуже.

Наваленные друг на друга клетки в сыром и холодном помещении. В каждой клетке по больной собаке, ни на что не реагирующей, пребывающей где-то уже далеко. Я решила оплатить уход за двумя из них, самыми больными, приговоренными к усыплению на следующий день. Ветеринар уверил меня, что, если будет проведено лечение, он сможет их спасти и отдать мне через неделю.

Я выписала чек, а собак назвала: Пропащая и Счастье.

Затем, по случайности, одна собачонка сумела открыть свою клетку, она буквально упала мне в руки. Не раздумывая, я прижала ее к сердцу и назвала Патапон. За ней последовали черненькая Барбишу, затем испуганная скромница Барбара, красивого золотистого цвета помесь с боксером Диана, очаровательная, уж не знаю, какой породы, черно-белая Бижуфикс. В результате вместе со мной в «роллсе» оказались пять собачек, и только тогда я смогла перевести дыхание!

Ужасный ледяной подвал служил приютом для кошек; здесь, покорные, кашляющие, больные кошки, числом около пятидесяти, худые и оголодавшие, всеми забытые, ожидали смерти. Я взяла всех тех, кто подошел и прижался ко мне.

Десять котов или кошек, пять собачонок — «роллс» был полон под завязку. Мы отправились прямо в Базош.

Жан-Мишель Франсуа, молодой журналист из «Жур де Франс», попросил меня устроить показательную акцию в защиту брошенных животных и против усыплений. Целую неделю я уговаривала всех техников, актеров, декораторов, продюсеров не только моего фильма взять себе собаку. Я бывала в столовой, уговаривала повара, девушку, работавшую в баре, посетителей,

журналистов... короче говоря, нас нельзя было остановить, наш крестовый поход был важнее всего в мире!

По моей просьбе, АЗЖ прислала на студию грузовичок с собаками любых размеров, пород и окраса. Целый день я таскала их за собой, мне помогали Жан-Мишель и моя гримерша Дедетта. Удалось пристроить всех.

Чтобы поблагодарить меня, руководство АЗЖ устроило в мою честь прием. В тот день, благодаря кампании в СМИ, организованной Жан-Полем Стеже и Жан-Мишелем Франсуа, много животных нашли себе новых хозяев.

Именно в то воскресенье незримо был заложен первый камень в строительство нынешнего приюта, который хотя и похож на мрачную тюрьму, но не имеет ничего общего с прежним.

* * *

14 ноября 1966 года Гюнтеру исполнилось 34 года.

Он устроил по этому случаю на авеню Фош костюмированный бал на тему Дракулы. Даже прислуга, присланная в подкрепление, была одета в смокинги, накидки, у всех торчали внушительные клыки!

Это было грандиозно!

Легенда не кончалась...

После окончания съемок я смогла уделить немного времени тем, кого любила и кого на время оставила: родителям, моим старушкам, Базошу, моим собачкам и кошечкам, моему Корнишону! Вместе с Ольгой мы определились с датами по поводу «Шоу Бардо» в постановке Райхенбаха. Съемки должны будут начаться в конце следующего года.

Моника стала хозяйкой на авеню Фош.

Благодаря связи с Самиром она в мгновение ока научилась непринужденности, элегантности, блеску, необходимому для этого образа жизни. Маленькая провинциалочка из Сен-Тропеза, застенчивая дочь врача, супруга рыбака-антиквара превратилась из Золушки в принцессу! Вывод: просто-напросто женщины представляют собой отражение того, что из них делают мужчины.

Затем я познакомилась, наконец, с тем, кто навсегда остался моим верным другом, кто лучше всех мог одевать меня, искусно драпировать, украшать, преображать, оголять, делать сексуальной, наряжать и выбивать из седла.

Единственный, незаменимый Жан Букен.

Приближалось Рождество.

Гюнтер хотел провести его в Гстааде, я бы выбрала Мерибель!

Мы уехали в Гстаад, но на февраль было снято шале в Мерибеле. Гуапа, Моника, Самир, Гюнтер и я погрузились в «роллс-ройс» вместе с багажом.

* * *

Перед отъездом в Мерибель Гюнтер то появлялся, то исчезал. Я проводила много времени в Базоше. Вместе с моими амазонками, Моникой и Самиром мы много гуляли в сопровождении Корнишона и своры собак!

Когда Гюнтер соизволял осчастливить меня, разделяя мою крестьянскую жизнь, Самир приносил вино «Шато Марго», хрустальные бокалы и приличествующие моменту скатерти и салфетки.

И сразу же собакам было запрещено появляться в моей спальне, а кошки благоразумно прятались на кухне, пачкая иногда белую скатерть.

Однажды мне позвонил Жан-Поль Стеже, он в последний момент сумел выручить с бойни двух козочек. Не могла ли я приютить их в Базоше?

Они стали прекрасными подружками Корнишону. Я открыла для себя ум, лукавство коз. Эти плохо изученные животные так же преданны, как и собаки, и они все понимают. Я не знала, что их убивают, как и баранов, — до каких пределов может довести человека обжорство?

Козы оказались тяжелыми и вскоре родили двух козлят — живые плюшевые нежные игрушки — они кричали совсем как младенцы и не переставали удивлять меня своей грациозностью, доверчивостью и хрупкостью.

В Мерибель я уехала с тяжелым сердцем...

Неделю все шло нормально.

Затем Гюнтер начал грызть ногти с досады: нашим вечерам не хватало перца! Джонни и Сильви приходили ужинать — несколько месяцев тому назад она родила. Гюнтер тоже возжелал рождественского подарка типа: «Мадам, я хочу, чтобы вы сделали мне ребеночка».

Только этого не хватало!

Я бы предпочла уйти в монастырь, принять навечно обет целомудрия, чем снова испытать тот ад, который я прошла с рождением Николя. Видя отсутствие энтузиазма перед перспективой превратиться в курицу-несушку, Гюнтер решил уехать в Сен-Мориц, чтобы дать мне время подумать над возможными последствиями моего отказа! Я очутилась одна в

Мерибеле, Самир, Моника, мадам Рене и Маргарет не служили мне подспорьем. Я взяла Гуапу на руки и долго-долго плакала.

Этот шантаж с взыванием к материнским чувствам был возмутителен!

Если брак может стать ставкою глупого и необдуманного пари, то ребенок, появившийся на свет в результате этого союза, в любом случае не может быть следствием гнусной игры случая.

Едва я вернулась, как мама Ольга сунула мне под нос «великолепный» проект, скетч, созданный по мотивам «Необыкновенных историй» Эдгара По в постановке Луи Маля. Моим партнером будет Ален Делон, съемки будут проходить в Риме в начале лета. Они не займут много времени, зато платят щедро, мое положение упрочится, мои акции поднимутся.

Я подписала контракт. В конце концов, не стоит бездельничать, пребывая в ожидании мужа, такого же неуловимого, как и ветер.

Гюнтер нашел эту мысль превосходной. Он был очарован Римом и тут же снял великолепный дом на виа Аппиа Антика сроком на три месяца.

В ту пору Гюнтер увлекся кино. Он мечтал об экстравагантном фильме, где был бы сумасшедший сюрреализм и крутая эротика!

Разумеется, в центре его бессмысленных фантасмагорий была я. Он собирался снять фильм о моей жизни...

Да хранит меня Господь от новой причуды моего мужа!

А пока он только что снял в Кении вместе с Жераром Леклери документальный фильм о диких животных. Работа вышла неинтересной, ни один прокатчик не обратил на нее внимания. В течение двух лет фильм валялся в подвале на авеню Фош, но Гюнтер решил, что выставит его вне конкурса на ближайшем фестивале в Каннах в мае, а я украшу своим присутствием этот вечер и таким образом обеспечу всеобщее одобрение организаторов фестиваля.

Вот об этом не могло быть и речи!

В течение многих лет ноги моей не было в Каннах, я ненавидела эту свалку, драку за призы, я не появилась бы там, даже если был бы выбран фильм с моим участием. И уж я не изменю своего мнения ради дерьмового фильма!

«Мадам, — ответил мне Гюнтер, — если вы не согласитесь, я разведусь!»

«Ладно, месье, разводитесь».

Оскорбленная, я хлопнула дверью и стала ждать продолжения...

* * *

Я окончательно переехала на авеню Поль-Думер, и жизнь вошла в свою обычную колею. Я тщетно ждала новостей от Гюнтера или объявления о нашем разводе. Ничего!

По делам, связанным с телешоу, в котором я обязательно должна была сниматься в конце года, мне пришлось встретиться с Бобом!

Он разволновал меня! Мне не стоило уходить от него... Боб был сама любезность, он не затаил на меня обиду, лишь сожалел о том, что я не достигла того счастья, которое заслуживаю!

Ну я и разрыдалась в его объятиях.

Однажды он приехал в Базош вместе с Фи-Фи, его псом Фюльбером, Свевой, Кароль и Жан-Мишелем Франсуа провести у меня уик-энд. Мы играли в покер, гуляли с собаками, ласкали кошек, Корнишона, лукавых козочек и их плюшевых отпрысков!

Все было весело и просто, как и раньше!

* * *

Мама регулярно сообщала мне новости о Николя.

Его отец снял для него дом в Монфор-л'Амори, где он жил с Мусей. Монфор находится в четырех километрах от Базоша, зачем Жаку снова надо было унижать меня? Я позвонила ему. Мой бывший муж был безжалостен. По его словам, Николя нуждался в спокойной, организованной жизни, подальше от того безалаберного цирка, в который превратилась моя беспорядочная и возмутительная жизнь!

Я швырнула трубку!

Что за идиот, мещанин, не способный на прощение, на щедрость, лишающий под надуманными предлогами мать собственного сына.

Я поехала навестить Николя. Это была катастрофа.

Мы были чужими друг другу. Его маленький мирок отталкивал меня, я была исключена из него. Я поняла это и, со слезами на глазах, вынуждена была смириться с этой жестокой реальностью.

Итак, в ту пору я пребывала в полном отчаянии, не зная, к чему или к кому прилепиться, это была моральная катастрофа, которая останавливала любую мою инициативу. Гюнтер иногда появлялся на авеню Фош — я знала это от Моники, — а я, не имея новостей от него, медленно и грустно умирала.

После нескольких недель ожидания, наконец позвонил

Гюнтер.

Он поставил передо мной жесткую дилемму: или я соглашаюсь представить фильм «Батук» на закрытии фестиваля, или мы окончательно перестаем видеться. Я согласилась. Снова вернулась большая любовь, романтизм, незабываемый вечер в русском кабаре «Распутин», снова началась большая игра!

«Батук» был принят без энтузиазма. Я вручила на сцене Мишелю Симону медаль, не знаю уж за что, но уж он-то в любом случае заслужил награду.

Это было последнее мое официальное появление на публике!

XXIII

В новом фильме я носила громадный иссиня-черный парик, который закрывал мне лицо, как шапка наполеоновского гусара; он был совершенно не нужен и неудачен! Я так и не поняла, почему Луи Маль хотел изуродовать меня таким образом.

Это — профессиональный риск.

Фильм был не очень интересным, и я умирала со скуки.

Вместе с Аленом я снималась во второй раз. Оба фильма были неудачными! Явно коктейль Делон—Бардо не стал взрывным. И наши отношения никогда не переходили за рамки ухаживания, в них не было теплоты.

Общаться с Аленом — это то же самое, что общаться с комодом! Это лицо, эти глаза ничего не выражают, они не волнуют, не притягивают, в них нет и намека на правду, на чувство, на страсть. Ален — существо холодное, он крайний эгоист; чтобы согреться, он не придумал ничего лучшего, как сняться в рекламе меховых изделий. Вместе с Софи Лорен!

Мои отношения с Гюнтером портились день ото дня.

Возвращаясь после съемочного дня в чудесный дом на виа Аппиа Антика, я попадала в улей, гудевший о нелепых проектах суперфильма, где каждый из присутствующих придворных высказывал свою идею, свою точку зрения. Гротеск!

Мое терпение лопнуло в тот день, когда Гюнтер решил пригласить маму Ольгу для окончательного подписания контракта, что позволило бы ему, пользуясь моим именем, запустить сумбурный, беспорядочный и несостоятельный проект!

* * *

Я мечтала убежать из этого мира несчастья, в котором жила. Мой отказ подписать контракт подлил масла в огонь. Война между Гюнтером, его кликой и мной вновь была объявлена.

Я жила как в карантине. Сидя на ступеньках крыльца вместе с Гуапой, играла на гитаре, а эти господа тем временем «работали», названивая в Нью-Йорк, Лос-Анджелес лучшим агентам и самым популярным звездам, козыряя моим именем!

Я позвала на помощь Луи Маля!

Пьер С., директор фильма, красивый и очаровательный молодой человек, возвращался в Париж и мог захватить меня и Гуапу. Я воспользовалась случаем и исчезла, как будто меня и не было. Путешествие в автомобиле было долгим и тяжелым, но

присутствие Пьера согревало мне душу!

Утомленная пережитым, я нашла в его объятиях нежность, умиротворение, он пролил мне бальзам на раны. Наши отношения стали началом глухой мести, мести, которая долго зрела во мне и чье наступление я откладывала день за днем.

В моей квартире в Париже телефон не умолкал: Гюнтер волновался, недоумевал, задавал себе вопросы!

Мама Ольга, напуганная перспективой фильма Гюнтера, быстро заставила меня подписать контракт на «Шалако» с Шоном Коннери.

* * *

В сентябре появились Боб и Райхенбах.

Я должна была выполнить контракт. Для начала я спела «Мадраг», потом «Солнце»; на пляже меня подняли в воздух на парашюте, несмотря на мои вопли. Я думала, что у меня сердце разорвется. Моя дублерша, великолепная Хейди, снялась вместо меня в общих планах.

В Париже я продолжила работу в телестудии. Эдди Маталон сменил Райхенбаха. Я начала серьезно волноваться, видя неспособность и одного и другого. Никто ни за что не отвечал, у меня не было ни гримерши, ни костюмерши, я должна была сама возиться с собственными костюмами и косметикой, парикмахеры же мне были не нужны.

Я готова была все бросить, когда позвонил Серж Гейнзбур. Он говорил мало и очень тихо. Ему надо было встретиться со мной, чтобы я послушала одну или две песни, которые он написал для меня. Есть ли у меня пианино? Да.

Серж приехал на авеню Поль-Думер.

Я была так же смущена, как и он.

Странно, как застенчивые люди могут пугать и смущать друг друга! Он играл на пианино песню «Харлей Дэвидсон». Я ни разу в жизни не ездила на мотоцикле и была очень удивлена этой песней. Я сказала Сержу об этом. С грустной и горькой улыбкой он признался мне, что сам никогда не водил ни машину, ни мотоцикл, но это не мешало ему рассказывать об этом на свой манер!

Однажды поздно вечером я записывала «Харлей Дэвидсон» в студии «Барклай» на авеню Фридлянд. Моя чилийская амазонка Глория пришла со своим мужем Жераром Клейном. При виде этой счастливой пары у меня появилась ностальгия по любви. После записи мы отправились поужинать. Под столом я легко

коснулась руки Сержа.

Я чувствовала внутреннюю потребность быть любимой, желанной, принадлежать телом и душой мужчине, которым я восхищаюсь, которого люблю и уважаю.

Моя рука в его вызвала у нас обоих шок, нескончаемое слияние, бесконечный и неконтролируемый удар током, у нас появилось желание слиться, раствориться друг в друге, это было редкое явление из области алхимии, бесконечно целомудренное бесстыдство. Мы обменялись взглядами и больше не отрывали глаз: мы были одни в мире! Одни в мире! Одни в мире!

Это была безумная любовь — о такой любви можно мечтать — эта любовь останется в нашей памяти, о ней напишут.

И сегодня, когда говорят о Гейнзбуре, его имя неизбежно связывают с именем Бардо, хотя в его жизни было много женщин, а в моей — мужчин. С этого дня, с этой ночи, с этого мгновения ни одно другое существо, ни один другой мужчина не значили в моей жизни больше, чем он. Серж был моей любовью, он вернул меня к жизни, я вновь стала красивой, я была его музой.

Ночи напролет Серж сочинял чудесные песни на моем старом пианино «Плейель». Однажды утром он преподнес мне подарок любви, песню «Я люблю тебя — я тебя тоже… не люблю».

Он плакал, я плакала, пианино тоже… нет.

Благодаря таланту Сержа телешоу имело успех.

Однажды ночью Серж наигрывал на пианино, не выпуская сигарету изо рта, а я заснула. Утром он спел мне «Бонни и Клайд». Это было в 1967 году — с триумфом прошел фильм с Уорреном Битти и Фэй Данауэй в главных ролях. И нас ожидал успех с песней, написанной Сержем в ту ночь.

После съемок мы начали вести светскую жизнь.

Рядом с Сержем я становилась удивительно красивой.

Мы не прятались, наоборот, мы охотно выставляли напоказ нашу страсть. Ночи напролет мы танцевали в кабаре, прижавшись друг к другу. Серж считал, что мою красоту надо подчеркивать, поэтому он водил меня в рестораны «Максим», «Распутин», где он раздавал ежеминутно цыганам купюры по 500 франков, чтобы увидеть, как мои глаза блестят от слез при звуке скрипок.

Я получила приглашение от месье Гюнтера Сакса на празднование его 35-летия, 14 ноября 1967 года, на авеню Фош!

Земля разверзлась у меня под ногами!

Гюнтер находился от меня на расстоянии в миллионы световых лет, и все же! Серж посоветовал мне пойти на день рождения — в конце концов, я была законной женой Гюнтера.

Но я не пошла. В конце концов, я была незаконной женой Сержа, а я обожаю нарушать закон.

Но я была вынуждена встретиться с Гюнтером. Он яростно упрекал меня за связь с этим ужасным типом, с этим скоморохом, Квазимодо, с которым я появляюсь на публике лишь для того, чтобы поставить его, Гюнтера, в смешное положение. Я возразила, что он изменял мне куда больше, а месть — это блюдо, которое едят холодным, а иногда и ледяным.

Серж был натурой эмоциональной, он вечно волновался, боясь потерять меня, и всякий раз, когда я возвращалась, это было для него чудом. Он не мог поверить, что я сделала выбор в его пользу, и наши встречи были настолько страстными, что, казалось, мы не виделись целую вечность, хотя мы расстались на несколько часов. Он купил мне у Картье обручальное кольцо, надел его на безымянный палец левой руки, после того как я сняла три кольца: синее, белое и красное, подаренные мне Гюнтером.

Никто не умеет разводиться так, как я.

* * *

Мне передали привет от фильма «Шалако»: я получила сценарий на английском языке!

Мне повезло сниматься вместе с Шоном Коннери в фильме великого Эдварда Дмитрыка!

Съемки фильма должны были начаться в январе в Алмерии, на юге Испании, я буду занята два месяца!

В конце хмурого и дождливого ноября я получила два приятных известия. Мне присудили премию «Триумф популярности» на 22-й Ночи Кино как самой популярной актрисе года! А из Елисейского Дворца пришло приглашение на прием в честь деятелей искусства и литературы, и президент Де Голль хотел бы видеть на этом приеме 7 декабря месье Гюнтера Сакса и мадам Брижит Бардо.

Я всегда безмерно уважала Де Голля.

Хоть раз в жизни я должна была увидеть этого удивительного, незаменимого человека, наводящего страх, грозного, но гениального в своей эффективности, твердо взявшего в свои руки прозябающую Францию!

Я встретилась с Гюнтером, чтобы согласовать наши расписания с учетом этой важнейшей встречи. Накануне мы ужинали у Ротшильдов, где была и чета Помпиду. Жорж Помпиду был человеком удивительно умным, веселым, с чувством юмора, который относился серьезно лишь к серьезному. Я очень боялась завтрашнего представления Де Голлю и говорила лишь об этом!

Как я должна быть одета? Что я должна делать? После ужина, чтобы успокоить меня, Жорж и Клод Помпиду решили устроить генеральную репетицию. Они изображали генерала и тетушку Ивонну. Ги де Ротшильд и Мари-Элен играли роль четы Помпиду. Другие присутствующие стали адъютантом, министрами и распорядителем.

Было очень смешно.

Я вспоминаю, что Жорж взял меня за руку, сказал пару любезных слов, затем, наклонив голову, подтолкнул мою руку к следующему участнику церемонии, то же самое было и с Гюнтером. Такова была привычка генерала: чтобы сократить встречу, он подталкивал руку того, кто в данный момент рассыпался перед ним в церемониях.

Вставал драматический вопрос: как мне одеться?

У меня был знаменитый костюм, смахивающий и на наряд дрессировщика, и на военную форму. О нем столько было написано! До сих пор ни одна женщина не осмеливалась появиться в Елисейском Дворце в брюках, да еще на официальный прием!

И все же я поступила так.

7 декабря в резиденции президента толпился народ. В очереди стояли артисты, танцовщики, писатели, художники, все принаряженные, одетые с иголочки, расфуфыренные. Меха, шиньоны, драгоценности...

Вместе с Гюнтером, оробевшим, как и я, мы следовали по течению этой странной реки.

Наконец, я уткнулась носом в дверь, я устала от многочасового топтания на месте, нервничала, что от Де Голля, возможно, ничего не осталось после столь долгого ожидания.

Из этих размышлений меня вывел громогласный крик: «Мадам Брижит Бардо! Месье Гюнтер Сакс!»

Я вошла в зал, очень прямая, очень гордая, волнуясь больше, чем если бы я находилась на сцене самого великого театра. Я увидела группу официальных лиц, военных в форме. Мне показалось, что я встретилась взглядом с Жоржем Помпиду, и он подмигнул мне. Затем я очутилась перед президентом, который выглядел столь же протокольно, сколь и непроницаемо. «Здравствуйте, генерал», — сказала я, протягивая руку.

Тишина. Он внимательно посмотрел на меня, разглядел мой костюм, шитый золочеными бранденбурами, и ответил: «Вы имеете все основания обратиться ко мне подобным образом, мадам».

Что было потом, я не помню, завороженная присутствием Де Голля, его внушительной фигурой. Как и было предусмотрено, он

легонько подтолкнул мою руку к своему соседу справа, а это был Помпиду! Несмотря на протокол, он был полон очарования и поручил меня заботам Клод, и та увела меня и Гюнтера выпить по бокалу заслуженного шампанского.

Сбылась мечта моей жизни.

Забавно думать, что вместе с Эйфелевой башней и Де Голлем мое имя стало во всем мире синонимом Франции. Мы стали неразлучной троицей, несмотря на нашу крайнюю непохожесть.

При выходе из Елисейского Дворца журналисты спросили о моем впечатлении. «Он гораздо выше меня», — ответила я. Этот единственный в нашей с Гюнтером жизни прием помог нашему диалогу, сближению. Он снова восхищался мной — а это соединило нас — я превзошла его своей известностью, элегантностью... Именно это и нравилось Гюнтеру!

* * *

Снова я разрывалась между двумя мужчинами, которые так много значили для меня.

Ожидаемое появление альбома моих песен под названием «Я люблю тебя — я тебя тоже... не люблю» чуть было не стало причиной громкого развода.

Мама Ольга была предупреждена, что, если диск выйдет, Гюнтер разведется со мной, устроив при этом скандал на весь мир, который навсегда запачкает меня.

Мне пришлось немедленно направить письмо в компанию «Филипс» с настойчивой просьбой не выпускать этот диск с провокационной песней, которая ставит под угрозу мою личную жизнь, и назвать диск по-другому: «Бонни и Клайд».

Когда Гейнзбур узнал об этой все разрастающейся драме, он с присущей ему тактичностью согласился исключить из альбома, который вот-вот должен был выйти в свет, роковую песню. Пленка с ее записью была тайно спрятана в сейфах фирмы. Диск вышел, имел успех, но, конечно, меньший, чем могла бы принести песня «Я люблю тебя — я тебя тоже... не люблю».

Вечером 1 января 1968 года на телеэкранах с большим успехом прошло шоу Райхенбаха, Загури и Маталона, исправленное Гейнзбуром.

Послезавтра я должна была уезжать в Альмерию на съемки «Шалако». Гюнтер решил сопровождать меня.

Я снова увидела Сержа, когда собирала вещи на авеню Поль-Думер. Мадам Рене получила приказ никому не открывать двери. Серж набил мой чемодан любовными записками, нацарапанными

на нотных листах. Гуапа тоже была не в духе: она чувствовала мой отъезд, нашу тоску.

В последний момент я проколола себе указательный палец правой руки и написала Сержу своей кровью: «Я люблю тебя».

Он сделал то же самое и написал: «Я тебя тоже... не люблю».

Затем смешались наши слезы, наши дыхания, переплелись руки, соединились губы. Дверь закрылась. Мы расстались, как оказалось, навсегда, но тогда мы этого не знали. Зато нам удалось избежать повседневной жизни, переходящей в привычку, сцен, которые со временем тушат самые бешеные страсти. От Сержа у меня остались лишь прекрасные воспоминания красоты, любви, юмора, безумств.

Говоря словами Маргерит Юрсенар, «время, этот великий скульптор» не разрушило наши отношения.

* * *

Ольга и Гюнтер отвезли меня, как конвоиры осужденную, в Альмерию!

Это было ужасно! Современно, бездушно, пахло свежей краской, шершавая ткань, тусклые цвета. Где же симпатичные испанские постоялые дворы с побеленными стенами, где в полных цветов патио журчали керамические фонтаны, а старая мебель пахла воском, где так приятно жить?

Кроме «Шалако», неподалеку снимались еще два фильма, и все съемочные группы жили в одном отеле. Здесь были Робер Оссейн и Мишель Мерсье, снимавшиеся в вестерне «Веревка и кольт». Я была счастлива увидеть их, услышать французскую речь. Снимался также английский фильм с Майклом Кейном и неким Эндрю Биркином, которому было суждено, хотя сам он этого не знал, изменить мою жизнь и жизнь Сержа. Короче говоря, я очутилась в толпе актеров, пресс-атташе, режиссеров, продюсеров.

Как будто в Голливуде!

Я с трудом узнала Шона Коннери с нацепленными усами, с головой, лысой как коленка. Позже я поняла, что искусно прилаженный парик придает ему во время съемки вид неотразимого соблазнителя. Здесь был также Стефен Бойд, мой партнер по фильму «Ювелиры при лунном свете». Наконец-то хоть одно знакомое, почти родное лицо! Перед Эдвардом Дмитриком я робела. Он был жестким, холодным режиссером с военными замашками. В нем не было никакого шарма! С момента отъезда мы были на ножах. А по приезде почти ненавидели друг

друга!

Со мной случился нервный кризис, я не могла с ним справиться, отказывалась распаковать свои чемоданы.

Через двое суток я успокоилась, смирилась, покорилась, повторяла по-английски текст как попугай, меня проглотила адская машина кинематографа. Ольга и Гюнтер уехали.

* * *

Через фотографа «Франс-Суар» Серж прислал мне длинное грустное письмо. Он написал песню «Инициалы Б.Б.», ностальгический гимн, навеки прославляющий образ обожаемой богини.

Моника ворковала с Эндрю Биркином, но имела то преимущество, что не была на устах у всех. Однажды ее возлюбленный поручил ей заняться своей младшей сестрой Джейн, которая должна была приехать на следующий день. Ей было 18 лет, она только что испытала серьезное разочарование в любви, результатом которой стала малышка Кейт, привезенная в корзине! Эта молодая женщина, почти девчонка, с большими глазами лани, растрогала всех. Она была настоящая, естественная, без всякого наигрыша, очаровательная и красивая, красивая, как маленькая принцесса из сказки.

Она жила вне времени. У нее был собственный мир!

Однажды Эндрю пришел попрощаться с нами: на следующий день он уезжал в Париж вместе с Джейн, беби и корзиной.

Продолжение известно...

Маленькая хорошенькая лань повстречала по случайности, такой же непредвиденной, как и неизбежной, большого злого волка.

Она полюбила его — он ее тоже... не полюбил.

Я чуть не умерла, когда услышала эту песню в исполнении Сержа и Джейн. Но все было в порядке вещей! Я не держу на них зла. Наоборот, злюсь я на себя — за свою трусость, нерешительность. Я считала, что все мне обязаны, я неосознанно причиняла зло, и оно вернулось ко мне, камнем на сердце.

* * *

Прежняя неопределенность в отношениях с Гюнтером оставила у меня горький привкус, от которого надо было избавиться во что бы то ни стало.

* * *

Вернувшись в Париж, приласкав Гуапу, которая не знала, как выразить свою радость по поводу моего появления, поцеловав родителей и вдохнув жизнь в квартиру на авеню Поль-Думер, я умчалась в Базош к моим дочкам-собачкам.

Бедные малышки скучали без меня. Я подозревала, что сторожа обращаются с ними не лучшим образом.

О, мои собачки, мои любящие и любимые подружки, мои сообщницы, мои нежные, мои ласковые!

XXIV

Начинался май 1968 года.

В великолепном поместье на виа Аппиа Антика в Риме Гюнтер собрал весь свой «двор», включая сценаристов и продюсеров, работавших в прошлом году. Патрик Бошо, мой зять, которого предполагали на роль молодого героя, также был здесь вместе с Мижану. Моника, подружка Самира, не отходила от меня ни на шаг, как Самир от Гюнтера. К нам присоединилась рыжеволосая Кароль. Образовалась разнородная компания, где мужской клан противостоял женскому.

Это благословенное пребывание в Италии позволило мне не быть замешанной в трагических событиях революционного мая, которые навсегда погубили образ Франции. Мы с тревогой следили за нарастанием угрозы гражданской войны, получая тревожные новости от друзей, бежавших из Франции, ввергнутой в огонь и кровь.

За каждым шагом Де Голля мы следили по телевизору.

Его твердость в данной ситуации лишь усилили наше уважение к нему.

Пока Кон-Бендит, Красный Дани, призывал к насилию, к разврату, к углублению кризиса, Сорбонна превратилась в большой публичный дом. Оргии выплеснулись на улицы! Горели автомобили на разбитых улицах, булыжник превратился в оружие, витрины были разбиты, магазины разграблены, испуганные жители прятались за закрытыми ставнями и дверями.

Какая грустная и плачевная страница истории!

В этой политико-порнографической магме Франция потеряла все.

Однажды утром Гюнтер объявил мне, что должен срочно уехать на Канарские острова. Что он там забыл? Его путаный ответ не внес ясности. Самир сопровождал его, оставив Монику и меня на попечение Маргарет, его верной горничной, старой лицемерки.

Мы с Моникой воспользовались ситуацией и рванули в Рим на «порше» Гюнтера, за рулем которого была я, обгоняя всех пеших, конных и автомобильных ухажеров столицы. В баре рядом с ратушей мы встретились с юным продюсером, млевшим по мне, и его другом Марио Адорфом, итало-немецким актером, который пожирал Монику глазами. Наши побеги вызвали ненужное любопытство, и мы перестали ездить в Рим из осторожности, зато пригласили к себе наших возлюбленных, которые легко могли затеряться среди череды ежедневных визитеров. Продюсеру не

хватало вкуса, обаяния, он был банален — ни красавец, ни урод, но я могла изводить его как хотела и использовала его, чтобы отомстить Гюнтеру за его безразличие.

Наступила окончательная неотвратимая развязка.

Однажды утром я обнаружила Маргарет спрятавшейся за дверью, когда я выходила из нашей с Гюнтером спальни. Со смущенным видом она принялась уверять меня, что Гюнтер попросил ее переслать на Канары какую-то одежду, забытую им, и она должна обязательно передать ее другу моего мужа, который ждет в аэропорте, а уж он отвезет вещи... Путаясь в сумбурных объяснениях, Маргарет все время кидала подозрительные взгляды в сторону спальни. Добрая женщина страшно раздражала меня: что ей здесь понадобилось! Если моему мужу что-то нужно, он мог напрямую попросить меня, а не прибегать к услугам служанки-детектива. Но он даже не позвонил мне, предпочтя эту идиотку!

В течение всей первой половины дня Маргарет была неуловима, она испарилась. И вдруг она появилась, с хитрым видом, медоточивая, передала мне письмо от Гюнтера. В письме сообщалось о разрыве, причем основывалось оно на показаниях Маргарет. Муж писал мне, что больше не может мириться с изменой в собственном доме, где его выставляют в неловком положении, наставляют рога на глазах его друзей, сотрудников и слуг! Кровь застыла у меня в жилах. Мне казалось, что я теряю сознание.

Маргарет с насмешливым видом наблюдала за мной. Я бы с удовольствием отхлестала по щекам эту стерву.

Я была ошеломлена. Конечно, я изменяла Гюнтеру, и он вернул мне это стократ, но в данном случае ничего не было. Я чувствовала, что мне не удастся оправдаться. Все рушилось вокруг меня, передо мной разверзлась пропасть, я медленно начинала понимать, какую цену мне придется заплатить за собственное непостоянство, легкомыслие, эгоизм, нетерпимость. Я поняла, насколько я привязана к Гюнтеру, как люблю его, и это в тот момент, когда я навсегда теряла его.

Глупо, очень глупо, но окончательно.

Я старалась как можно глубже спрятать свое душевное состояние, прикрываясь маской оскорбленной невинности, но эта комедия мне не удавалась.

Важная страница моей жизни была перевернута. Я вступила в длинный туннель, в котором меня ожидала боль.

За нами приехал Марио Адорф; у одного из его друзей была очаровательная квартира на Жиглио, маленьком малоизвестном острове недалеко от Остии. Там мы собирались сделать привал,

поразмышлять и решить, куда же нам дальше держать путь. И вот Свева, Кароль, Моника и я уехали из дома Гюнтера.

* * *

Я решила провести лето в Сен-Тропезе.

Я и все мои амазонки с большой помпой приехали в «Мадраг» на белом «роллсе» с чернокожим шофером!

Надо было жить на широкую ногу!

Я тут же организовала костюмированный праздник, лишь бы доказать Гюнтеру, что, с ним или без него, я продолжаю жить в том же ритме, в том же темпе, с прежним размахом.

Я пригласила из Парижа дизайнера, чтобы он грандиозно поставил этот праздник. Звук, свет, диск-жокей, оркестр, дополнительная прислуга — все было предусмотрено в мельчайших деталях. В конце аллеи, идущей от входа, возвышалось громадное кресло «Эмманюэль», окруженное креслами поменьше. На большом должна была восседать я, на маленьких — мои амазонки. Большой красный ковер был расстелен между порталом и эстрадой. Душистые экзотические растения, негритенок с громадным пальмовым листом-опахалом, психоделическая светомузыка — все было прекрасно организовано и выглядело очень мило.

На этот вечер я наняла шоферов, чтобы они доставляли гостей от входа в имение к центру праздника. Внесла свой вклад и полиция: легавые дежурили на двух стенах со стороны моря, чтобы не пускать незваных гостей. Все приглашения проверяла специальная служба. Сад был превращен в столовую: столы, стулья, скамейки... буфеты, напитки, шампанское текло рекой.

Я быстро придумала себе костюм: бикини из черной кожи, черные высокие сапоги, кинжал за поясом, распущенные волосы доходили мне до талии, а лицо скрывала маска! Вместе с моими девушками, более или менее обнаженными, скрытыми вуалями, надушенными, мы взяли на себя функции комитета по приему гостей — получилось очень неожиданно и весьма сексуально.

Это была удивительная ночь! Я сама была удивлена размахом праздника.

Гюнтер, должно быть, рвал и метал.

Даже упряжка из четырех лошадей остановилась перед моим подиумом. Затем на верблюде приехала компания туарегов. Эти смуглые мужчины с горящими глазами не оставили равнодушными меня и моих амазонок. Кто они были?

Появление миллиардера Даррила Занука не тронуло нас.

Лина Брассер и Пиколетта нарядились в костюмы «Поль и Виржиния», их сопровождал ослик, нагруженный цветами, а погонщиком был Жан Лефевр. Не узнать было Жики, Анну и Эдди Барклай в великолепных цыганских костюмах и в окружении настоящих цыган, игравших на гитарах! Каждая группа приглашенных останавливалась у подножья эстрады и пела серенаду, приветствуя нас.

Я пригласила нескольких друзей Гюнтера, чтобы они быстро сообщили ему!

Тысяча человек продефилировала в тот вечер в «Мадраге», но мое внимание было приковано к одному из туарегов. В действительности люди пустыни были итальянцами по национальности и плейбоями по состоянию души. Летом они жили в вилле «Бригантина» напротив моей виллы «Мадраг».

Их звали Беппе, Джиджи, Родольфо, Энцо, Франко и Чезаре!

Мы — Свева, Кароль, Глория, Моника, Мижану и Брижит — составили с ними франко-итальянское согласие, открыв молодым людям наши объятия, губы и сердца... Ах, эти итальянцы...

После двух лет немецкого ига я сполна насладилась Италией, отведав волшебного напитка вместе с Джиджи!

Я провела с ним лето, но прежде нам пришлось убрать весь мусор, оставшийся после праздника.

Мои амазонки оказались более серьезными, чем можно было ожидать: они сохранили верность своим далеким возлюбленным, а с итальянскими плейбоями их связала лишь нежная дружба. Тем не менее «Бригантина» стала как бы филиалом «Мадрага». При помощи световых сигналов мы назначали встречи на катерах в заливе. Я командовала своей «Русалкой», а Родольфо — своим «Аристоном».

Лето заканчивалось, наступал сентябрь. Внезапно Джиджи и амазонки исчезли. Мы остались вдвоем со Свевой, одинокие и печальные. Вдруг позвонила Флоранс Гринда и попросила меня приютить ее двух молодых приятелей — Патрика и Кристофера. Я согласилась. Молодые люди приехали. Им было по 23 года и они были очаровательны. Я и Свева перестали плакать.

Видя нас с двумя неотразимыми кавалерами, люди в конце концов приняли их за наших любовников. Но никак не удавалось определить, кто с кем живет, поскольку никто не жил ни с кем! Попытались выяснить, кто они такие, спрашивали нас обеих, счастливы ли мы, и при этом многозначительно улыбались.

Позвонила Ольга, она предложила мне выступить на мировой премьере «Шалако», которая должна была состояться в Гамбурге 28 сентября — в день моего рождения. Попросила подумать и дать ответ как можно скорее.

Свева была «за», она считала, что это будет занятно, Кристоферу было наплевать, а вот Патрик, первый раз за все время, проявил себя. Он предложил поехать со мной, если надо, чтобы меня кто-то сопровождал...

Я остолбенела! А тут еще явились Флоранс с Филиппом д'Эксеа, которого я не видела сто лет.

Вместе с Флоранс приехал красивый и молодой немец из Гамбурга по имени Юргенс. Он взялся организовать у фон Бисмарков большой праздник по случаю премьеры фильма и моего дня рождения! В свою очередь Фи-Фи приглашал нас за счет фирмы чудесно отдохнуть на Грейт-Харбор-Кей. Ведь одного моего присутствия было бы достаточно, чтобы весь мир устремился туда.

Так как мои планы стали проясняться, я закрыла «Мадраг», попытавшись избавиться от обоих моих воздыхателей. Но если Кристофер воспринял свою отставку с философским спокойствием, то Патрик сделал вид, что ничего не понимает. Все такой же невозмутимый, он намеревался увязаться за мной, куда бы я ни отправилась. Этот странный парень стал не на шутку меня озадачивать.

Когда я, устав от его победительного вида, нахальства и позерства, спросила прямо, как понять эти замашки светского хлыща, он самоуверенно ответил, что, если мне угодно, он даст ответ сегодня же вечером в моей постели! Что ж, после нас хоть потоп, я ни перед кем не обязана была отчитываться и приняла его с распростертым одеялом. Но вопреки моим ожиданиям, он целомудренно уснул рядом со мной.

Пробуждение было столь же безгреховным!

Я не могла опомниться от изумления.

У него появилась привычка засыпать рядом, не прикасаясь ко мне.

У меня появилась привычка считать это привычным...

* * *

По возвращении из Гамбурга я сразу же сообщила Патрику о его отставке.

Чтобы дать ему собрать вещи, я отправилась с визитом к моим старым дамам.

Каково же было мое удивление, когда, вернувшись домой, я увидела, как он лежит на кровати и смотрит телевизор! Никакими сборами тут и не пахло. А затем он встал, крепко-крепко обнял меня и прошептал, что любит...

У меня закружилась голова!

Но это было только начало!

Мы неделю провели в постели, не обращая внимания на телефон, забыв о еде, о деловых встречах, не замечая смены дня и ночи. Так он наверстывал упущенное время!

Нас с Патриком связала неутолимая, изнуряющая, мучительная, возвышенная страсть, и длилось это два года.

Разница в возрасте у нас была в десять лет: искушенная тридцатичетырехлетняя женщина и двадцатичетырехлетний юноша, только открывающий для себя жизнь. Примерно в этом возрасте был Вадим, когда женился на мне, а мне тогда было только восемнадцать!

Я должна была исполнять капризы, прихоти, удовлетворять потребности юного любовника, властолюбивого, жадного до новых впечатлений, стремившегося к неизведанному.

В то время как пресса без конца обсуждала мое новое увлечение юным студентом, Гюнтер встретил Мирью, восхитительную шведку, на пятнадцать лет моложе его!

Но если мужчина таким поступком вызывает всеобщее одобрение, то на женщину начинают смотреть как на старую мымру, которая наняла себе жиголо.

Патрик обожал зимние виды спорта, он был страстный горнолыжник, неустрашимый спортсмен. На авеню Поль-Думер ему было тесно. Он там задыхался, он ненавидел эту душную квартиру, ему хотелось увидеть простор, открывшийся горизонт, хотелось сменить обстановку.

Я должна была готовиться к отъезду. Ради него.

В этот период моей жизни на меня со всех сторон сыпались приглашения побывать там или тут, дать безвозмездно приобщиться к моей славе.

Авориаз, в то время еще мало кому известный курорт, тоже прислал приглашение. Мне предлагали шале в полное мое распоряжение, с прислугой и всем прочим. Обычно я просто выбрасывала такие послания, выбросила бы и это, но Патрик не дремал, и ему удалось убедить меня, что будет просто чудесно провести Рождество в Авориазе. Я попыталась уклониться от этого путешествия, но все было напрасно. Их высочество надувался и угрожал уехать к друзьям в Альп д'Юэ... и тогда!..

И вот мы в Авориазе, в отвратительном шале, похожем то ли на пещеру троглодита, то ли на убогую квартирку в унылом поселке, сляпанном по заказу бездарных, лишенных вкуса людей!

Рождественский праздник всегда был для меня волшебным таинством, и потому я притащила с собой набор подарков, все необходимое для устройства рождественских яслей, привезла

гирлянды и шары, чтобы украсить елку!

Я постаралась создать праздничную обстановку в этой халупе, у которой от шале было только одно название.

Это был провал, провал во всех отношениях.

Днем Патрик, увлеченный своими лыжами, не находил для меня и минуты. Вечером ему тоже не сиделось дома, он отправлялся в единственный местный ночной клуб, где встречался с прелестными молодыми женщинами, которые весь день были с ним на подъемнике, на канатной дороге, на головокружительных спусках.

Мне казалось, что я сильно смахиваю на идиотку! На бессильную идиотку!

Чувствуя себя все хуже и хуже в этом поселке, не имевшем истории, не обладавшем подлинностью, я решила вернуться в Париж.

XXV

Год 1969 — год эротики, как правильно сказал Серж Гейнзбур!

Я постоянно ссорилась с Патриком!

Наша ущербная совместная жизнь держалась только на моем физическом влечении к нему. Ольга предлагала мне роли в фильмах, но я отказывалась. Я ничего не хотела делать, только заниматься любовью с Патриком, а он занимался этим со мной, когда ему было удобно, и оставлял меня в растерянности, в отчаянии, в разладе с самой собой, вне себя от ревности — от этого можно было умереть!

Однажды я получила приглашение на охоту, которую устраивал в своем эльзасском поместье Жан де Бомон. Я уже тогда была яростным противником охоты, недостойного торжества силы человека над слабостью животного, и выбросила приглашение в корзину для бумаг. Патрик, неизвестно зачем рывшийся в корзине, обнаружил его там, сделал мне выговор за то, что я его скрыла, и решил отправиться туда!

Я взбунтовалась!

Приглашение было на имя мадам Гюнтер Сакс, а ему там было делать нечего, мне он был только любовником, и его никто не приглашал. Он улыбнулся и обозвал меня дурой.

Наглец, хам, скотина!

Я хотела отобрать у него конверт с приглашением. И получила пощечину, затем другую. Стала отбиваться пинками и кулаками и наконец получила сокрушительный удар в левую скулу, точно под глазом. Это был нокаут, и я впала в полубесчувственное состояние, которое у боксеров называется «грогги». Мадам Рене, услышав шум борьбы, наконец решила взглянуть, в чем дело. Я была изуродованная, распухшая, в ужасном состоянии, вся в крови. Меня отвезли в американский госпиталь, где я провела уик-энд, в то время как Патрик охотился с Жаном де Бомоном.

По возвращении он наткнулся на запертую дверь, перед которой на лестничной площадке стояли его чемоданы.

Моя секретарша Мишель очень тактично и деликатно забрала у него мою машину, которой он воспользовался без моего разрешения, и поспешила спрятать ее в надежном месте! А я с тревогой ждала ответных действий Патрика, с боростироловым компрессом на щеке, с фонарем под глазом и сердцем, разбитым вдребезги!

В одно прекрасное утро он вернулся, с розой в одной руке и

чемоданом в другой, обнял меня, приласкал, поклялся никогда больше так не делать, пожалел о своем поведении. Он казался таким искренним, что я попалась на удочку, мгновенно забыла свою печаль и обиду, чтобы не помышлять больше ни о чем, кроме моей безмерной любви к нему.

Мама Ольга так бегала за мной, что ей уже можно было присудить олимпийскую медаль! Предлагала мне все новые и новые сценарии. После провала «Шалако» не приходилось рассчитывать на слишком выгодные условия. Мой кассовый успех шел на убыль, пора было обрести второе дыхание, позаботиться о карьере, подумать о профессиональном росте и т. д.

Эти разговоры совершенно не действовали на меня, не волновали, а только раздражали.

Мне дали читать сценарий под названием «Женщины» и еще другой, «Медведь и кукла». Их нужно было изучить в срочном порядке и ответ дать немедленно!

Я приехала в Базош, прихватив эти сценарии и честно собираясь их прочесть. Но сразу по приезде на меня навалились хозяйственные дела, проблемы с животными, со сторожами, прохудившиеся трубы, промерзшая почва, голуби, которые разорили соломенную кровлю и которых таскали куницы и лисы... Кошки расплодились, дом заполнили десятки диких, оголодавших котят, они писали где попало, и ужасный запах въелся в кресла, вдобавок изодранные в клочья тысячами коварных ноготков. Единственным утешением были мои собаки.

Патрик терпеть не мог Базош, собак, кошек, осла Корнишона, сторожей и вообще деревню!

Я разрывалась между обязанностями, животными, домом, так мной любимым, — и Патриком!

В конце концов я стала приезжать туда одна, чтобы избежать объяснений, сцен, раздачи пинков собакам и оскорблений сторожам, которые в результате уволились, потому что не желали больше терпеть такое обращение со стороны «хозяина».

Однажды, вернувшись в понедельник утром на авеню Поль-Думер, я не обнаружила там Патрика. В страхе и тревоге я всячески пыталась выяснить, куда он делся. Мадам Рене его не видела. Но она обратила мое внимание на то, что его шкаф почти пуст, а большая дорожная сумка исчезла.

И моя маленькая машина «остин» исчезла тоже!

В довершение всего звонит мой банкир: утром у него побывал месье Патрик с просьбой выдать десять тысяч франков. Должен ли он предоставить требуемую сумму?

Как это? Он что, с ума сошел? Об этом не может быть и речи!

А кстати, известно ли ему, где сейчас Патрик? Нет, он

понятия не имеет!

Я чувствовала, что схожу с ума! Да, я сходила с ума.

Не имея никаких известий о Патрике ни от его родителей (впрочем, они бы все равно ничего не сказали), ни от его предполагаемых друзей, встречавшихся мне там и сям, я решила заявить в полицию об угоне машины! Так я наконец смогла бы узнать, куда он подевался, этот Патрик, которого я, рыдая от неутоленной любви, временами уже начинала ненавидеть.

Я приказала моей секретарше Мишель вынуть из шкафа его вещи, сложить их как попало и без всяких объяснений отвезти к его родителям.

* * *

Раймон В., друг Жики, который так роскошно принимал нас в Нью-Йорке, в это время как раз был в Куршевеле и пригласил нас на большой прием в клубе «Сен-Никола». Жики, единственному мужчине в доме, уже начинали надоедать мои жалобы, постоянное обжорство Кароль, проблемы с Анной и с детьми, хозяйственные склоки с мадам Рене.

Зимний спорт — это вещь замечательная, но брать на себя улаживание всех недоразумений, какие порождает повседневная жизнь, только потому, что ты мужчина, — это не имеет к спорту никакого отношения.

Итак, однажды вечером мы поехали развеяться.

Добраться до «мерседеса» Жики мне было непросто, потому что вместо обычных на зимнем курорте меховых сапожек я надела кожаные сапоги до колен, — так было сексуальнее. И вот я скользила на каблуках, цепляясь за руки, за плечи, за титьки тех, до кого могла дотянуться. Я решила всех сразить наповал и выбрала себе туалет, щедро открывавший и плотно облегавший тело, эротичный, более подходящий для тропиков, чем для суровых условий горнолыжного курорта!

В клубе «Сен-Никола», где царила Жаклин Вессьер, я познакомилась с Жан-Пьером Гиралем, блистательным королем гор, чемпионом по лыжам, закадычным другом Жан-Клода Килли. Он рассказал мне, что в Валь-д'Изере познакомился с отличным парнем по имени Патрик, который приехал в машине «остин» с парижским номером и катается на лыжах как бог.

Я чуть не упала в обморок.

Я поведала о моих проблемах Жан-Пьеру, несколько разочарованному тем, какой оборот принимает дело, поскольку теперь не оставалось шансов меня соблазнить. Но, будучи

мужчиной в полном смысле слова, он принял мои трудности близко к сердцу и назначил мне назавтра свидание в Валь-д'Изере.

Идея была гениальная! Как, впрочем, и ее автор!

Вот таким образом, об руку с Жан-Клодом Килли, я, почетная гостья Валь-д'Изера, в несколько непривычном обществе спортсменов, закаленных покорителей горных круч, выпивох и весельчаков, «случайно» встретила Патрика, окруженного стайкой белокурых загорелых девиц.

Мы оба испытали настоящее потрясение.

Но королю был и шах и мат, потому что королева, под защитой своих пешек и слонов была неуязвима! Я выиграла первую партию жестокого, напряженного матча, которому предстояло длиться два года.

А некоторое время спустя, когда мы возвращались в Париж в моем маленьком «остине», нас остановили жандармы. Они искали угнанную машину, по описанию как две капли воды похожую на эту! Разумеется, они искали именно ее!

Неожиданная встреча с Патриком после долгой разлуки так взвинтила меня, что я забыла попросить секретаршу забрать заявление об угоне.

По прибытии в Париж Патрик съездил к родителям за своими вещами и опять, как ни в чем ни бывало, поселился у меня. Жизнь вновь вошла в обычное русло. Он даже поехал со мной в Базош...

Мама Ольга изводила меня звонками, я даже перестала брать трубку! Ей нужно было получить ответ насчет двух фильмов, в которых мне предлагалось участвовать. Сценариев я так и не прочла, но, устав от ее нажима, сказала «да». В тот момент моя кинокарьера находилась в состоянии свободного падения. «Шалако» оказался одним из самых неудачных фильмов за всю мою жизнь, и теперь меня не баловали интересными предложениями.

Что ж, я тут не могла ничего изменить. Тем хуже для меня!

Итак, я подписала оба контракта не рассуждая, пускай мама Ольга расхлебывает возможные неприятности. Дело было не из выгодных, но следовало хоть как-то возместить потери.

Патрик сильно невзлюбил квартиру на авеню Поль-Думер, мадам Рене, Гуапу, консьержку, всех, кто меня окружал, включая мою секретаршу! Правда, он не пользовался особой любовью тех, кто любил меня. Даже моей маме было запрещено приходить к нам. Но ее это скорее обрадовало: она ненавидела Патрика, этого никчемного вертопраха, этого сомнительного, самовлюбленного жиголо, который пачкал и принижал мой образ в глазах общества!

Вскоре я стала парией! Мои родственники и друзья, Жики и Анна в том числе, показывали на меня пальцем, точно на проститутку. Никто не хотел со мной встречаться, пока я не перестану таскать за собой этого Патрика. Только мама Ольга, выполняя профессиональный долг, продолжала мне звонить, ей оскорбления Патрика были безразличны!

Патрик хотел, чтобы я сменила квартиру. Эта была слишком тесная, недостаточно роскошная, он не имел в ней своего угла, ему нужны были террасы, простор, неохватный вид...

Пожалуй, он был прав!

Квартира на авеню Поль-Думер была не высший класс, но мне она очень нравилась. Он стал изучать объявления о продаже или сдаче внаем престижных квартир. Пока он сидел, уставившись в газеты, я готовилась к съемкам в «Женщинах».

Фильм режиссера Жана Ореля (когда-то на фильме «Отпустив поводья» в разгар съемок его заменили Вадимом, настолько он оказался примитивным и бездарным!) должен был сниматься на натуре, на очень ограниченные средства. Главного героя, на котором держалась интрига, играл Морис Роне. Анни Дюпере, Таня Лопер, «моя» Кароль Лебель и я должны были порхать вокруг него, как подобает в банальной комедии. Это был не мой жанр, и я сыграла без вдохновения, небрежно, через силу, в общем, сыграла плохо.

Я уходила рано утром, Патрик весь день бездельничал. Меня постоянно мучила мысль, что он не теряет даром эти свободные часы, что он изменяет мне. Вечером я возвращалась вконец измотанная, полная подозрений, одержимая ревностью, невыносимая!

В результате он опять сбежал.

Я отказалась продолжать съемки, сидела дома и рыдала целыми днями. Вызвали врачей из страховой кассы, моего личного врача, продюсеров, маму Ольгу, мою мать.

Все было бесполезно.

Мне осточертела такая жизнь, я устала взваливать все на себя, у меня больше не было сил, не было чувства ответственности, не было воли. Я была раздавлена. Надвигалась катастрофа. Фильм оказался под угрозой. Все кругом днем с огнем искали Патрика! А я заливалась слезами!

И вдруг однажды вечером, когда его никто не ждал, он как ни в чем не бывало пришел домой.

Где он пропадал? Чем занимался? У кого был? С кем был? Как это было?

Я засыпала его вопросами. Я так наседала на него, что он наконец ответил: да, он был с другой женщиной, да, он изменил

мне, и, если я не перестану его доставать, он немедленно уйдет обратно.

Не успел он договорить, как получил пару пощечин. В ответ посыпался град ударов, и я от боли согнулась пополам. Схватила телефон и швырнула ему в физиономию! Тут последовала серия коротких прямых ударов в челюсть, а затем — нокаут.

В полуобморочном состоянии я все же сумела позвонить Жики. Он сказал, что приедет немедленно. Я с трудом дотащилась до дверей, чтобы открыть ему, а Патрик в это время преспокойно раздевался. Когда приехал Жики, то застал его совершенно голым. Они дрались с полчаса, но Жики был старше, не такой тренированный, и перевес был не на его стороне. Пока он пинками в зад выдворял Патрика из квартиры, тот выбил ему два зуба. Битва завершилась перед дверью консьержки, которая в панике вызвала полицию. Когда Патрика забирали, мужу консьержки пришлось одолжить ему брюки и майку, ведь он был нагишом.

Эта история наделала много шуму!

Она даже попала в скандальную хронику тогдашних бульварных газет!

Моя секретарша Мишель назавтра отвезла его вещи к родителям, она уже начинала к этому привыкать.

Мне пришлось выслушать суровые нотации от отца, от продюсера, от моего врача. Разве можно так вести себя в тридцать четыре года? Этот тип губит меня, делает из меня посмешище, подрывает мою карьеру, которая и так складывается не блестяще, всех от меня отпугивает!

Надо было продолжить съемки в «Женщинах».

Дедетта скрывала под гримом мои слезы, мои распухшие глаза. В этом фильме мне было нечего делать. Это была ежедневная каторга. Никакой увлеченности. Никакой работы с актерами, никаких объяснений. Каждый делал что хотел или что умел. Что касается меня, то я старалась делать минимум.

Франция была почти в таком же скверном состоянии, как я, расшатанная прошлогодними волнениями — не помог даже авторитет главы государства.

Де Голль был не такой человек, чтобы стерпеть вопиющую неблагодарность. Действуя, по своему обыкновению, быстро и решительно, он объявил о проведении референдума, официально — по проекту об усилении независимости регионов и децентрализации, а по сути — для выяснения, испытывают ли еще французы к своему президенту доверие и уважение, в которых он так нуждался. Двадцать седьмого апреля тысяча девятьсот шестьдесят девятого года я ответила «да» на вопрос

референдума, потому что всегда была горячей, убежденной сторонницей этого блестящего человека, отвергавшего политическое кривляние, возвратившего Франции достоинство и направившего ее по верной, прямой дороге, с которой она не свернула, несмотря на случавшиеся остановки в пути.

Вечером того же дня я, не поверив своим ушам, узнала, что Франция отвергла его, что большинство сказало «нет».

Какие же французы неблагодарные!

Какая у них короткая память, какой ограниченный ум.

* * *

Однажды, когда мы снимали одну из заключительных сцен фильма «Женщины», я познакомилась с одной забавной девчушкой, лет шестнадцати-семнадцати, с растерянным видом, но дерзкими глазами.

Звали ее Мария Шнейдер.

Мы разговорились, и я вспомнила, что когда-то давно была знакома с ее матерью, красавицей по имени Манон, в которую без памяти влюбился Даниэль Желен. Малышка Мария стала плодом этой запретной любви... Но у малышки Марии не было своего родного угла, она всюду чувствовала себя лишней, скиталась где придется. Она уже многого натерпелась в жизни, и у нее была инстинктивная потребность прилепиться к кому-то.

Этим «кем-то» стала я! Я тоже была одинока и печальна.

Эта ласковая, милая девочка могла бы дать мне немного тепла, живого общения, привнесла бы в мою жизнь свежую струю, развлекла бы. Я предложила ей занять одну из комнат для прислуги на авеню Поль-Думер. И мы уже не расставались. Я по возрасту годилась ей в матери и относилась к ней как к дочке. Мы ощущали родство душ и очень привязались друг к другу.

Как-то вечером Мария сказала мне, что в квартале Сен-Жермен-де-Пре встретила Патрика! Он был несчастен, он только обо мне и думал, но не осмеливался звонить и дал Марии номер, по которому можно с ним связаться.

Я была потрясена!

Я не хотела первой делать шаг к примирению (гордость обязывает), и Мария взяла на себя роль парламентера.

Патрик вернулся на авеню Поль-Думер с чемоданами, полными добрых намерений, угрызений совести, признаний в любви, которым я поверила, потому что хотела верить.

И жизнь снова стала прекрасной и веселой!

Мы ездили в «Кастель», оставались там до глубокой ночи, я

танцевала до упаду с Марией, научившей меня модному танцу «джерк», так мы разряжались, мы могли бы воспламенить и ввергнуть в ад всех святых в раю, а Патрик забавлялся, глядя на нас.

После внезапного ухода Де Голля Франция осталась обезглавленной. Нужно было найти ему преемника...

Жорж Помпиду, наиболее видный из его соратников, казался мне если не лучшим кандидатом на этот пост, то, во всяком случае, не самым плохим. Вдобавок, я была знакома и с ним, и с его женой Клод.

Итак, 15 июня 1969 года я проголосовала за него, отдала голос за последнего настоящего «голлиста», который честно повел Францию по пути, указанному его прославленным предшественником. Увы, вскоре его сразила безжалостная болезнь, и Франция стала погружаться в хаос социализма.

Подготовка к съемкам «Медведя и куклы» велась на высочайшем профессиональном уровне.

Мне самым тщательным образом сделали несколько пробных вариантов грима.

Мне пришлось выдержать несколько мучительных долгих примерок под придирчивым, хотя и застенчивым взглядом Мишеля Девиля. Этот режиссер-поэт вместе с Ниной Компанеец написал маленький шедевр, полный юмора и безупречного вкуса, куда я вошла легко и естественно, как рука в перчатку. Моим партнером впервые был Жан-Пьер Кассель: по-моему, этот актер, с его масштабной личностью, с его талантом, остался у нас невостребованным.

Весь этот коктейль, где каждый компонент был умело подобран и взвешен, где ничто не было случайным, заранее гарантировал успех. Продюсер Маг Бодар, получившая меня за бесценок, сделала мне в итоге королевский подарок!

И вот пошло-поехало, началось чудесное приключение, съемки великолепного фильма, каким стал и навсегда останется «Медведь и кукла». Может быть, один из тех фильмов, где я больше всего была самой собой. Но, в любом случае, один из самых очаровательных, самых смешных моих фильмов, один из тех, которыми я горжусь.

Съемки закончились веселым, ясным августовским днем, под музыку Россини, под недоверчивым взглядом большой дойной коровы, в цветущих лугах, среди которых блестела маленькая речка! Медведь и кукла наконец полюбили друг друга, можно было опускать занавес, все хорошо, что хорошо кончается.

А мне было так жалко со всем этим расставаться!

Я сочинила и сняла бы продолжение!

Наше прощание было очень трогательным. Я испытываю огромную нежность к Мишелю Девилю, талантливому режиссеру с прекрасным вкусом, не занявшему подобающего ему положения из-за того, во что превратилось сейчас киноискусство...

С Ниной Компанеец, которую я обожаю, мы снова встретились через несколько лет, когда она стала режиссером, и я снялась у нее в моем последнем фильме «Колино...».

А Жан-Пьер Кассель на долгие годы вошел в число моих друзей.

XXVI

Возвращение в Париж было немного грустным.

Париж опустел. Было жарко, и Патрик сгорал от нетерпения, желая поскорее отправиться в Сен-Тропез.

Там я окунулась в совсем иную жизнь, нежели та, которой я жила последние месяцы. Полно народу, шум, суета, приемы у тех, приемы у этих. Мне не хватало съемочной группы «Медведя и куклы», ставшей нам семьей, коров и яблонь, мягкости воздуха Нормандии.

Меня вызвали на вторичную синхронизацию «Медведя и куклы», что позволило мне вновь увидеться с друзьями и впервые просмотреть этот замечательный, по-моему, фильм! Браво, Мишель Девиль, спасибо, Нина!

А Патрик тем временем изучал объявления. Он водил меня осматривать квартиры кинозвезд; они оставляли меня равнодушной, а часто даже возмущали своим уродством или невыносимой претенциозностью, бездушной роскошью, выставленной напоказ.

А еще он захотел новый «роллс-ройс».

Мою машину с ее слишком классическим силуэтом он находил старомодной, ему нужен был кабриолет с откидным верхом. Кстати, он слышал, что Шарль Азнавур продает свой «роллс-ройс», надо с ним связаться! Он записался в гольф-клуб в Сен-Нон-ла-Бретеш. Ему тяжело ничего не делать, пока я работаю, а гольф поможет ему немного размяться!

Моя «содержанка» обходилась мне недешево!

В ноябре этого же 1969 года читатели «Сине-ревю» и «Орор» снова оказали мне высокую честь, назвав самой популярной актрисой. На праздновании 24-й Ночи Кино в театре «Мариньи» под взрыв аплодисментов мне вручили приз «Триумф популярности». Это был последний раз, когда я согласилась лично явиться за одной из многочисленных наград, которые присуждались мне за время работы в кино. За кулисами я встретила Сержа Гейнзбура и Джейн Биркин, получавших «Триумф супружеской пары». Встреча сильно взволновала нас обоих, хотя мы не выдали своих чувств. У меня сжалось сердце, и это на время заглушило страх, который охватывает меня при мысли о встрече с реальной, живой публикой. Но аплодисменты и овации могут иногда прогнать самую мучительную тоску, и в тот вечер я приняла приз с огромной гордостью и большим волнением.

Отвернувшись от Парижа, от прельщений и дел его, я, чтобы

доставить удовольствие Патрику, согласилась провести Рождество в ненавидимом мной Авориазе. В бистро при отеле, куда нас пригласили, снова появились Пиколетта и Лина. На этот раз у меня не будет никаких забот, я смогу освежиться и отдохнуть.

Увы, эту поездку нельзя было назвать удачной!

Лину срочно уложили в больницу с тяжелейшим гепатитом.

Мы с Пиколеттой навестили ее в больнице. Она выглядела тяжело больной, но была очень рада меня видеть. Я проводила у нее долгие часы, целовала, успокаивала, отвлекала. Она очень ослабела и упала духом. А меня крайне беспокоили ее желтый цвет лица, высокая температура и общее состояние. Веселого Рождества не получилось, несмотря на все усилия дирекции отеля и все праздничные игры и аттракционы, которые были нам предложены.

* * *

Новый, 1970 год, я встретила в Париже, еще не зная, что наступающее десятилетие разлучит меня со всей моей семьей, со всеми, кого я люблю, что они будут уходить один за другим, в считанные дни и месяцы, оставляя меня в безысходной печали, в безнадежном одиночестве.

Не знала я тогда и о том, что через три года навсегда отрекусь от кино и начну трудную, суровую борьбу, которую продолжаю и по сей день.

В два часа ночи 22 января меня разбудил телефонный звонок. Это была моя мать, она дрожащим голосом сообщила, что у Бабули только что случился удар. Я быстро оделась, перешла авеню Поль-Думер. Холод был страшный. Бабуля лежала поперек кровати, ее парализовало, но она была в сознании, пыталась нам что-то сказать, но понять ее было невозможно!

Моя мама всегда оставалась в чем-то маленькой девочкой, избалованной матерью и мужем, она отказывалась смириться с тем, что станет сиротой, даже в свои пятьдесят восемь лет. Я могла лишь беспомощно наблюдать за медленной агонией моей любимой бабули, она впала в кому и через несколько часов, не приходя в сознание, скончалась. Я ненавижу смерть. Я боролась, борюсь и буду бороться с ней — но что толку!

Смерть бабушки стала тяжелейшим испытанием для нас всех, но мама была в особенно подавленном состоянии. Бабушку похоронили на маленьком кладбище моряков в Сен-Тропезе, где она встретилась с Бумом. Надеюсь, они не воспользовались этим

для того, чтобы опять орать друг на друга, по любому поводу и без повода, как привыкли делать при жизни.

Я помогала маме разбирать вещи в бабушкиной квартире.

Сколько мы нашли фотографий, писем, прядей волос, сувениров, напоминавших о тех или иных людях. Некоторые находки вызывали у нас слезы. Нам пришлось продать большую часть мебели, ни у мамы, ни у меня такие громоздкие вещи не поместились бы. Обстановка, в которой прошло наше детство, постепенно таяла.

Это было тяжело, мучительно.

Нам помогали Тапомпон, сестра бабушки, и моя няня Дада, прослужившая у нее пятьдесят лет. У меня было тяжелое чувство, будто я вторгаюсь в святая святых, копаюсь в жизни другого человека, оскверняю ее.

Примерно в это же время я узнала о кончине Лины Брассер.

Вокруг меня веяло смертью.

Нужно было как-то стряхнуть с себя это, отвлечься.

Фи-Фи д'Эксеа напомнил мне о Багамах.

Он пригласил нас туда, и я сразу же согласилась.

И мы поехали, несмотря на мою усталость и подавленное настроение. Сразу по прибытии в Нассау у меня начался сильный жар и приступы тошноты. Доктор Уайт (он был чернокожий) поставил диагноз: грипп — и прислал медсестру-негритянку, чтобы делать инъекции антибиотиков. У меня были сплошь исколоты ягодицы и совершенно не было сил.

Но я ни за что не хотела портить отпуск Фи-Фи, Патрику и Стефании, хорошенькой белокурой куколке, которая приехала с нами, и потому, несмотря на непрекращающийся жар и приступы головокружения, села в маленькую «Сессну», приземлилась на Грейт-Харбор-Кей... и не узнала нашего острова! Там построили аэропорт с диспетчерской башней, марину, где стояли у причала яхты, одна роскошнее другой. Отель категории люкс, площадка для гольфа на восемнадцать лунок, такси с кондиционерами, благоустроенные пляжи с барами, тентами, надувными матрацами, водными велосипедами, водными лыжами... Ужас!

Курт Юргенс и другие американские кинозвезды купили там себе поместья. Мой маленький рай был загублен, изуродован. Бунгало, где мы жили прошлым летом, было продано. И нам достался типовой домик в стиле «феникс» на одном из застроенных участков. Но мне было все равно, я была разбитая, с температурой, совсем больная, и тут же легла в постель.

Я провела два дня почти в полном одиночестве — остальные были на пляже или в ресторане, — в полубессознательном состоянии, какое бывает при высокой температуре, измученная

непрекращающимися головными болями и частой рвотой.

Доктор Уайт, с которым связались по телефону, посоветовал обратить внимание на цвет мочи. Она была темно-коричневой.

Меня тут же отправили в Нассау. Я не захотела лечь там в больницу, попросила только, чтобы мне оказали первую помощь в гостинице, пока я не буду в состоянии улететь в Париж через Люксембург.

У меня был тяжелейший вирусный гепатит.

Я заразилась от Лины Брассер, у которой побывала на Рождество. А ведь Лина умерла! Наверно, я тоже умру. Умру в этом отеле, на краю света, от упадка сил, от неправильного лечения, без дружеской поддержки. Сквозь шум в ушах я слышала, как Бабуля зовет меня к себе:

— Иди, моя ластонька, я по тебе соскучилась!

У меня начался бред, я произносила невнятные монологи о том, что не хочу умирать.

Меня кое-как посадили в самолет и отправили.

Слава Богу, я не умерла, но пролежала в постели почти два месяца. Я потеряла десять кило. А поскольку я и раньше не отличалась большой упитанностью, то теперь была просто истощена, с желтым, как лимон, лицом, в общем, настоящее пугало. В довершение всего, я подхватила «свинку», которую, по-видимому, принес откуда-то мой врач.

Патрик до смерти боялся подцепить у меня какие-нибудь микробы и потому заходил нечасто, только когда ему требовались карманные деньги; но, услышав про «свинку», от которой, говорят, мужчины становятся импотентами, он пришел в неописуемый ужас и практически перестал приходить!

Я терпела от него и не такое, я хотела побыстрее выздороветь и берегла силы. Но выздоровление шло медленно, мучительно. Я очень ослабела.

Первый мой выход в свет после болезни был 17 апреля: вместе с Раймоном Жеромом я должна была выступить как сопредседатель и ведущая на 37-м ежегодном гала-концерте Союза артистов в Зимнем цирке.

Этот концерт снимали и потом показывали по телевидению.

На один вечер актеры, певцы, мимы занимали место акробатов, клоунов, укротителей хищников, воздушных гимнастов, наездников или фокусников. Весь сбор от этого необыкновенного представления шел в пользу дома для престарелых актеров в Понт-о-Дам.

* * *

Маму Ольгу беспокоило, что я получаю мало предложений сниматься. Хотя «Медведь и кукла» имел успех, за мной тянулся шлейф двух провалов — «Шалако» и «Женщины».

Поэтому, когда мало знакомый мне продюсер Андре Женовес задумал снять меня вместе с Анни Жирардо в комедии «Послушницы», мама Ольга нашла, что это замечательная идея, и настоятельно посоветовала мне согласиться. Идея и впрямь была хорошая, вот только фильм получился плохой! То есть исключительно!

А жаль, потому что дуэт Анни—Брижит оказался удачным, да и сценарий, вообще очень слабый, можно было бы подправить, если бы у режиссера, некоего Ги Казариля, хватило таланта.

На съемках царил хаос, диалоги менялись в последнюю минуту, постановка была рыхлая, непродуманная, без начала и конца. Мы с Анни прекрасно понимали друг друга и приходили в отчаяние от бездарности этого бедняги. Обе мы были достаточно опытные актрисы, но даже самый лучший актер может показать себя с лучшей стороны, только если им управляют. Иначе получается как в армии без генерала или в оркестре без дирижера.

К счастью, я настояла на том, чтобы главным оператором взяли Клода Леконта, который так замечательно снял «Медведя и куклу». Если сценарий слабый, бессодержательный, так пусть хоть изобразительный ряд будет удачным.

Анни и я очень сдружились во время съемок. У обеих личная жизнь складывалась непросто. Мои отношения с Патриком лучше не стали, да и у нее с Бернаром Фрессоном не все было гладко. Иногда она являлась с фонарем под глазом, а я, проплакав полночи, прятала круги под глазами под стеклами больших темных очков. Веселенькая жизнь!

Однажды вечером мы просмотрели отснятый материал и ужаснулись. Назревала катастрофа. Я сказала об этом Анни, она согласилась со мной, и мы решили прекратить это безобразие. Пускай заменят режиссера, иначе мы отказываемся сниматься.

И вот разразился скандал!

Кто сможет или захочет с ходу переделывать эту дрянь?

Андре Женовес был почти в невменяемом состоянии, он звал на помощь всех, включая Вадима, но все были заняты, а главное, никто не хотел с этим связываться. В критический момент, когда это уже начало превращаться в трагедию, нас выручил Клод Шаброль, согласившись завершить фильм.

В то время как Шаброль пытался заново сложить из кусочков мозаику под названием «Послушницы», Робер Энрико (режиссер незабываемого фильма «Совиная река») готовился снимать

«Ромовый бульвар» — серьезный, профессионально задуманный, длинный и трудный фильм, в котором должен был играть Лино Вентура. Мне предложили роль Линды Ларю, кинозвезды двадцатых годов, кумира, вдохновительницы и несбывшейся любви моряка Корнелиюса!

Предложение было соблазнительным, особенно после этих мучений, которые вскоре должны были кончиться. Но затруднение состояло в том, что месяц надо было сниматься в Альмерии, а потом три недели в Мексике... Только после натурных съемок предполагались павильонные, в Сен-Морисе. Наученная горьким опытом, я попросила дать мне прочесть сценарий.

Это было потрясающе!

Диалоги были полны юмора, сюжет развивался легко и стремительно, как в комиксе о временах сухого закона, моя роль была изысканной, сверкала всеми гранями лукавства и очарования, и вдобавок я должна была петь! Но ради этого пришлось бы поднять паруса и на два месяца отбыть за границу.

Ольга, превратившись в бульдозер, нажимала на меня день и ночь, требуя, чтобы я соглашалась. Она была права! Но ведь это не ей предстояло в который раз покинуть родину. Я обсудила это с Анни, и она посоветовала принять предложение. Мне повезло, что подвернулась возможность хорошим фильмом сгладить впечатление от кошмара, над отделкой которого мы все еще трудились. Она была бы рада сделать то же самое и совершенно не понимала моих колебаний.

Короче говоря, я подписала контракт на «Ромовый бульвар», которому суждено было стать одной из больших удач в моей жизни. Но тогда я еще не знала об этом!

Однажды вечером, когда я вернулась со съемок «Послушниц», под конец напоминавших не то ремонт, не то штопку, меня не встретила у дверей, как обычно, возбужденная и радостная Гуапа. Я удивилась, позвала мадам Рене, та сказала, что Гуапа показалась ей какой-то усталой и что сейчас она спит на кухне. И пошла за ней, а я в это время мыла руки в ванной.

Вдруг я услышала ее крик: «Мадам, мадам, идите скорее, Гуапа умирает!» Я бросилась на кухню.

Гуапа, вялая как тряпичная кукла, лежала на руках плачущей мадам Рене. Я осторожно взяла мою зверюшку на руки, она бросила на меня последний, уже затуманенный взгляд, затем ее глаза навсегда померкли, а сердце остановилось. Долго я просидела так, прижав к груди маленькое безжизненное тельце, ласково говорила с ней, баюкала ее мертвую, как раньше баюкала живую. Я возвращалась мыслью в прошлое, вспоминала

тринадцать лет, проведенных нами вместе, целый пласт жизни, который она уносила с собой, ничем невозместимую любовь, которую она отдавала мне и на которую я старалась ответить.

Смерть все еще преследовала меня.

Я была совсем одна.

Мама уехала к папе в Сен-Тропез. Патрик исчез неизвестно куда! В моем горе со мной были только Мишель и мадам Рене, они пытались утешить меня, но безуспешно.

На следующий день Гуапу уложили в небольшой деревянный ящик, Мишель и мадам Рене отвезли ее в Базош. Земля Базоша приняла Гуапу и вечно будет охранять ее непробудный сон. Увы, с того дня маленькое кладбище для животных, устроенное под яблонями, разрослось, мне пришлось пережить потерю многих моих маленьких друзей.

Не знаю, так это или нет, но, думается, Гуапа совершила усилие, чтобы не умереть до моего возвращения домой.

* * *

Но жизнь продолжалась.

Незадолго до этого мне показали прекрасную квартиру площадью триста квадратных метров, на двух верхних этажах дома на бульваре Ланн, с большими террасами, усаженными деревьями, откуда открывался великолепный обширный вид, с одной стороны на Булонский лес, а с другой — на парижские крыши и Эйфелеву башню.

Я подумала и решила, что не стоит больше цепляться за квартиру на авеню Поль-Думер, которая без Гуапы показалась мне пустой, унылой, осиротевшей. И вообще, с ней было связано слишком много тяжелых воспоминаний. Быть может, перемена обстановки пойдет мне на пользу и в любом случае, станет поводом навести порядок в моем хозяйстве.

Патрик был на седьмом небе от счастья!

Наконец-то у него будет престижная квартира, соответствующая моему положению, достойная такой прославленной кинозвезды, как я. А пока что надо было сделать ремонт, оборудовать и обставить это жилище. Я захотела построить на террасе одиннадцатого этажа деревянный домик и устроить там спальню с огромными окнами, выходящими на этот чудесный висячий сад. Начинаешь жизнь на новом месте, так не скупись!

Я сменила двух или трех архитекторов, теряла время, выбрасывала деньги на ветер и совершенно измучилась. Бросив

все в подвешенном состоянии, я уехала в Сен-Тропез, чтобы погреться на солнышке в «Мадраге», перед тем как отправиться в дальнее и долгое плавание, имя которому — «Ромовый бульвар».

Как только мы приехали, Патрик выразил мнение, что и «Мадраг» не мешало бы слегка обновить. Мало того, что ванная у меня была слишком маленькая, гримироваться негде, так еще и бассейна не было, а в комнатах для друзей не хватало удобств, там было допотопное центральное отопление, работающее на угле!

Честно говоря, он был прав.

А с другой стороны, зачем мне гримироваться, если, живя здесь, я целый день хожу полуголая? Зачем нужен бассейн, если море рядом? Зачем современное, по последнему слову техники, центральное отопление, если мы никогда не бываем там зимой?

Он пилил меня каждый день, я не выдержала и пригласила Роже Эрреру, архитектора по интерьеру и моего друга, чтобы узнать его мнение и услышать его предложения.

Я одобрила проект, подписала смету и чек, обеспечивающий две трети расходов, — это были пустяки по сравнению с тем, что меня ждало в Париже, на бульваре Ланн. Я готовилась сменить кожу. Готовилась к полному обновлению.

По контракту Эррера должен был закончить все и сдать мне «Мадраг» в обновленном виде к марту 1971 года. Все работы должны были провести за зиму... По крайней мере, собакам будет нескучно, они смогут вцепляться в задницу рабочим, а за обедом им перепадут кое-какие объедки в дополнение к обычному меню.

Сейчас я живу на вилле «Мадраг» почти круглый год и благодарю Бога за то, что решилась на этот ремонт, без которого не смогла бы проводить там зимние месяцы и уж тем более не смогла бы сделать этот дом своим основным местопребыванием.

* * *

Дождливым октябрьским утром я вместе с частью съемочной группы села в самолет до Малаги и направилась в Альмерию (опять!), в отель «Агуадульсе» (снова!). Со мной были Дедетта и ее сын Жан-Пьер, нагруженный коробкой с великолепными париками, которые мне предстояло носить в течение всего фильма; ассистенты, секретарь группы, но ни одной амазонки!

Не было и Патрика. Мы с ним опять повздорили, он собирался присоединиться ко мне позже... в мое отсутствие он навестит друзей, присмотрит за ремонтом... словом, в ход шли любые предлоги, лишь бы избежать неприятной обязанности

сопровождать меня в забытую Богом дыру под названием Альмерия!

Съемки проходили исключительно на натуре, часто на борту корабля, стоявшего у причала, затем на том же корабле, но в открытом море.

Робер Энрико — славный человек, мы с ним прекрасно ладили. У него гармонично сочетаются талант и глубокое знание дела. Он привык вникать во все мелочи, и это позволило ему создать безупречный фильм, в котором ничто не делалось кое-как.

Мне не сразу удалось найти общий язык с Лино Вентурой, который странным образом напоминал мне Габена. Нелюдима Лино ничто не интересовало. Как только съемки заканчивались, он исчезал, даже не попрощавшись, замкнувшись в самом себе, вечно чем-то озабоченный. Иногда мы, разыскивая сколько-нибудь приличный ресторан, обнаруживали его за столиком, в одиночестве: он внимательно изучал меню, в надежде обнаружить там какое-то особенно вкусное блюдо. Именно таким окольным путем, через гастрономические изыски, мне и удалось немного сблизиться с этим разочарованным гурманом. Дедетта, вечно думающая о жратве, оказала мне неоценимую помощь по кулинарной части! Кроме того, мой парикмахер Жан-Пьер был помешан на игре в тарок — и Лино тоже! Так, с помощью вкусных блюд и карточной игры мне удалось приручить этого медведя, который под толстой шкурой скрывал душу столь же прекрасную, сколь и ранимую, — Лино Вентуру.

У него была такая аллергия на людей, что он не участвовал ни в одной любовной сцене, не целовался ни с кем из партнеров — это было специально оговорено контрактом. Вот вам доказательство, что можно сделать прекрасный фильм о приключениях и о любви, не навязывая зрителям отвратительных по откровенности эротических сцен. Раз уж мы затронули эту тему, позволю себе сказать следующее: я очень рада, что ушла из кино в то время, когда талант актеров стал определяться их умением раздеться, расставить ноги, лизаться друг с другом и все прочее под жадным взглядом кинокамеры.

Хотя я и была секс-символом, в душе у меня сохранилась стыдливость, не приемлющая такой стиль в искусстве. Меня тошнит от этой выставки человеческого мяса, в то время как воображение имеет над человеком большую власть, чем изображение — вспомним, какие чудеса творит гипноз.

Съемки этого фильма доставили мне огромное удовольствие, несмотря на сюрпризы погоды, бушующее море, морскую болезнь и иногда непростые характеры тех, кто меня окружал. На этот раз

я создавала образ непохожего на меня человека, звезды немого кино, капризной, кокетливой, требовательной, избалованной, не способной на глубокое чувство, — и все же имевшей со мной что-то общее. Мне страшно нравились ее мимика, манера опускать, а потом широко открывать глаза, показные излияния чувств, неискренние, но по-детски наивные.

Незадолго до моего отъезда в Мексику мама Ольга предложила мне прочитать сценарий фильма, который должен был сниматься будущим летом в Мадриде с участием Клаудии Кардинале и назывался «Нефтедобытчицы».

Из аэропорта Мехико, где меня встречали «марьячос», я поспешила вместе с моим мозговым трестом в отель «Лума», уже знакомый мне по временам «Вива, Мария!». Я в знакомых местах: это очень важно для меня.

Я была в восторге от новой встречи с Мексикой: эта чудесная, удивительная страна покорила меня, еще когда снимали «Вива, Мария!», но, в сущности, я так мало ее знала.

Накануне нашего отъезда в Веракрус вдруг, как снег на голову, явился Патрик! Я его уже не ждала, я больше не нуждалась в нем. Но раз уж он был здесь, вместе с моими амазонками, — я разрешила использовать его в качестве статиста в сцене погони.

Когда съемки были окончены, Патрик, желая получше узнать Мексику, взял напрокат американскую машину и повез нас четверых — Жан-Пьера, Стефанию, Кароль и меня — на экскурсию по этой прекрасной стране.

XXVII

Возвращение было невеселым.

В конце января в Париже стояла омерзительная погода, все было серое, грязное, тусклое. Даже квартира на авеню Поль-Думер казалась тесной и убогой, а мадам Рене как будто скукожилась! На липких тротуарах толклись прохожие с угрюмыми, мрачными, пугающими физиономиями. На мокрых, унылых фасадах домов проступала грязь.

Патрик, за последнее время привыкший к роскоши и независимости, воспользовался моментом и объявил мне о своем предстоящем отъезде на горнолыжный курорт, где родители сняли ему квартиру!

А я? Меня в расчет не берут? Я ведь тоже сняла шале в Мерибеле, и что мне теперь с ним делать?

Это были мои трудности, не его.

И он уехал!

На сей раз я отнеслась к этому иначе: я решила ни в коем случае не принимать его обратно. Я была сыта этим по горло, дальше так продолжаться не могло.

Я совсем забыла о квартире на бульваре Ланн, а там обо мне не забыли. На моем письменном столе накопилась гора чеков на оплату ремонтных работ в парижской квартире и в «Мадраге», которые я должна была подписать. Это напомнило мне папу в те дни, когда надо было платить служащим на его заводе. И настроение, какое бывало у него тогда. Сейчас я была в таком же положении, я одна отвечала за все.

А мой жиголо меня бросил!

Тогда я бросилась в вихрь развлечений.

Между двумя бессонными ночами подписала контракт на «Нефтедобытчиц», чтобы доставить удовольствие Ольге. Я слабо представляла себе, что это может быть за фильм, но если Клаудия Кардинале согласилась в нем участвовать при условии, что ее партнершей буду я, значит, все будет в порядке.

Не имея ни малейшего желания ехать в Мерибель, я все же не отказалась от шале и оставила его за собой! Там будет видно.

На Втором Салоне гоночных автомобилей я познакомилась с Франсуа Севером. И как меня занесло на эту выставку, я ведь ненавижу рев моторов, скорость и все эти прообразы машин — «формула один», «формула два», «три» или «четыре», которые давят на психику и на барабанные перепонки?

И тем не менее этот самый Франсуа Север был большой любитель женщин, видный автогонщик, красивый парень и

прекрасный, очаровательный любовник! Правда, звезд с неба он не хватал, но кого это волновало? Во всяком случае, не меня! Он обожал лыжи, снег, горы. Я вспомнила о шале в Мерибеле, которое ждало меня с начала февраля.

Нельзя было терять ни минуты!

Я объявила общий сбор: мадам Рене отправлялась туда первой, чтобы все подготовить, Жики и Анна с детьми запрыгнули в машину, а Филипп Летелье, мой старый приятель, фотограф в «Пари-Матч», переживавший трудный разрыв с женой, должен был сам выбрать средство передвижения.

А я наняла маленький самолет, который благополучно доставил нас с Франсуа на очень ненадежный мерибельский аэродром. Вся эта веселая суета не давала мне задумываться, заставляла час за часом двигаться вперед! Но когда мы оказались в шале, все пошло иначе. Присутствие Франсуа стало невыносимо тяготить меня, и я всеми силами старалась от него избавиться.

Моего сердца он не тронул, а сердцу не прикажешь!

Поскольку он никак не желал это понять, нам пришлось устроить ему адскую жизнь, и в конце концов он уехал. Надо сказать, мы, клан Бардо, не слишком-то церемонились с теми, кто оказывался лишним!

Итак, у меня больше не было козла отпущения, горные лыжи меня не слишком привлекали, и вот я заскучала, снова стала думать о Патрике, и на меня напала ужасающая тоска. Ни вечерние партии в покер до поздней ночи, ни кулинарные изыски мадам Рене, ни шутки Жики не помогали мне развеяться.

Тогда клан принял решение: «малышку» надо выводить в свет. И вот мы все отправились в клуб «Сен-Никола» в Куршевеле, к повелительнице наших бессонных ночей, Жаклин.

Я не стала шикарно одеваться, заранее зная, что там будет за публика: лысые, тучные дельцы, увешанные золотыми цепями, лопающиеся от денег, в сопровождении несчастных девчонок, ищущих богатого содержателя. Мне осточертел весь этот гам, пьянство, потная толпа, которая вихлялась на площадке для танцев. Я повернулась лицом к бару, ища глазами Жаклин, хотела сказать ей, что мы уходим.

И тут я увидела его!

Потрясающий парень, прямо Клинт Иствуд!

Он стоял за стойкой, поглощенный своим делом, и совершенно не обращал внимания на то, что происходило с другой стороны.

У меня перехватило дыхание!

Жаклин сказала, что это ее бармен, что зовут его Кристиан, что он заносчивый, скрытный и увлекается спортом. Я попросила

диск-жокея поставить медленный фокстрот и подошла к бару — пригласить Кристиана на танец. Он мягко и вежливо отказался: при его работе ему нельзя было отойти даже ненадолго!

Ну это уж слишком! Мое самолюбие было задето.

Узнав, в чем дело, мои спутники предложили ему на время занять его место.

Нет! Он отказался!

Пришлось вмешаться Жаклин.

Или он танцует со мной, или он уволен!

Он пошел со мной танцевать. Но, надо сказать, без воодушевления. Я вела себя так скромно, как только могла. Но я была Брижит Бардо, а он испытывал непреодолимое отвращение ко всему, что относилось к шоу-бизнесу, к его звездам, к его видным деятелям. Ему было глубоко чуждо все это! Насмотревшись в своем ночном клубе на знаменитостей, он теперь их на дух не переносил. Я не знала, куда мне деваться, снова, в который раз, проклинала судьбу, сделавшую меня знаменитой, в то время как мой склад характера и желания влекли меня к скромной жизни. Он любезно проводил меня к столику, потом вновь скрылся за стойкой бара и продолжал работать, как будто ничего не произошло. Нет, мне решительно не везло! Любой парень отдал бы все на свете, лишь бы потанцевать со мной, но именно тот, кто мне нравился, эту возможность ни в грош не ставил. Вдобавок, он еще и бармен. Я конечно, не сноб, но все-таки!

Я вернулась в Мерибель с неприятным осадком в душе.

Через два дня я решила опять съездить в Куршевель.

Весь клан отправился со мной!

Я снова увидела Кристиана. Я попыталась приручить его: со всей прямотой, на какую способна, рассказала ему о своем подавленном состоянии, о потребности в абсолютном. На этот раз он сам попросил у Жаклин разрешения потанцевать со мной и тут же его получил. Но нам мало было этих дурацких танцев. Нам хотелось увидеться днем, и в другом месте!

Кристиан катался на горных лыжах как олимпийский бог! Он приехал ко мне в Мерибель. Мы с ним говорили обо всем и ни о чем, о жизни, о страдании, о счастье любви! Он тоже родился десятью годами позже меня, под знаком Льва, но производил впечатление зрелого человека, гораздо более зрелого, чем Патрик, и был совсем не похож на него, родившегося под знаком Стрельца.

Иногда я оставалась ночевать у Кристиана. К моему удивлению, в его однокомнатной квартире жил еще и Клод Готье, его самый близкий друг и помощник бармена в клубе «Сен-

Никола». Мне это напомнило жизнь в квартире Вадима на улице Бассано. Я подарила Клоду Готье коробку затычек для ушей, но повод воспользоваться ими представлялся крайне редко!

Кончился февраль, самый короткий месяц в году, и истек срок аренды шале, но моя любовь к Кристиану не угасла!

Иногда он приезжал ко мне на уик-энд, при содействии Жаклин. В других случаях я сама ездила в Куршевель.

Все эти сложности не прекращались до тех пор, пока Кристиан не оставил работу: ради меня, чтобы иметь возможность любить меня, куда бы ни забросила судьба... Он переехал на авеню Поль-Думер, и вместо бархатных и альпаковых костюмов, какие обычно носил Патрик, мои платяные шкафы наполнились зимними куртками и другой спортивной одеждой. Я приютила у себя вольную птицу, привыкшую к просторам, и неприспособленную к жизни в большом городе.

В это трудное для меня время заболела Дада.

Моя Дада, моя любимая нянюшка, жившая очень стесненно, без всякой помощи, кроме моей, в квартирке для прислуги, которую я ей купила, не способная сама обеспечить свое существование, потому что умела только обслуживать других, тяжело заболела, и ее срочно надо было класть в больницу. Я устроила ее в частную клинику на улице Николо, в двух шагах от ее дома. Навещала ее каждый день, ее состояние меня беспокоило. Я представила ей Кристиана, она была счастлива его видеть и сказала: «Надеюсь, уж этого-то ты не отпустишь, моя Бриззи».

Это было и мое самое сильное желание!

Однажды Патрик с победоносным видом и букетиком фиалок явился на авеню Поль-Думер, готовый вновь занять свое место. Однако, к его огорчению, оно уже было занято!

Я приобщила Кристиана к Базошу, где он мог гулять и бегать с ошалевшими от радости собаками, и собиралась приобщить его к «Мадрагу». Квартира на бульваре Ланн постепенно обретала великолепие. Как оказалось, весьма кстати! Но там пока еще никто не жил, и грустно было думать о том, что Патрик туда никогда не войдет!

Тридцать первого марта я согласилась сделать первый удар по мячу в футбольном матче сборных Франции и Бразилии! Для такого исключительного случая Жан Букен одел меня в синюю майку, коротенькие белые шорты и красные сапожки!

Это была целая эпопея!

Я в жизни не бывала на стадионе, а тем более на Парк де Пренс, и оледенела от страха, когда пришлось вслед за Пеле выйти на середину арены, где на меня уставились тридцать тысяч

зрителей! Меня окружили игроки обеих команд, надвинулась толпа фотографов и телеоператоров, и я в бешенстве изо всех сил пнула мяч, приземлившийся прямо на голову одного из фотографов, который присел на корточки и самозабвенно щелкал затвором!

* * *

Кристиан, метавшийся на авеню Поль-Думер, словно зверь в клетке, захотел провести Пасху в Сен-Тропезе. Оттуда ему удобно будет навестить родителей в Каннах. Он благоговейно относился к своей «мутти» и был бы счастлив познакомить меня со своим отцом.

Но вилла «Мадраг» еще не была готова к нашему приезду, и мы поселились у Жана и Симоны Букен.

Я показала Кристиану «Мадраг», где еще шел ремонт.

Он был в восторге, но увы, штукатурка не высохла, вокруг только что законченного бассейна лежали кучи земли и строительного мусора. Не было больше полевых цветов, так украшавших мой сад... Эррера заверил меня, что через две недели все опять будет на месте, все будет закончено, все будет замечательно. Мою ванную нельзя было узнать: она стала самой красивой и самой большой комнатой в доме, ванна была углублена, ее край — вровень с полом, она сверкала позолоченными кранами, а пол был выложен каррарским мрамором в редких прожилках цвета охры! За резными дверцами стенных шкафов, достойными какой-нибудь роскошной библиотеки, висели вешалки для одежды и были скрыты унитаз и биде. Я была вне себя от восторга и подумала о Патрике, которому никогда не придется воспользоваться этими удобствами, созданными ради него! Маленькое окошко моей спальни превратилось в широкое окно, выходившее на великолепную террасу — как бы продолжение комнаты! Собаки устроили мне невероятно торжественную встречу.

Кристиан провел долгое время в ночном клубе в качестве бармена и теперь ни за что не хотел посещать эти заведения как клиент. Он терпеть не мог светских развлечений и был счастлив оставаться вдвоем со мной, в окружении собак. Он читал газету «Команда» и не пропускал ни одного футбольного матча по телевизору. Эта простота нравов, иногда грубоватая, но здоровая, давала мне отдохнуть от той бурной жизни, какую я вела последние годы. Я старалась приспособиться к новому для меня, так сказать, растительному существованию, рассеянно слушала

новости спорта, на которые мне было наплевать, старалась не раздражаться, когда при упоминании какого-нибудь знаменитого писателя или музыканта Кристиан в знак вопроса широко раскрывал глаза!

Нельзя иметь все!

Новоселье в «Мадраге» вышло ужасно веселым!

Мы разместились в пустых комнатах, мебель расставляли постепенно, испробовав по десять вариантов. Пришлось заново обивать диваны: из-за собак я выбрала для обивки белую искусственную кожу. Затем я купила цветы в горшках и заказала рамки из нержавеющей стали для гравюр с дарственными надписями Фолона. Это неожиданно привнесло современную ноту, контрастирующую со старой мебелью и с плиточным полом.

Кристиан мало чем помогал мне. Ему была по душе лишь непритязательная обстановка горной хижины, и, если только у него было кресло напротив телевизора, остальное значения не имело. И все же он был страшно доволен, что может купаться в новеньком бассейне с морской водой, подогретой до тридцати градусов мощной отопительной установкой.

Мне надо было возвращаться в Париж, на озвучивание «Ромового бульвара» и на примерку костюмов для «Нефтедобытчиц», съемки которых должны были начаться в конце июня и проходить исключительно в Мадриде.

Я навестила Дада в больнице. Сердце у нее работало плохо, лицо было бескровным, но она рассмеялась, когда я украсила стены палаты яркими афишами в форме сердца, которые мне дал Жан Букен. Она спросила, счастлива ли я. «Да, конечно», — ответила я ей. Если по правде, то я не была несчастна, что уже было большим шагом вперед: я пыталась научиться быть довольной тем, что у меня есть, а не заниматься тщетными поисками идеала.

Мы подолгу задерживались на уик-эндах в Базоше, где цвела сирень, яблони и сливы.

Собаки упоенно резвились вокруг нас, не обижаясь за то, что я бросила их на долгие месяцы. Мы играли в покер. К нам снова вернулось детство. У нас бывали перепалки из-за пустяков и приступы неудержимого, незабываемого, беспричинного смеха.

Если это и не было счастье, то что-то очень на него похожее!

Но потом пришлось заняться серьезными делами!

Свева попросила нас взять ее с собой в Мадрид. Мы поехали в моем новом «роллс-ройсе» с откидным верхом и на несколько дней сделали остановку в Сен-Тропезе, перед трудной дорогой в Испанию! Чем ближе надвигалась намеченная дата, тем меньше мне хотелось ехать сниматься в «Нефтедобытчицах». Ну зачем я

туда еду? На два долгих летних месяца, в нестерпимую жару, в самое сердце Испании, такой суровой и негостеприимной!

Все эти фильмы сидели у меня в печенках!

Но, взявшись за дело, надо его делать. И я поехала в Испанию.

Съемки фильма проходили в опаленной солнцем Сьерре в окрестностях Мадрида, среди пустынного ландшафта, неотличимого от пейзажа классических вестернов, которые снимали на границе Мексики и Соединенных Штатов. Мы выезжали рано утром, пока было прохладно, и возвращались, обессиленные, грязные от пота и пыли, только вечером, в накопившуюся за целый день духоту.

Клаудия Кардинале была прелестна — очень профессиональная актриса и кинозвезда в полном смысле этого слова. У нас было не так уж много общего и никакого взаимного притяжения, но мы старались обращать друг на друга поменьше внимания, и все шло гладко.

Сцены, где приходилось ездить на лошади, дались мне ценой неимоверных мучений. Я всегда испытывала ужас перед этими средствами передвижения, у которых нет ручного тормоза! Как только лошадь галопом брала с места и начинала подбрасывать меня, словно мешок картошки, я не знала, за что уцепиться. Клаудия великолепно ездила верхом. Она хохотала до слез, когда лошадь, получив шлепок от помощника режиссера, пускалась бешеным галопом, и я с воплем «спасите, помогите!» хваталась за седло или за гриву бедного животного.

* * *

Утром десятого июля мама со слезами сообщила мне о смерти Дада. Это было ужасно. Мое сердце, мою душу охватила глубокая скорбь, пронзила жгучая боль.

Моя ласковая Дада, моя вторая мамочка, моя милая, моя обожаемая, умерла и унесла в могилу часть меня самой. Все мое детство, огромную радость, разделенную с ней, ее объятия, в которых я забывала горести, волшебные сказки, которые она рассказывала мне на забавном полуитальянском-полуфранцузском языке, приводя меня в такой восторг...

Первым же самолетом я вместе с Кристианом вылетела в Париж, бросив съемки, продюсера и всю эту смехотворную возню.

Стояла страшная жара!

Дада находилась в больничном морге.

Мне еще никогда в жизни не приходилось бывать в таком

враждебном человеку жестоком месте. Я взглянула на нее издалека, не в силах приблизиться к оледеневшему телу, которое уже не было ею. Потом я попыталась понять, как же это могло случиться, почему внезапный сердечный приступ так быстро унес ее жизнь. Мама сказала, что так лучше, что она не страдала. Мама пыталась успокоить меня, побудить смириться. Наверно, не отдавая себе отчета, она хотела подготовить меня к тому, что ожидало меня через четыре года, когда смерть разлучила меня с моим папой Пилу, и еще через семь лет, когда я потеряла самое дорогое — мою мать.

Дада похоронена в Базоше, и я ухаживаю за ее могилой.

Я приезжаю туда так часто, как только могу, приношу цветы, сажусь рядом и веду с ней долгий разговор — и так уже больше двадцати лет!

Съемки «Нефтедобытчиц» продолжались с переменным успехом!

У Кристиана вдруг начались страшные боли в животе, сопровождавшиеся неукротимой рвотой. Я в ужасе бросилась к Дедетте, та, заподозрив приступ аппендицита, вызвала врача, который сказал, что у Кристиана начинается перитонит и необходима срочная операция. Только этого мне не хватало!

Мне казалось, что я вижу кошмарный сон на каком-то непонятном иностранном языке. В больнице, когда его привезли в палату, он был еще под наркозом, но плакал и стонал от боли. Я долго сидела рядом, взяв его за руку, я не хотела оставлять его одного. Но поздней ночью мне пришлось все же вернуться в отель, чтобы попытаться хоть немного поспать.

Так было все пять дней, пока он лежал в больнице. Как только время позволяло, я бежала к нему и сидела с ним, пока, сморенная усталостью, не засыпала прямо на стуле, который там для меня поставили. За свою жизнь я провела много часов, держа за руку дорогого мне человека, боровшегося с болью, с болезнью или со смертью.

Об этом знают только они и я.

Но если бы эти руки соединились в цепь, то, быть может, по ней я смогла бы подняться в рай, когда настанет мой черед.

Выйдя из больницы, Кристиан сразу сообщил мне, что едет к матери в Канны. Только она могла должным образом обеспечить его выздоровление! Он очень обидел меня. Но я старалась это понять, старалась понять его. И вот опять я оказалась в одиночестве, несмотря на мое желание делать добро, мою преданность и мою грусть.

А фильм продолжался. Предстояло снимать знаменитую драку, поединок между Клаудией и мной, как между двумя

вожаками стада, за право быть главенствующей семьей!

Эта сцена снималась неделю. Семь долгих дней, с утра до вечера, мы по-мужски лупили друг друга кулаками и по очереди валялись в пыли. Главная трудность была в том, чтобы уклониться от удара, делая вид, будто он попал в цель! Два или три раза я оказывалась с рассеченной губой. У бедной Клаудии с самого начала был страшный фонарь под глазом. Эта беспощадная драка сблизила нас. Когда очередной эпизод был отснят, мы бросались в объятия друг друга, извиняясь за неловкие движения.

На поверку Клаудия оказалась смелой и совестливой.

Я глубоко уважаю ее. По знаку она Овен, и это, думаю, помогло ей, в отличие от меня, занимающей противоположное место на карте звездного неба, выдержать немало испытаний, безропотно и с достоинством.

* * *

Я не задержалась в Сен-Тропезе, мне хотелось лишь повидать Кристиана и осмотреть его шрам, длинный, как мое предплечье. Потом снова в дорогу, в Париж, нельзя было больше тянуть с переездом на бульвар Ланн. Это оказалось совсем не простым делом, я никак не могла переломить себя. В последний момент я вдруг раздумала, не захотела покидать обжитой, уютный уголок на авеню Поль-Думер ради новой, незнакомой квартиры. И снова, в который раз, меня выручила мама, а Кристиан в это время был занят чтением спортивного журнала. Когда все уже перевезли, я попрежнему ночевала на авеню Поль-Думер, на матраце, положенном прямо на пол. Я упорно отказывалась покидать эти стены, где чувствовала себя защищенной.

И все же пришлось наконец отдать швартовы!

Настал роковой вечер, когда Кристиан привез меня на бульвар Ланн, и с домом семьдесят один на авеню Поль-Думер пришлось проститься навсегда.

Разумеется, все там было красиво, все как я хотела. Разумеется, со временем я привыкну и освоюсь. Но в ту ночь я так и не смогла заснуть, мне было не по себе среди этого великолепия, столь чуждого моим сокровенным желаниям. Мадам Рене испытала такое же чувство и почти сразу же попросила расчет! Этого я никак не ожидала. Она героически справилась с переездом и попыталась приспособиться к новой жизни, но не смогла.

Она убила меня этим, просто убила... Мне легче потерять

милого сердцу любовника, чем прислугу. Мадам Рене была одной из тех, на ком держалась моя жизнь. Я предлагала ей любые прибавки к жалованью, но она осталась равнодушной.

Свое тридцатисемилетие я встретила, по уши увязнув в запутанных делах.

День рождения не был для меня праздником.

Кристиан заявил, что хочет снова занять место бармена в клубе «Сен-Никола» на зимний сезон! Тогда я решила снять на три месяца шале в Мерибеле. Но как я управлюсь со всем этим без мадам Рене?

Мы с Мишель целыми днями принимали кандидатов на ее место, изучали их рекомендации и выслушивали их условия...

Не найдя никого, кто мог бы заменить мадам Рене, я уже начала паниковать! Я даже согласилась бы переехать обратно на авеню Поль-Думер, лишь бы она вернулась ко мне. Легко сказать! Мадам Рене была чистокровная, типичная нормандка, упрямая как осел: если она принимала решение, ничто не могло заставить ее передумать.

Тогда я стала плакать! И плакала без конца.

Наверно, так на меня подействовала утомительная синхронизация «Нефтедобытчиц». Кристиан на секунду задерживал на мне взгляд, затем снова углублялся в чтение «Команды». Он целые дни проводил на диване, поставленном напротив телевизора! Когда чтение, наконец, заканчивалось, мне забивали голову телепередачами о футболе, велогонках или боксе. На минутку уняв слезы, я подходила к телефону: так хотелось поговорить с кем-нибудь не о спорте. Из одного такого разговора я узнала, что дворецкий, служивший у нас в Авориазе два года назад, сейчас без работы. Он искал себе место и предлагал мне нанять его. Он умел все: готовить, убирать, гладить, подавать на стол, мог даже сделать укол в случае необходимости.

Я готова была расцеловать его!

Поскольку от природы я не отличаюсь терпением, мне пришлось пустить в ход все мои дипломатические таланты, дабы не твердить моему новому дворецкому с утра до вечера, что он идиот! Он хотел все сделать как лучше, но делал одни глупости, слишком много внимания уделял хорошему тону и слишком мало — пользе дела. Вдобавок, он оказался откровенным гомиком. И обволакивал Кристиана томными взглядами!.. Но что делать, не ревновать же мне было к собственному дворецкому.

Кристиан уехал на работу. В ожидании моего приезда в Мерибель он, как и в прошлом году, жил в однокомнатной квартире у Клода Готье в Куршевеле.

XXVIII

На Рождество весь клан в полном составе собрался в Мерибеле.

У нас с Кристианом все складывалось неважно.

Он уезжал каждый вечер, часов в пять, и возвращался только в четыре утра, а то и вовсе не возвращался, если дорогу от Мерибеля до Куршевеля заносило. Он пытался поспать до полудня, но все остальные вставали в девять и поднимали немыслимый гвалт, особенно дети! Ведь в шале всегда такой резонанс, там слышен каждый звук.

Настроение у Кристиана было хуже некуда. У меня тоже.

Рождество я встретила без Кристиана. В клубе «Сен-Никола» был большой наплыв посетителей! Как всегда, я нарядила елку и разложила под ней подарки для всех. Снег падал крупными хлопьями, в камине весело горел огонь, пахло смолой и хвоей, все было как на Крайнем Севере.

Это было почти счастье!

Между Кристианом и Жаклин Весьер возникли трения. За минувший год у него появились привычки кинозвезды, он отказывался подчиняться суровой дисциплине, которую установила для своего персонала Жаклин, разговаривал с ней недопустимым тоном. В общем, вообразил себя... Брижит Бардо! Такое не раз случалось с мужчинами, которые вошли в мою жизнь. Надо было обладать большим умом, чтобы не поддаться этой мимикрии.

В новогоднюю ночь, когда били часы, я смогла поцеловать Кристиана: он стал безработным!

Мне больше незачем было оставаться в шале, и мы собрали вещи. Редкий случай, но у меня в ближайшее время не предвиделось съемок. Кристиан тоже был свободен, и я решила пожить полной жизнью — ведь мое существование столько лет формально было подчинено определенному режиму.

На афишах «Ромового бульвара» и «Нефтедобытчиц», не так давно вышедших на экраны, мое имя еще было написано гигантскими буквами. Оба фильма имели успех, но «Ромовый бульвар» шел на несколько голов впереди и тащил за собой «Нефтедобытчиц», словно локомотив!

Я развлекалась, устраивая приемы в моей новой великолепной игрушке, квартире на бульваре Ланн.

Дворецкий в этой обстановке смотрелся хорошо. Я надевала длинные платья и собирала волосы на макушке затейливым узлом, украшая его брошью. Музыка, звучавшая изо всех уголков

квартиры, даже из туалетов, свечи, освещенные террасы — все это приводило меня в восторг.

Невероятно, но это был мой дом.

Моими гостями были журналисты, директора телекомпаний, видные репортеры.

Я увлеклась чтением.

Я залпом проглатывала книги Райнера Мария Рильке, Льюиса Бромфилда, Льюиса Поуэлса, Пьер-Жана Жува, Лоренса Даррелла, Мориса Дрюона, Скотта Фитцджеральда. Круг чтения Кристиана был диаметрально противоположным, и мы с ним жили словно на двух разных планетах, имея мало возможностей для общения.

* * *

Однажды Свева легла в больницу на одну несложную операцию. Я просидела целый день у нее в палате, в клинике «Бельведер». Поскольку на меня, стоило только высунуть нос на улицу, тут же набрасывались газетчики, я приняла меры предосторожности: надела на голову платок и нацепила на нос большие солнечные очки, чтобы проскочить по возможности незаметно.

Каково же было мое изумление и возмущение, когда наутро в теленовостях Эдгар Шнейдер заявил, что накануне мне сделали подтяжку в клинике «Бельведер». Я приехала туда утром, а уехала вечером, закутанная, неузнаваемая, в больших темных очках, скрывающих лицо.

Это было уже слишком!

Я чуть не задохнулась от ярости!

Этот тип просто ненормальный! Что за подлец, что за гнусный лгун!

Можно подумать, мне в мои тридцать семь лет могла понадобиться подтяжка!

Нервы у меня не выдержали, и я сорвалась.

Я возненавидела весь мир.

Кристиан на секунду удостаивал меня взглядом, а затем опять утыкался в газету. Он был в миллионе световых лет от меня. Как я могла жить с этим одноклеточным болваном! Я возненавидела и его тоже, мне опротивело все кругом!

Думаю, именно это происшествие укрепило во мне давно зревшее решение послать все к чертям. Мне нанесли рану, которая долго не заживала и продолжает болеть по сей день.

Пока я страдала, оскорбленная до глубины души, жизнь, к

счастью, продолжалась!

У Вадима, которого я не видела лет сто, возник замысел, казавшийся ему гениальным! Он хотел изобразить Дон-Жуана в собственной, весьма оригинальной трактовке — в виде женщины, и предложил эту роль мне! Но от Вадима можно было ожидать всякого, и хорошего, и плохого, и я не знала, соглашаться ли мне.

С другой стороны, необходимо было пополнить мой банковский счет: я не глядя тратила значительные суммы на содержание жилья вне Парижа, на престижные автомобили, на моих пожилых дам, а квартира на бульваре Ланн с текущими расходами, ремонтом и всеми причиндалами обходилась безумно дорого. И я подписала контракт, из-за которого под конец моей карьеры, знавшей взлеты и падения, мне суждено было стать самой недооцененной из актрис, столкнуться с огромной неблагодарностью публики, боготворившей меня двадцать лет!

У меня шли бесконечные скандалы с Кристианом. Пропасть, разделявшая нас, становилась все глубже. Он изводился от безделья, а я работала до изнеможения.

Фильм получался малоинтересным, несмотря на усилия моих талантливых партнеров: Мориса Роне, Робера Оссейна, Матье Карьера и Джейн Биркин. Но Вадим не терял оптимизма, он был уверен, что творит шедевр, такой же, как «И Бог создал женщину». Ради этого он заставил меня раздеться и лечь в постель с Джейн Биркин. Нам обеим было одинаково неловко.

Потом он заставил меня заниматься любовью со священником, Матье Карьером, а до этого я должна была десять минут танцевать перед ним голой, чтобы он поддался моим чарам. И опять-таки мы оба не знали, куда деваться.

Съемки должны были продолжаться в Швеции, но перед самым отъездом Кристиан меня бросил. Я сломалась, стала пить по две бутылки шампанского и по три литра красного в день.

Съемки пришлось прервать.

Мой врач вызвал психиатра, которого я сразу послала куда подальше. Моя жизнь разваливалась, я больше не могла справиться с надвигавшейся на меня разрушительной силой, я барахталась в грязи, обломок кораблекрушения в этом мире, отторгавшем меня. Вечерами я бродила, как призрак, по этой огромной, пустынной квартире, вопя от отчаяния, и успокаивалась только под действием алкоголя и сильных снотворных.

Мама хотела помочь мне, но после ее недолгих визитов я чувствовала себя еще более одинокой, обделенной любовью и вниманием. Мишель осенила идея: разыскать мадам Рене, умиравшую от скуки, и уговорить ее вернуться. Мы встретились

как влюбленные после долгой разлуки! Спасибо, мадам Рене, спасибо вам за то, что вы вернулись в самый тяжелый момент моей жизни. Мой дворецкий исчез столь же деликатно, как появился. Привычное, умиротворяющее присутствие мадам Рене вернуло мне мужество, и я смогла взять себя в руки.

На студии, когда съемки возобновились, я однажды увидела из окна моей гримерной на первом этаже необычайно красивого молодого человека: он шел по двору и улыбался мне! Это мне было приятно, но я тут же об этом забыла, поглощенная работой. Вечером я снова увидела его из окна, он был все такой же улыбающийся, веселый, славный! Мы обменялись какими-то незначащими словами, а потом я уехала домой.

На следующий день я увидела его на съемках, он играл какую-то небольшую роль. Мы с ним подружились, он смешил меня, рассказывал всякие занятные истории, это меня отвлекало. Я узнала, что его зовут Лоран, что ему двадцать три года и он мечтает стать актером. Я была растеряна, я сбилась с курса, и я взяла его в любовники, чтобы не быть одной!

Он был моложе меня на четырнадцать лет! В его возрасте был Вадим, когда я вышла за него замуж, и Патрик, когда я познакомилась с ним в свои тридцать три. Быть может, мне суждено всю жизнь любить только двадцатитрехлетних?

У меня было тяжело на душе, когда я привела его на бульвар Ланн, где все еще напоминало о Кристиане. Но благодаря ему я смогла поехать в Швецию, мое пребывание в Стокгольме было почти приятным, и съемки могли продолжаться. Мы снимали в местном университете, где было полным-полно студентов. Когда я пришла туда утром 28 сентября, они все встали, а было их не меньше сотни, и запели: «С днем рождения!»

У меня дрогнуло сердце, на глаза навернулись слезы!

Мне стукнуло тридцать восемь лет.

Благодаря Лорану, его жажде новых впечатлений, любознательности и легкому характеру, я смогла открыть для себя Швецию, о которой раньше ничего не знала.

* * *

Лоран поехал со мной в «Мадраг».

У него не было определенных занятий, и он мог составить мне компанию. Все виделось мне сквозь дымку сожаления и печали. Во мне что-то сломалось. Мои усилия казались пустыми и бесполезными.

Я много времени проводила у Жики и Анны. Они были такие

сильные, надежные, прямодушные, верные, веселые и мудрые.

Однажды вечером, когда я с трудом преодолевала подъем по каменистой дороге, ведущей к их старой уединенной ферме, моя малолитражка заглохла. Ну и положеньице! До меня доносился лай собак, но в густеющих сумерках был виден только старый грузовик, похоже заброшенный. Из него вылез какой-то человек и направился ко мне... Я слегка испугалась! Он попытался помочь мне завести машину, потом полез в грузовик и принес оттуда полную корзину крошечных, от силы трехнедельных щенят. Встревоженная мать бежала следом. Он предложил мне купить щенка... У меня с собой было только пятьдесят франков, это его устроило. И в свете фар я выбрала себе коричневый комочек, малышку, которую пригрела на своей груди, которую мне суждено было любить и беречь четырнадцать лет. Она послужила для меня сигналом к началу нового этапа моей жизни, целиком посвященного защите животных.

Пишну стала моим талисманом в горе и в радости.

Она вернула мне способность улыбаться, в какой-то степени вернула радость жизни. У нее был свой, ярко выраженный характер, и ворчать она научилась раньше, чем лаять. В «Мадраге» три здоровенных пса встретили ее, дружелюбно виляя хвостами. Под их защитой она вскоре стала пробовать себя в роли сторожевой собаки, кусала пятки, икры и все, что свисало на пол.

Я вернулась в Париж с Пишну на руках.

Мама Ольга хотела, чтобы я прочла сценарий «Колино Задери-Рубашку» — она находила его очень удачным. Автором была моя любимая Нина Компанеец, она же — режиссер, а заглавную роль должен был играть Франсис Юстер. Сниматься мне предстояло недолго, всего неделю: Ольга полагала, что это будет очень кстати после провала «Дон Жуана-73».

Я ворчала, что не хочу сниматься.

Лоран, как всегда, оптимистичный, жадный до новых впечатлений, заверил меня, что сниматься в Сарла, этом чудесном городе, будет просто замечательно. Он обещал показать мне во всей красе юго-запад Франции, с его самобытной кухней, с его замками, его пейзажами, так непохожими на виды Прованса... В общем, прочитав и ознакомившись, я одобрила и подписала.

В это же время Коринна Дессанж представила мне Жан-Пьера Элькаббака. Он непременно хотел, чтобы я участвовала в его телепередаче, очень серьезной и, как правило, посвященной политическим деятелям: «Актюэль-2».

У меня захватило дух!

Там надо было отвечать на вопросы четырех журналистов в течение часа, в прямом эфире. Риск был огромный, я начала

умирать от страха за неделю до передачи и пришла в себя только неделю спустя — но я рискнула!

Ну что я в сущности теряла?

Зато могла кое-что найти!

Публика не знала подлинной Брижит. Сколько лет во мне видели очаровательную идиотку, которой я отнюдь не была. Пора было объяснить это всем!

И вот 9 апреля, ни жива ни мертва от волнения, я уселась напротив моих мучителей. Это были Клод Саррот, Рене Бержавель, Франсуа Нурисье и Люсьен Бодар. Жан-Пьер Элькаббак, выполнявший роль ведущего и арбитра, уселся за отдельным столиком, между мной и ими. Это было как в суде. Я старалась унять дрожь в руках, выдававшую мой панический страх. Мне надо было оставаться спокойной, уравновешенной, уверенной в себе, а между тем сердце у меня колотилось так, что было слышно в микрофон звукооператору. Из этого тяжкого испытания я вышла с победой, но совершенно без сил. Французы увидели, что я совсем не такая, какой они меня воображали. У меня час копались в кишках, заглянули в самые сокровенные уголки души, а я отвечала шутками, словесной эквилибристикой.

Десять миллионов телезрителей следили за этой дуэлью в прямом эфире. Многие просили повторить передачу, и ее повторили через четыре месяца.

Это был колоссальный успех.

Я красиво уходила из кино, я прощалась с местом в жизни, которое мне больше не принадлежало. Это было ясное, четкое, исчерпывающее разъяснение, кто я есть на самом деле и какой хочу быть отныне. Как правильно сказал Ларошфуко: «Есть время, когда в жизни можно добиться удач. И есть время, когда можно добиться, чтобы жизнь удалась».

* * *

Я заслужила несколько дней отдыха!

Мы с Лораном решили, что надо съездить на юго-запад Франции, посмотреть места, которые я совсем не знала. А в первые дни мая я должна была приехать в Сарла на съемки «Колино». К нам присоединились мои друзья из Сен-Тропеза, агенты по недвижимости Пьер и Нелли Медер, — они хотели купить себе дом в тех краях.

И, конечно же, я взяла с собой Пишну: она так описала ковры на бульваре Ланн, что мадам Рене под этим предлогом устроила генеральную уборку.

Вначале я едва не влюбилась в этот уголок Франции.

Когда Пьер и Нелли нашли дом своей мечты, я чуть было не купила соседний — вместо «Мадрага». Но вовремя вспомнила, что эти места кишат самыми злобными и коварными охотниками, какие только бывают. Вдобавок именно тут, по варварской местной традиции, откармливали птицу для изготовления паштета из утиной и гусиной печенки! Надо сказать, что, пока мои друзья лакомились картофелем по-сарлатски и жарким из утки или гуся, я ела тертую морковь и салат из помидоров с яйцом, чтобы не нести вину за чью-то мучительную агонию.

В общем, не все мне там понравилось. И это мое впечатление подтвердилось несколько лет спустя, когда я вела борьбу против незаконного отстрела горлиц в Медоке.

Потом мы приехали в Сарла, где уже начались съемки, где меня дожидались Ольга и толпа журналистов. Дедетта работала на другом фильме, и мне пришлось доверить лицо незнакомой гримерше, оказавшейся, впрочем, очень славной.

В фильме участвовала масса знаменитых актеров, но я не была ни с кем из них знакома. Весь этот маленький мирок сложился в семью, в которой я чувствовала себя чужой. Нина, никогда не менявшаяся, милая и терпеливая, попыталась приручить меня как могла, чувствуя, что дикое животное во мне возобладало над кинозвездой.

Во время съемки одного из первых эпизодов с моим участием в замке Ламот-Фенелон, где я присутствовала на турнире, устроенном моими придворными, я заметила в массовке крестьянку с двумя маленькими прелестными козочками. Освободившись, я прямо в этом средневековом костюме, с остроконечным головным убором, пошла погладить этих козочек. Пишну, теперь всегда бегавшая за мной по пятам, возмущенно тявкала от ревности.

Оказалось, это статистка-фермерша с нетерпением ждет, когда закончатся съемки турнира: в воскресенье ее внук идет к первому причастию, и одна из козочек предназначена для праздничного обеда. Другую уже продали на какую-то ферму, где делали козий сыр! Теперь у меня была одна забота — спасти этого крошечного козленка, ростом с мою Пишну. Я уже не думала о роли, фильм казался мне чепухой, а сама я в этом маскарадном наряде — просто чучелом. Вечером я купила козочку и вернулась в отель, держа ее под мышкой с правой стороны, а Пишну — с левой.

Я произвела большой эффект!

Однако дирекция отеля была обеспокоена: где я оставлю ее на ночь? Только не у себя в номере!

Об этом не может быть и речи!

В отеле не было подсобного помещения, которое годилось бы под хлев, — у них не принято пускать клиентов с козами! Это уже была проблема, особенно если учесть, что каждые три часа ее надо было кормить из бутылочки, а оставшись одна, она тут же принималась блеять душераздирающим голосом. Мы попробовали поместить ее в одну из комнат при кухне, однако, едва мы закрыли дверь, раздался такой звон разбитой посуды и грохот кастрюль, начался такой тарарам, что мне пришлось забрать козу и щедро оплатить убытки. Я попросила выделить ей номер, но мне возразили, что ковры и стильная мебель в номерах подбирались не для скотного двора. Не зная, как быть, вконец измученная и издерганная, я вернулась к себе в номер с собакой и козой и уложила обеих в свою постель.

Все сошло гладко!

Я выводила их гулять на поводке, и они как паиньки делали свои дела на подстриженной лужайке, под осуждающими взглядами садовников и клиентов отеля, принимавших меня за сумасшедшую! Бутылочки с молоком для Колинетты волновали меня гораздо больше, чем мой текст и исполняемая роль, на которую мне было глубоко наплевать!

Именно тогда я приняла окончательное решение расстаться с актерской профессией.

Я увидела себя в зеркале, в этом дурацком средневековом костюме, с Пишну и Колинеттой, которые вертелись у моих ног с блеянием и лаем. И вдруг мне осточертело все это кривляние, мне стало понятно, что я пленница, отрешенная от настоящих жизненных ценностей. Мое занятие показалось мне ничтожным, ненужным, никчемным, достойным осмеяния.

У меня была только одна жизнь, и я должна была прожить ее по-своему!

Вечером, к невыразимому изумлению мамы Ольги, я подарила эту сенсацию Николь Жоливе, журналистке из «Франс-Суар», случайно оказавшейся на съемках:

— Я ухожу из кино, все, конец, этот фильм последний — надоело!

В средствах массовой информации поднялась настоящая буря!

Все газеты мира, кто всерьез, кто со скептической усмешкой, подхватили эту новость. У меня уже бывали такие капризы... Меня подняли на смех — бросила кино из-за козы!

* * *

Я так и не изменила своего решения, несмотря на все предложения, которые получала мама Ольга, — а среди них были и весьма заманчивые.

В последнем кадре последнего эпизода моего последнего, сорок восьмого фильма, у меня на руке сидит голубка.

Это глубоко символично.

Когда прошла эйфория, вызванная внезапным решением, будущее вдруг разверзлось передо мной, как бездна, как черная пугающая пропасть. Трудно одним махом провести черту под целой жизнью, еще труднее начать после этого новую. Я с семнадцати лет привыкла, что кто-то за меня принимает решения, несет всю ответственность, управляет мной, у меня никогда не было времени думать и жить самостоятельно.

С другой стороны, мне всегда приходилось вживаться в образ героини, которую я играла, жить параллельной жизнью. Это позволяло мне разряжаться, перетекать из одной жизни в другую, а иногда и смешивать их. А теперь я перекрывала себе этот предохранительный клапан, перерезала пуповину, давая ей колыхаться в вечном бездействии.

Колинетта, водворенная вместе со своими бутылочками в Базош, прожила у меня пятнадцать лет; всю свою жизнь она была ручной козочкой-собачкой, умненькой и ласковой!

Чтобы быть по-настоящему в ответе за животных, которых я приручила, я посвятила им себя целиком, безраздельно, с добросовестностью, иногда непосильной, но также даривщей мне порой самые истинные, самые неподдельные радости, какие я только знала в жизни.

Общество защиты животных, двенадцать лет обещавшее мне открыть менее гнусный приют, чем тот, где я в 1966 году нашла моих бедных собачек и кошек, наконец построило в Женневиле заведение под названием «Гостеприимство».

Меня попросили взять над ним шефство. Я с радостью согласилась открыть вместе с председательницей общества, Жаклин Том-Патенотр, эту новую тюрьму. Я надеялась, что она будет более сносной, хотя бы благодаря более здоровой атмосфере в только что построенных помещениях!

И вот шестого ноября я появилась там в окружении целой своры журналистов и фотографов, служащих Общества, пресс-секретарей, одного министра и Жаклин Том-Патенотр.

Перерезая ленточку под треск десятков фотовспышек, я услышала многоголосый лай. А затем, не проявив никакого интереса к бедным брошенным собакам, не удостоив их даже взглядом, вся толпа кинулась в зал, где нас ожидало шампанское, трибуна и гроздь микрофонов. И каждый произнес слащавую и

льстивую речь. Устав от этих восхвалений, озабоченная судьбой животных, которая была для меня важнее, я незаметно покинула зал, взяла привезенную из дома сумку с печеньем и пошла навестить маленьких узников.

Я провела целый час на четвереньках, пытаясь впридачу к печенью дать этим бедолагам хоть немного нежности, немного ласки, немного тепла. У них были добрые, печальные глаза, они тянули ко мне лапы между прутьями решетки, умоляя освободить их. Они не обращали внимания на печенье, а лизали мне руки и ждали моего ответа. Я выплакала всю душу, глядя на это несчастье, а дураки в зале в это время обменивались комплиментами. Некоторые собаки грызли решетку так яростно, что из десен шла кровь, другие, покорившись судьбе, свернулись калачиком в углу клетки, на загаженном бетонном полу, и уже ни на что не реагировали.

Это было жутко, беспросветно, бесчеловечно.

Эти бедные животные попали в темницу, в невыносимые условия только за то, что их бросили бессовестные, бессердечные люди. Мне так хотелось открыть эти тяжелые засовы. Так хотелось взять их к себе, ухаживать за ними и любить их, как они того заслуживают. Но их было четыреста! А сколько еще тех, что ждут освобождения хозяев, отбывающих десяти- или двадцатилетний срок? А еще других, тех, что терпеливо, с надеждой ждут выздоровления больных, которые, быть может, никогда не вернутся к ним из больницы!

Я прикоснулась к страданию в чистом виде.

Сколько таких же страдальцев, разбросанных по всей Франции, томятся в еще худших условиях?

С этого дня мое имя, моя слава, мое состояние, моя еще не растраченная молодость и сила будут отданы на то, чтобы помогать им до самой смерти, на то, чтобы бороться за них, мстить за них, любить их и пробуждать к ним любовь. Такой обет я дала себе в тот день, 6 ноября 1973 года.

И я сдержала слово!

У меня снова была цель в жизни. И какая цель!

Теперь мне надо будет заботиться о животных не только в Базоше и «Мадраге», а во всем мире, возможно, обаяние и известность помогут мне быть услышанной, быть понятой. Я была полна надежд и планов, убеждена, что стоит мне вмешаться — и, как по волшебству, ужасное положение животных на нашей планете станет немного легче.

Увы, как мне пришлось убедиться, ничто не дается даром.

Все надо добывать силой рук, силой воли, а порою силой отчаяния.

* * *

Я была готова, наконец-то готова вступить в новую жизнь.
Зачеркнув ради них мою личность и мою славу.
Поставив себя на службу их выживанию.
Забыв себя самое, чтобы думать только о них одних.
Став служительницей Религии животных.
Брижит Бардо, в заснеженном Базоше,
сегодня, 7 декабря 1995 года

notes

1

Убирайся, сукин сын! (англ.)

2

Cochon (фр.) — свинья.

3

Итальянский писатель (1898—1957).

4

Битва при Камероне состоялась во время Мексиканской войны, 30 апреля 1863 года; ее годовщина отмечается во Франции как день Французского иностранного легиона.

5

Здесь и дальше Брижит Бардо обыгрывает фамилию режиссера, используя название блюда французской кухни: «bourguignon» — рагу из говядины с луком и красным вином.

6

Город в штате Невада, где быстро оформляют разводы.